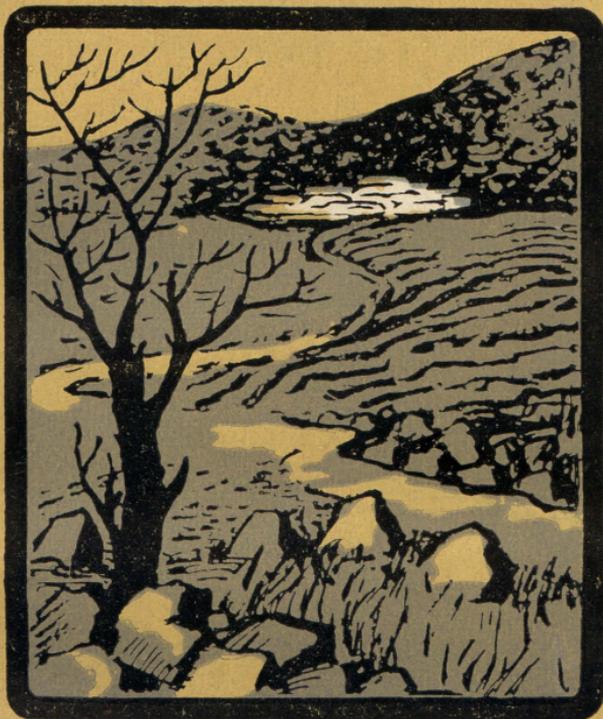


КАРЛО ЛЕВИ



ХРИСТОС
ОСТАНОВИЛСЯ
В ЭБОЛИ

КАРЛО ЛЕВИ

ХРИСТОС
ОСТАНОВИЛСЯ
В ЭБОЛИ

Очерки

Перевод с итальянского
и предисловие
Г. Рубцовой

Редактор
О. Плинка

Издательство
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва
1955

CARLO LEVI

Cristo si è fermato a Eboli

TORINO, 1945

П Р Е Д И С Л О В И Е

На венецианской выставке 1954 года с особой силой сказалась ожесточенная борьба за реализм, которую ведут современные прогрессивные художники Италии. Хотя некоторые наиболее известные художники-реалисты не были на нее приглашены, но даже и те немногие реалистические картины, которые были выставлены, свидетельствовали о росте и расцвете реалистического искусства и представляли резкий контраст с формалистической манерой сюрреалистов.

Среди реалистических полотен выделялась серия картин Карло Леви, посвященных изображению жизни крестьян Лукании. Путь Карло Леви к реализму был не совсем прямым. Талантливый художник создал себе особую концепцию крестьянской культуры, что привело его к некоторой идеализации отрицательных сторон жизни и быта крестьянства. Серия картин, выставленная в 1954 году (по общему признанию,— едва ли не самое значительное из всего, что он создал), свидетельствует о росте и укреплении реализма в его творчестве.

Эта серия была задумана и отчасти осуществлена в тот год, который художник прожил в Лукании, сосланный туда фашистскими властями.

Об этом годе ссылки рассказывает и его знаменитая, переведенная на многие европейские языки книга «Христос остановился в Эболи».

Карло Леви родился в Турине в 1902 году. Еще будучи студентом медицинского факультета, он серьезно заинтересовался живописью и после окончания университета почти сразу бросил медицину, чтобы посвятить себя искусству.

Активный антифашист, он был арестован в 1934 году, выпущен и вновь арестован в 1935 году. После нескольких месяцев тюремного заключения он был приговорен к трехлетней ссылке в Луканию.

Освобожденный по амнистии, в связи со взятием Аддис-Абебы, Карло Леви эмигрировал во Францию, где жил до второй мировой войны. Вынужденный вернуться в Италию, он был снова арестован в 1943 году и освобожден только после падения фашизма. В настоящее время живет в Риме и является редактором журнала «Италия либера».

Книга очерков «Христос остановился в Эболи» была написана в тяжелые и мрачные месяцы 1943—1944 годов. Художник, вернувшийся на родину из Франции, был снова арестован и, находясь в заключении, невольно обратился мыслью к печальному году, прожитому в ссылке.

«Когда я замкнут в комнате, в этом замкнутом мире,— писал Карло Леви,— мне приятно возвращаться памятью в тот, другой мир, мир вечного терпения, задавленный скорбью и обычаями, отвергнутый Историей и Государством».

Так возник замысел книги, в которой Карло Леви рассказал о своей большой любви к итальянскому народу и о страстной ненависти к фашизму.

Книга очерков «Христос остановился в Эболи» рисует жизнь Карло Леви в течение года ссылки.

Автор описывает маленький поселок Гальяно, глухой уголок итальянской провинции. Но несмотря на это, очерки охватывают гораздо более широкий материал и на примере Гальяно показывают всю фашистскую Италию.

Карло Леви создает себе концепцию двух культур, сосуществующих в Италии: культуры городской и культуры крестьянской. Городская культура, «государственная теократия», как он ее называет, нашла свое наиболее полное выражение в фашизме.

Фашизм, с точки зрения Карло Леви,— это господство выродившейся мелкой буржуазии, бескультурной, своекорыстной, существующей за счет народа, трепещущей перед начальством и мечтающей так или иначе, хоть на крохотном участке, заполучить власть, чтобы, грабя тружеников, добиться некоторого, хотя бы относительного благополучия.

Карло Леви полагает, что фашистское государство — это лишь крупные и мелкие чиновники, громадный бюрократический механизм, издающий жестокие и глупые законы, вроде обязательного посева пшеницы на землях, где она вовсе не может произрастать, и т. п.

Но несмотря на то, что Карло Леви не вскрывает классовых корней фашизма, он, как честный художник, горячо любящий свой народ и ненавидящий его врагов, дает изу-

мительную по силе и выразительности сатирическую картину фашистской Италии.

Два поселка Лукании, Грассано и Гальяно, куда Карло Леви был сослан и где прожил год, встают перед глазами читателя в дни будней и праздников, в смене времен года на фоне унылого пейзажа серовато-белых глинистых холмов.

Во главе поселка Гальяно стоит подеста Луиджи Магалоне, до того невежественный, что считает Монтеня деятелем французской революции, а обыкновенное письмо коммерческой корреспонденции—шифрованным документом тайного заговора. Он верит в заговоры, приворотные зелья и в колдовство. Подеста возглавляет всю систему народного образования в Гальяно. Он сам учитель, учителями являются его зять, секретарь фашистской партии, его отец, свекор его сестры. Один из учителей, горький пьяница, приходит пьяным на уроки, и его дикие крики разносятся по всему поселку. Сам подеста в учебное время сидит на балконе, покуривает трубку и переговаривается с прохожими. Ученики сидят одни, а дон Луиджи восстанавливает дисциплину через окно ловкими ударами палки по головам и рукам учеников.

Мудрено ли, что ученики, проучившись несколько лет, остаются настолько неграмотными, что не умеют подписать свою фамилию.

Так осуществлялось при фашизме всеобщее обязательное обучение населения.

Не менее ярко показана и система здравоохранения. Городской врач, доктор Милилло, выживший из ума старик, если и знал что-нибудь из области медицины, теперь уже окончательно все забыл,— он не может даже сделать простой перевязки или впрыскивания и от всех болезней лечит хинином. Второй врач, Джибилиско, рассматривает свою профессию как наследственное феодальное право взимать с крестьян налог в свою пользу, независимо от того, помогает ли им лечение, или нет. Он считает, что все крестьяне, не желающие у него лечиться,— преступники, не выполняющие обязательств налогоплательщика, его исконные враги, которым он желает только скорейшей смерти. Но, по остроумному замечанию Карло Леви, смертные случаи не так часты, потому что «убивать с помощью медицины можно, только имея о ней какое-нибудь понятие». Племянницы Джибилиско, девушки, не имеющие никакого медицинского образования, по протек-

ции хозяйничают в аптеке. Они не затрудняют себя взвешиванием и точным исполнением рецептов, считая, что любой порошок годится.

Понятно, что крестьяне предпочитают не покупать лекарств и не обращаться к подобным врачам.

Когда Карло Леви приезжает в поселок, крестьяне доверчиво обращаются к нему за помощью, видя в нем собрата по несчастью, не угодившего «тем в Риме».

И он самоотверженно лечит крестьян, борется с малярией и, наконец, как честный человек, решает призвать правителей провинции к выполнению их непосредственных обязанностей.

Он пишет обстоятельный доклад, где перечисляет необходимые простейшие меры против малярии.

Но местные власти нисколько не интересуются нуждами населения, крестьян они считают вьючным скотом, и их нисколько не волнует, что в городке Матере, областном центре, свыше двадцати тысяч человек живут в жилищах «троглодитов» и поголовно заражены малярией. Они считают не более чем чудачеством попытки честных врачей Грассано бороться с малярией и ничем им не помогают.

Доклад Карло Леви в таких обстоятельствах мог иметь только один результат. Чиновники Матеры испугались растущей популярности ссыльного врача и запретили ему заниматься медицинской практикой.

Пусть крестьяне остаются без всякой врачебной помощи, пусть погибают дети, пусть малярия порождает еще большую нищету, зато «вредное» влияние ссыльного ограничено и власти могут продолжать свою «полезную» деятельность.

В каждом маленьком поселке кипит борьба за власть.

Синьоры шпионят друг за другом, строчат донос за доносом, сплетничают, клеветуют. Процветают протекционизм, раболепие перед каждым вышестоящим, стремление выслужиться, дикая травля друг друга.

В поселке Гальяно, где живет ссыльный художник-врач Карло Леви, у власти фактически одна семья: подеста Магалоне, он же глава просвещения поселка, его зять секретарь фашистской организации, его дядя поселковый врач, бригадир карабинеров, товарищ по карточной игре и попойкам. Бригадир согласился приехать в эту глушь, чтобы составить себе состояние. Он обладает особыми способностями по взиманию штрафов. В уплату налогов и штрафов у крестьян

отнимают последнюю козу, последнюю бутылку оливкового масла. Так бригадир за несколько лет накопил состояние в сорок тысяч лир и, считая, что поселок уже достаточно обобран, перевелся в другое место для продолжения своей плодотворной деятельности.

Подеста считает своей главной обязанностью шпионство и полицейский надзор, этим он занимается с наслаждением, он читает и даже переписывает для себя письма ссыльных, запрещает им общаться между собой.

Он с гордостью заявляет, что его считают «самым фашистским из молодых представителей власти», и развивает бурную деятельность, чтобы поддержать эту репутацию.

По всякому случаю он устраивает митинги, насильственно сгоняя крестьян к муниципалитету, и произносит двухчасовые речи о величии Рима. Он издает нелепые указы о «циркуляции животных», которые помогают ему взимать бесконечные штрафы с крестьян. Не позаботившись починить обрушившийся мост, он сооружает в центре площади монументальное железобетонное здание уборной, которой никто не пользуется и не может пользоваться, так как в поселке нет воды, нет гигиенических сооружений. Он, не смущаясь, заявляет, что поселок благоденствует, и в списки нищих заносит всего пять человек местного населения.

Такова «деятельность» фашистских властей и весь их мирок — «липкая бессмысленная паутина повседневной жизни, пыльная петля интересов, презренных страстишек, скуки, жадного бессилия и нищеты».

Всему этому противостоит мир крестьян. С большой любовью, с искренней душевной болью показывает нам Карло Леви страшную картину поголовной нищеты, тяжелого труда крестьянина на бесплодной земле, весь этот «навеки покорный мир без надежды».

Все, что давным-давно умерло в мире синьоров — честность, настоящая человечность, трудолюбие, благородство, справедливость, — все это Карло Леви видит в мире крестьян. У него завязывается настоящая дружба с крестьянами, начиная от малышей, доверчиво приходящих к нему во всякое время, и кончая пожилыми людьми, которые ценят в нем не только самоотверженного врача, собрата по несчастью, «изгнанника», но и настоящего человека. Своих синьоров они не считают настоящими людьми, они видят в них чуждую злую силу представителей «тех из Рима», которые существуют только для того, чтобы облагать крестьян

непомерными налогами, отнимать последнее у голодных детей и гнать молодежь на войну.

Сразу после объединения Италии в 1871 году в общественной жизни встала так называемая «южная проблема». Северная Италия быстро пошла по пути индустриализации, хотя у страны не было сырьевых ресурсов и над ней тяготел громадный долг. Земледельческий юг, особенно земли, принадлежавшие французской династии, находились в ужасающем состоянии. Все годы после объединения очень остро стоял вопрос о Южной Италии, о необходимости каких-либо мер для облегчения жизни крестьян. На юге сохранялись феодальные пережитки, земля принадлежала крупным помещикам, большинство населения нищенствовало и стремилось эмигрировать в Америку. Характеризуя итальянских эмигрантов, В. И. Ленин писал:

«Все это нищие, которых гонит из своей страны прямо голод в самом буквальном значении слова, все это поставщики рабочей силы в наихудше оплачиваемых отраслях промышленности, вся эта масса населяет самые тесные, бедные и грязные кварталы американских и европейских городов» *.

Когда фашисты пришли к власти, они лицемерно заявили, что южной проблемы не существует, призывали эмигрантов возвратиться на родину. Карло Леви очень ярко вскрывает ложь и демагогию этих призывов.

В журнале «Нотииэ экономике» за 1954 год была помещена «Карта распределения нищеты по районам Италии». Особенно густо заштрихованы на этой карте Калабрия и Лукания, где, по сведениям журнала, 37,7 процента всех жителей — нищие.

Таким образом, положение с XIX века не изменилось.

Карло Леви дает яркие картины этой беспросветной нищеты. Достаточно вспомнить описание города Матеры, областного центра, в котором художник и его сестра побывали проездом. Перед нашими глазами возникает «живописный город», как его рекомендует путеводитель. В отвесной стене оврага, на дне которого течет заболоченный ручей, настоящий рассадник малярийных комаров, вырыты пещеры. Свет проходит только через дверь, а в некоторых пещерах даже нет двери, лишь дыра в потолке, и спускаться в жилище приходится по трапу. В каждой такой пещере живет целая

* В. И. Ленин. Империализм и социализм Италии, Соч., изд. 4-е, т. 21, стр. 326.

семья. Люди сидят на земляном полу вместе с животными. Малярия, трахома, рожистые и раковые воспаления распространены повсюду. Так живут двадцать тысяч человек.

Маленький поселок Гальянелло напоминает автору средневековый «Двор чудес»: так страшно то, что он там видит.

В Гальяно живут лучше — это значит, что в единственной комнате, тоже не имеющей окон, где обитает целая семья, животные спят на полу, люди — на громадной семейной кровати, а грудные дети качаются в люльках, подвешенных над кроватью.

Крестьяне живут так же, как их деды и прадеды. Городская цивилизация не затронула Луканию. «Христос остановился в Эболи», христианская культура не дошла до Лукании, и вообще никакая культура не достигала этих мест.

Описывая нам темный, мрачный, замкнутый мир беспросветной нужды и тяжкого труда, Карло Леви чувствует в нем «жестокое очарование». Вот почему наряду с реалистическими картинами большой силы он часто дает натуралистические описания, стараясь показать, что крестьяне Лукании живут инстинктами, как животные, что городская цивилизация не затрагивает и не может затронуть их. Они уезжают в Америку и, пробыв там несколько лет, возвращаются такими же, какими уехали. Быстро и без сожаления забываются привычки, исчезают из памяти английские слова и крестьянина «американца» нельзя отличить от других, никогда не уезжавших из Лукании. Ненавидя городскую «полукультуру» фашизма, Карло Леви идеализирует «крестьянскую цивилизацию» Лукании. Точно так же как и в картинах, в своих очерках Карло Леви, часто следуя своей теории двух культур, любит все, что, по его мнению, принадлежит только крестьянской культуре. Он поэтизирует суеверия, народную магию и временами даже сожалеет, что все это ему недоступно. Его глаза не видят ни бесов, ни ангелов, и заговоры и зелья на него не действуют.

Таким образом, книга очерков «Христос остановился в Эболи» очень противоречива. С одной стороны, это глубоко правдивое произведение, до конца разоблачающее фашизм и его антинародный характер, показывающее в ярких запоминающихся образах беспросветную нищету итальянской деревни, с другой стороны, в книге нашла свое отражение подчас спорная политическая концепция автора, его своеобразное толкование «южной проблемы», с которым не всегда можно согласиться.

Художник прав, рассказывая о том, что покорность крестьян имеет свои пределы, что если затронуть глубокое, присущее им чувство справедливости, стихийно возникает вспышка протеста.

Эти стихийные вспышки возникали и в XIX веке, они кончались сожжением муниципалитета, убийством двух-трех особенно ненавистных местных представителей власти, затем зачинщики покорно отправлялись в тюрьму и все входило в прежнюю колею.

Но в современной Италии борьба крестьян-батраков за свои человеческие права приобретает все более организованный характер.

Крупный прогрессивный художник современной Италии Леви одновременно является выдающимся писателем.

Пейзажи Лукании, белый поселок Грассано, Матера, змеевидная улица Гальяно и ряд запоминающихся портретов встают перед глазами читателя, как если бы Карло Леви нарисовал все это не словами, а красками.

При чтении этой книги оживает «Карта распределения нищеты», напечатанная в журнале «Нотиие экономике», становится понятной та борьба, которую продолжает вести талантливый, умный и честный итальянский народ против всех неминуемо обреченных на гибель потомков фашизма.

Книга Карло Леви «Христос остановился в Эболи» интересна и нужна советскому читателю.

Г. Рубцова.

ХРИСТОС
ОСТАНОВИЛСЯ
В ЭБОЛИ



Прошло много лет — годы, заполненные войной и всем тем, что принято называть Историей. Гонимый судьбой, я скитался по разным местам и до сих пор не мог выполнить обещания вернуться, которое я дал крестьянам, уезжая от них, и, по правде сказать, не знаю, смогу ли вообще это сделать. Но когда я замкнут в комнате, в этом замкнутом мире, мне приятно возвращаться памятью в тот, другой мир, мир вечного терпения, задавленный скорбью и обычаями, отвергнутый Историей и Государством; к той моей земле, безутешной и суровой, где крестьянин живет в тисках застывшей цивилизации, в нищете и заброшенности, на бесплодной земле, наедине со смертью.

«Мы не христиане,—говорят они.—Христос остановился в Эболи». Христианин на их языке означает человек, а эта поговорка, которую столько раз повторяли при мне, в их устах не более чем безнадежное выражение униженности. Мы не христиане, не люди, нас не считают людьми, мы животные, вьючные животные, и даже хуже чем животные, мы сухие ветки, тростинки, живущие первобытной, бесовской или ангельской жизнью, потому что мы должны подчиняться миру людей, находящихся там, за пределами горизонта, и переносить все тяготы соприкосновения с ними. Но эта поговорка имеет гораздо более глубокий смысл, как и каждый символический образ, а именно — буквальный. Христос действительно остановился в Эболи, где шоссе и железная дорога отходят от холмов Салерно и моря и углубляются в заброшенные земли Лукании. Христос никогда не заходил сюда, сюда не заходили ни время, ни живая душа, ни надежда, ни разум, ни История, здесь неизвестна связь между причиной и следствием. Христос не заходил сюда, как не заходили римляне, которые укрепляли большие дороги, не углубляясь в горы и леса; не заходили и греки, которые процветали на морях Метапонта и Сибариса; никто из смелых

людей Запада не приносил сюда чувства движущегося времени, своей государственной теократии, своей постоянной, вырастающей из самой себя деятельности. Никто не трогал эту землю ни как завоеватель, ни как враг, ни как ничего не понявший гость. Времена года скользят над тяжким трудом крестьянина сегодня так же, как и три тысячи лет назад, никакой человеческий или божественный посланец не обращался к этой безысходной нищете. Мы говорим на разных языках, наш язык здесь непонятен. Великие путешественники не заходили сюда, за границы собственного мира; они прошли дорогами своей души, дорогами добра и зла, нравственности и искупления. Христос спустился однажды в подземный ад иудейского морализма и отворил врата, чтобы затем закрыть их навечно. Но на эту темную землю без греха и искупления, где зло не в душе людей, а в скорби земной, навсегда запечатленной в вещах, Христос не спустился. Христос остановился в Эболи.



Меня привез в Гальяно августовским полднем маленький расхлябанный автомобиль. У меня были скованы руки, и меня сопровождали два здоровенных представителя власти с красными полосами на брюках и невыразительными лицами. Я приехал сюда неохотно, не надеясь увидеть ничего хорошего, потому что получил неожиданный приказ покинуть Грассано, где я жил прежде и где научился понимать Луканию. Сначала это было трудно. Грассано, как и все здешние селения, белеет на вершине высокого пустынного холма, подобно маленькому призрачному Иерусалиму в одинокой пустыне. Я любил подниматься на самое высокое место поселка, к церкви, разрушенной ветрами, где взгляд охватывает в любом направлении бесконечный, одинаковый на всем своем протяжении горизонт. Кажется, что находишься среди моря беловатой земли, монотонной, без деревьев; белые далекие селения на вершинах холмов—Ирсина, Крако, Монтальбано, Саландра, Пистиччи, Гроттоле, Феррандина, земли и пещеры разбойников, а дальше, возможно, находится море и Метапонто и Таранто. Мне казалось, что я понял темную силу этой обнаженной земли, полюбил ее, и мне не хотелось покидать этот край. Я вообще горестно переживаю разлуки и поэтому был враждебно настроен к новому месту, где мне суждено было жить. Но я с удовольствием думал о путешествии, о возможности увидеть земли по ту сторону гор, замыкавших долину Базенто, о которых слышал столько рассказов и которые так живо рисовались в моем воображении. Мы проезжали над пропастью, куда год тому назад свалились музыканты из оркестра Грассано, возвращавшиеся поздно ночью после концерта на площади Аччатура. С той поры мертвые музыканты пробуждаются в полночь на дне пропасти и играют на трубах; пастухи избегают этих мест, охваченные суеверным страхом. Но когда мы там проезжали, был ясный день, сияло солнце, африканский

ветер обжигал землю и из глинистого обрыва не поднималось ни единого звука.

В Сан-Мауро-Форте, немного выше на горе, при въезде в поселок, я еще видел колья, на которых годами торчали головы бандитов, а вскоре мы уже въезжали в рощу Аччетуры, один из немногих остатков старинного леса, покрывавший некогда всю Луканию. *Lucus a non lucendo* * — это выражение верно и сегодня; Лукания, страна лесов, теперь вся обнажена; увидеть наконец деревья, зеленую траву, почувствовать свежесть лесной тени, услышать запах листьев — это значило для меня совершить путешествие в волшебную страну. Здесь было царство разбойников, и даже теперь от одного только далекого воспоминания пробирает дрожь; но это очень маленькое царство, его скоро оставляешь позади, чтобы подняться в Стильяно, где старый ворон Марк веками стоит на площади, как местный божок, черным контуром вырисовываясь на камнях. После Стильяно надо спуститься в долину Сауро с ее широким руслом, усеянным белыми камнями, и красивой оливковой рощей князя Колонна на острове, где батальон стрелков был уничтожен разбойниками из Бори, направлявшимися в Потенцу. Здесь, у перекрестка, надо свернуть с дороги, которая ведет к долине Агри, и направиться налево по дорожке, проложенной несколько лет назад.

Прощай, Грассано, прощайте виденные издали или воображаемые земли! Мы — на другом склоне гор и поднимаемся по уступам в Гальяно, который до недавнего времени не знал колес. В Гальяно дорога кончается. Все мне не понравилось здесь: поселок на первый взгляд не походил на поселок, он казался скорее небольшой кучкой отдельных белых домиков, в которых сквозь убожество сквозила претенциозность. Он был расположен не на вершине горы, как все другие, а лежал как бы на седле неправильной формы среди высоких живописных обрывов; с первого взгляда он не производил впечатления сурового и страшного, как все другие поселки в этих местах. Со стороны въезда было несколько деревьев, немного зелени; но именно это отсутствие характерных для Лукании черт мне не нра-

* Августин в «Диалектике» говорит: «*lucus*» (роща) названа так потому, что «*non lucet*» (не светит), то есть по контрасту. Автор, приводя это выражение, хочет сказать, что название Лукания (страна лесов) сейчас звучит как насмешка, так как все леса вырублены.—
Прим. перев.

вилось. Я уже привык к обнаженной и трагической суровости Грассано, к краскам осыпающейся извести, к его печальной и таинственной задумчивости; и мне казалось, что этот деревенский облик, в котором мне предстал Гальяно, обманчив, что это местечко не имеет ничего общего с деревней. И потом, может быть, это тщеславие, но я воспринимал как некое нарушение гармонии то, что место, где я был принужден жить, не давало чувствовать скованности, а было просторно и почти приветливо, ведь заключенному легче находиться в камере с бросающейся в глаза решеткой, чем в обычной комнате. Но мое первое впечатление оказалось оправданным только частично.

После того как меня выгрузили и вверили местному канцеляристу, сухопарому человеку в охотничьей куртке, тугоухому, с черными, торчащими на желтом лице усами, представили подесте* и бригадиру карабинеров, я попрощался с моими стражниками, которые тотчас уехали обратно, и остался один посреди улицы. Тут я понял, что, подъезжая, я видел не весь поселок, так как он тянулся извиваясь, как червяк, вокруг единственной, круто спускающейся по хребту двух обрывов улицы, которая потом подымалась и снова спускалась между двумя другими обрывами и кончалась над бездной. Поля, которые, мне казалось, я заметил, подъезжая, не были больше видны; вокруг были одни только обрывы из белой глины, и стоящие на них дома точно парили в воздухе; и со всех сторон одна только белая глина без деревьев и без травы, ямы, наполненные водой, бугры, косягоры; все это походило на бесплодный лунный ландшафт. Двери почти всех домов, точно висевших над бездной, потрескавшихся, готовых обрушиться, были странным образом обрамлены черными флагами, то новыми, то выцветшими от солнца и дождей, так что весь поселок, казалось, был в трауре или увешан флагами для праздника Смерти. После я узнал, что здесь существует обычай вывешивать эти флаги на домах, где кто-нибудь умер, и не снимать до тех пор, пока время не выбелит их.

В поселке нет ни настоящих магазинов, ни гостиницы. Канцелярист направил меня, пока я не найду квартиры, к своей невестке — вдове, у которой была комната для редких, случайных проезжих; хозяйка могла меня и на-

* Подеста — глава городского или сельского самоуправления.—
Прим. перев.

кормить. Она жила в нескольких шагах от муниципалитета, в одном из первых домов поселка. Прежде чем бросить более пристальный взгляд на мое новое местожительство, я с собакой Бароном прошел со своими чемоданами через дверь, увешанную траурными флагами, к вдове и сел в кухне. Тысячи мух чернели в воздухе и покрывали стены; старая рыжая собака лежала, растянувшись, на полу, точно погруженная в вековую тоску. Та же тоска, отвращение, следы пережитых несправедливостей и ужасов отпечатались на бледном лице вдовы, женщины средних лет; она не носила местной одежды, а была одета, как все городские, только с черной вуалью на голове. Ее муж умер три года назад дурной смертью. Он был околдован с помощью любовного зелья местной ведьмой и стал ее любовником. Родилась девочка; а так как он захотел порвать греховную связь, ведьма дала ему зелье, чтобы извести его. Болезнь была долгой и загадочной, врачи не знали, как назвать ее. Человек потерял силы, лицо потемнело, потом кожа его стала бронзовой, потом все больше чернела и чернела, и он умер. Жена — она была из господ — осталась одна с десятилетним мальчиком со скудными средствами, на которые надо было умудриться жить. Вот почему она и сдает комнату. Ее положение было средним между господами и крестьянами; в ней сочетались манеры одних и бедность других. Мальчик был отдан в церковную школу в Потенце; сейчас он дома, приехал на каникулы — молчаливый, послушный, уже отмеченный религиозным воспитанием. Он был коротко острижен и одет в серый форменный костюм, застегнутый до самой шеи.

Я совсем немного посидел в кухне вдовы, получая от нее первые сведения о поселке, когда постучали в дверь и несколько крестьян робко попросили разрешения войти. Их было семь или восемь, они были в черном, с черными волосами, а в их черных глазах было выражение необычной серьезности.

— Это ты только что приехавший доктор? — спросили они меня. — Идем, одному человеку очень плохо.

Они услышали в муниципалитете о моем приезде и узнали, что я врач. Я подтвердил, что я врач, но много лет не практиковал; и, конечно, в поселке есть же свой врач, пусть его и позовут, а я не пойду. Но мне ответили, что в поселке нет врача, а их товарищ умирает.

— Возможно ли, что в поселке нет врача?

— Нет, нету.

Я был в большом затруднении: по правде сказать, я не был уверен, что смогу принести какую-нибудь пользу после стольких лет перерыва во врачебной практике. Но как устоять перед их просьбами? Один из них, седовласый старик, подошел ко мне, взял мою руку и поднес ее к губам, чтобы поцеловать. Я, кажется, отшатнулся и залился краской от стыда, что, впрочем, случалось со мной и после, когда какой-нибудь крестьянин повторял тот же жест. Что это было? Мольба или остаток феодальных обычаев? Я встал и последовал за ними к больному.

Дом был близко. Больной лежал на полу, недалеко от входа, на каком-то подобии носилок; он был одет, в сапогах и в шляпе. В комнате было темно, и я с трудом мог различить в полутьме плачущих и стонущих крестьянок; небольшая толпа мужчин, женщин и детей стояла на улице, но с моим приходом все вошли в дом и встали вокруг меня. Я понял из их обрывочных рассказов, что больного внесли в дом несколько минут назад, что его привезли из Стильяно (в двадцати пяти километрах отсюда), куда его возили на осле, чтобы посоветоваться с тамошними врачами; конечно, есть врачи и в Гальяно, но с ними не советуются, потому что это коновалы, а не врачи; доктор из Стильяно сказал ему только, что он должен вернуться, чтобы умереть у себя дома; и вот он дома, и я должен попытаться спасти его. Но делать что-нибудь было уже бесполезно: человек умирал. Напрасны были лекарства, найденные в доме вдовы,— я дал их больному только для очистки совести, без всякой надежды помочь ему. Это был приступ злокачественной малярии, температура поднялась за пределы возможного, и организм уже не мог сопротивляться. С землистым лицом, он лежал навзничь на носилках, дышал с трудом, не произнося ни слова, а кругом все стонали. Вскоре он умер. Передо мной расступились, и я ушел один на площадь, откуда широко открывался вид на обрывы и долины в направлении Сантарканджело. Был час заката, солнце садилось за горами Калабрии, и преследуемые тенью крестьяне, казавшиеся крошечными издали, спешили по далеким глинистым тропинкам к своим домам.



Площадь в Гальяно — это, собственно, не площадь, а всего лишь самое широкое место на единственной улице в поселке; она расположена на сравнительно ровном месте, там, где кончается Верхний Гальяно, наиболее высокая его часть. Отсюда улица поднимается еще немного, потом спускается в Нижний Гальяно и выходит на другую маленькую площадь, кончающуюся обрывом. На площади дома стоят только с одной стороны; с другой стороны — над пропастью — поднимается низенькая ограда; пропасть эта называется Обрывом стрелка, потому что туда бросился стрелок из Пьемонта, заблудившийся в этих горах и захваченный разбойниками, хозяйничавшими здесь в те времена.

Наступали сумерки, в небе летали вороны, а на площади собирались для вечерней беседы представители местной знати. Они гуляют здесь каждый вечер. Присаживаются на ограду, спиной к последним лучам солнца, и в ожидании прохлады дымят дешевыми сигаретами. По другую сторону площади, прислонившись к стенам домов, стоят крестьяне, вернувшиеся с полей; но их голосов не слышно.

Подеста узнал меня и позвал. Это был высокий, полный молодой человек с гривой черных напояженных волос, в беспорядке падающих на лоб, с желтым безбородым лицом, круглым, как полная луна, с черными злыми глазами, лживыми и самодовольными. Он носил высокие сапоги, клетчатые брюки наездника, короткую куртку, в руке он вертел хлыстик. Это профессор Луиджи Магалоне; но он не профессор. Он всего лишь учитель начальной школы в Гальяно, хотя его основная обязанность — вести наблюдение за ссыльными, живущими в поселке. Этому делу он отдает (в чем я имел случай убедиться позже) все свои способности и все рвение.

Ведь его превосходительство префект назвал его самым молодым и самым фашистским из всех подест провинции Матера, как он сам тотчас же сообщил мне скрипучим голо-

сом кастрата, тоненьким и угодливым, вылетающим из огромного тела. Я вынужден быть любезным с профессором. А профессор тотчас же дает мне сведения о поселке и получает, как мне следует вести себя. Здесь есть несколько ссыльных, около десятка. Я не должен встречаться с ними, это запрещено. Да, в конце концов, это мелкие людишки, рабочие, дрянцо. А ведь я человек из общества, это же сразу видно. Я замечаю, что профессор гордится своей властью, возможностью впервые проявить ее в отношении культурного человека, врача, художника. Он тоже культурный человек, он считает нужным сообщить мне об этом. Он хочет быть внимательным ко мне — мы ведь люди одного уровня. Но как же это я стал ссыльным? И именно в тот самый год, когда родина становится по-настоящему великой. (Впрочем, он утверждает это не без некоторой робости. Война в Африке только начинается. Будем надеяться, что все пойдет хорошо! Будем надеяться!) Во всяком случае, мне здесь будет хорошо! Местность здоровая и богатая. Немного малярии — сущие пустыки. Крестьяне в большинстве мелкие собственники. Почти никого нельзя занести в список бедняков. Это один из самых богатых поселков провинции. Но я должен быть осторожен, потому что здесь много дурных людей. Никому нельзя доверять. Лучше всего ни к кому не ходить. У него много врагов. Он узнал, что я посетил этого больного. Как удачно, что я приехал и могу заняться врачебной практикой. Я предпочитаю не практиковать? Нет, я обязательно должен этим заняться. Он в самом деле будет этому очень рад. Вон в конце площади появился его дядя, старый доктор Милилло, городской врач. Я могу не бояться, он сам позаботится о том, чтобы его дядя не был недоволен конкуренцией. Да, в конце концов, дядя не идет в счет. Что касается другого врача, который прогуливается вон там, в одиночестве, то я должен быть настороже — он способен на все; но если мне удастся отнять у него всю клиентуру, это будет очень хорошо и профессор будет меня защищать.

Доктор Милилло приближался мелкими шажками. Ему лет семьдесят или немногим меньше. У него отвислые щеки и слезящиеся добродушные глаза старой охотничьей собаки. Движения его медленные, затрудненные, но скорее в силу характера, чем возраста. Руки дрожат, он с трудом выговаривает слова, верхняя губа у него невероятно длинна, а нижняя совсем отвисла. На первый взгляд, это незлобивый человек, совершенно выживший из ума. Ясно, что он не очень-то

рад моему приезду, но я пытаюсь успокоить его. Я не собираюсь заниматься врачебной практикой. Сегодня я пошел к больному только потому, что это был неотложный случай и я не знал, есть ли врачи в поселке. Доктор очень доволен моим заявлением и, как и его племянник, чувствует себя обязанным показать мне свою культуру: он усиленно ищет в темных закоулках памяти какой-нибудь старинный медицинский термин, задержавшийся там с университетских времен, как трофейное оружие, забытое на чердаке. Но из его бормотанья я понял только, что он теперь ничего не смыслит в медицине, если вообще когда-нибудь что-то смыслил. Великолепные лекции прославленной неаполитанской школы исчезли из его памяти, смешались в однообразии долгого, постоянного безразличия. Обрывки прежних знаний всплывают без всякого смысла в беспросветной тоске из моря хинина, единственного лекарства от всех болезней. Я увел его из опасной научной сферы и стал расспрашивать о поселке, о его обитателях, о здешней жизни.

— Хороший, но очень примитивный народ. Больше всего остерегайтесь женщин. Вы молоды и к тому же красивы. Ничего не принимайте от женщин. Ни вина, ни кофе, никакого питья, никакой пищи. Они обязательно намешают туда какого-нибудь зелья. Вы, конечно, понравитесь здешним женщинам. Все будут готовить для вас зелье. Никогда ничего не берите от крестьянок. И подеста того же мнения. Это зелье очень опасно. Оно неприятное. Даже противное. Хотите знать, из чего они его делают? — И доктор наклоняется к моему уху и бормочет, счастливый тем, что вспомнил наконец один научный термин: — Из крови... кро... крови *catameniale*. — При этом подеста смеется своим горловым смехом, как курица. — Они кладут туда всякие травы и произносят заклинания, но главное — это кровь. Невежественные люди. Они примешивают это ко всему — в напитки, в шоколад, в кровяную колбасу, пожалуй даже в хлеб. *Catameniale!* Будьте осторожны!

Сколько зелий, увы, я выпил, сам того не зная, в течение года! Конечно, я не следовал советам дяди и племянника и каждый день с риском для себя пил вино и кофе, даже если мне его приготовляла женщина. Может быть, там и были зелья, но они, видимо, взаимно нейтрализовались. Во всяком случае, вреда они мне не принесли, а может быть, они помогли мне каким-то таинственным образом постичь этот замкнутый мир, окутанный черными вуалями, мир крови и

земли, особый мир крестьян, куда нельзя проникнуть без волшебного ключа.

С холма Поллино на нас опускалась вечерняя мгла. Крестьяне теперь уже все вернулись в поселок — в домах зажигаются огни, со всех сторон звучат голоса, крики ослов и блеяние коз. На площади собралась вся местная знать. Враг подеста, доктор, разгуливающий в одиночестве, очевидно, очень хочет познакомиться со мной. Он все ближе кружит вокруг нас, как бесовский черный пудель *. Это толстый, пузатый, чванливый пожилой человек с седой острокопечной бородкой, с усами, падающими на широченный рот, из которого торчат желтые неровные зубы. На его лице выражение злобного недоверия и постоянного, плохо сдерживаемого гнева. Он носит очки, нечто вроде черного цилиндра, общипанный черный сюртук, старые, потертые, изношенные черные брюки. Он размахивает большим черным зонтиком из бумажной материи, который, как я наблюдал впоследствии, он всегда с важностью держал раскрытым, совершенно вертикально, зиму и лето, в дождь и в солнечную погоду, как священный балдахин над святыней собственного авторитета. Доктор Джибилиско очень горяч. Его авторитет, к сожалению, кажется довольно шатким.

— Крестьяне нам не доверяют, не зовут нас в случае болезни, — сказал он мне ядовито и раздраженно, с видом первосвященника, клеймящего ересь. — Или же они не желают платить. Они хотят, чтобы их лечили, но платить — ничего подобного! Но они еще одумаются. Вы видели сегодня человека, который не захотел меня позвать. Он отправился в Стальяно. Потом позвали вас. Он умер, и так ему и надо.

Это подтвердил, хотя и в более сдержанных выражениях, и доктор Милилло.

— Они упрямы, как ослы. Да, да! Они хотят все делать по-своему. Им даешь и даешь хинин, а они не желают его принимать. Ничего нельзя поделывать!

Я попытался успокоить и Джибилиско — я не намеревался быть их конкурентом; но его глаза полны недоверия и подозрения, а гнев его еще не выкипел.

— Они не доверяют нам, не доверяют лекарствам. Конечно, лекарство не все, но в какой-то мере может оказать

* Автор имеет в виду первое явление Мефистофеля Фаусту в виде черного пуделя. — Прим. перев.

помощь. Если нет морфия, можно пользоваться апморфином.

Джибилиско, как и Милилло, хочет показать мне свою ученость. Но я быстро замечаю, что он куда более невежественнее старика. Он абсолютно ничего не знает и плетет невесть что. Он знает только одно: крестьяне существуют лишь для того, чтобы Джибилиско посещал их, чтобы они платили ему деньгами и продуктами за посещения; и те, кто ему попадают, должны платить за тех, кто ускользнул. Врачебное искусство в его понимании — это только право, феодальное право распоряжаться жизнью и смертью крестьян; но бедные пациенты всеми способами уклоняются от этого *jus pesationis* *, и это приводит его постоянно в бешенство, в нем горит дикая звериная злоба к бедному стаду крестьян. Если последствия не всегда смертельны, то это не потому, что у него не было соответствующих намерений, но только потому, что убить человека с помощью науки можно, лишь обладая какими-то знаниями. Ему безразлично, какие применить лекарства; он их не знает и не заботится о том, чтобы знать их, они для него только оружие его права; воин может, чтобы заставить бояться себя, вооружиться по собственному выбору луком, шпагой, или кривой турецкой саблей, пистолетами или даже криссом **. Право Джибилиско — наследственное: его отец был врачом, его дед — тоже. Его брат, умерший в прошлом году, был, конечно, аптекарем. У аптекаря не оказалось преемников, и аптека должна была быть закрыта; но с помощью друзей удалось добиться в префектуре Матеры разрешения во имя блага народа не закрывать аптеку, пока не истечет срок аренды, и она продолжает функционировать под наблюдением двух дочерей фармацевта, хотя они не получили образования и, следовательно, по закону не могли быть допущены к продаже ядов. Сроки аренды, само собой, никогда не истекут. Какая разница, что за порошок будет насыпан на доньшко склянки, — этим уменьшается опасность ошибок при взвешивании. Но крестьяне упрямы и недоверчивы, они не идут к врачу, не идут в аптеку, не признают его права. Вот их и убивает малярия.

Я прошу дать мне кое-какие сведения о синьорах, которые прогуливаются или молча сидят группами на ограде. Вот

* Право умерщвления (лат.).

** Изогнутый малайский кинжал, лезвие которого отравляют ядом. — Прим. перев.

проходит блестящий бригадир карабинеров. Это красивый, смуглый молодой человек, апулиец* с напомаженными волосами, с злым лицом, в элегантном мундире с щеголевато затянутой талией, в блестящих сапогах, надушенный, вечно куда-то торопящийся, надменный. С ним придется обменяться несколькими словами; он пристально смотрел на меня издали, как на преступника, с которого нельзя спускать глаз. Он здесь три года и уже скопил, говорят, сорок тысяч лир, собранных по грошам с крестьян благодаря хитрому использованию своей власти над ними. Он любовник акушерки — высокой, сухой, чуть сутулой женщины с длинным лошадиным лицом и большими, романтическими, блестящими и томными глазами; она плохо одета, накрашена, ее язык и манеры сентиментальны и чопорны, как у провинциальной кафешантанной дивы. Бригадир останавливается на мгновение и шопотом говорит что-то подесте — ведь это светская власть; потом мне часто приходилось видеть их беседующими подолгу с таинственным видом, может быть, о том, как лучше держать все в порядке и увеличивать престиж власти. Но вот он уже удаляется, не кланяясь, высокомерно оглядев нас, и направляется к дому своей подруги в глубине площади. Или, может быть, он пойдет, как об этом поговаривают втихомолку, к красивой разбойнице — ссыльной сицильянке, которая живет за домом акушерки; это великолепное черно-розовое создание, которого никто никогда не видит, потому что сицильянка, согласно обычаям своей родины, прячет дома тайну своей красоты; она даже получила право, чтобы больше быть в удивлении, ходить отмечаться в муниципалитете не каждый день, а только раз в неделю. Бригадир как будто ухаживает за ней столь же галантно, сколь и грозно. Хотя целомудренная сицильянка слывет недоступной и к тому же там, на острове, как говорят, есть люди, готовые отомстить за ее честь, вряд ли это окутанное вуалью очаровательное создание сможет долго сопротивляться воплощенному могуществу закона. Одетые в черное, в жилетах старинного образца, с двумя рядами пуговиц, три господина молчаливо курят рядом с нами. Это помещики; лица их исполнены важности и печали. Вот этот худощавый старик с умным лицом, стоящий в стороне, — адвокат С., самый крупный богач поселка. Это

* Житель Апулии, юго-восточной провинции Италии.— *Прим. перев.*

добрый и печальный человек, преисполненный недоверия и презрения к тому миру, в котором ему приходится жить. В прошлом году у него умер единственный сын, и с тех пор его две красавицы-дочери, Кончетта и Мария, больше не выходили из дому, даже для того, чтобы пойти в церковь. Такой уж здесь обычай, во всяком случае среди синьоров: девушки в течение трех лет остаются взаперти, если умирает отец, и год — если умрет брат.

Тот, другой старик, с длинной белой бородой, спускающейся на грудь, который курит рядом с адвокатом, — почтовый приемщик на пенсии; он из Сан-Джованни, земляк доктора Джибилиско. Его зовут Поэрио, он последний отпрыск гальянской ветви известной семьи патриотов. Он глух и болен. Он страдает затрудненным мочеиспусканием и страшно исхудал. Ему, конечно, не долго осталось жить.

Эти сведения я получил от адвоката П., веселого юноши, который присоединился к нашей группе. Как он тотчас рассказал мне, он получил диплом несколько лет назад в Болонье. Не то чтобы у него было какое-то стремление к наукам или профессиональное честолюбие, совсем наоборот. Дядя оставил ему в наследство все свои владения и дом в поселке при условии, что он получит диплом; и он отправился в Болонью. Разгульная студенческая жизнь была для него великим приключением. Получив диплом и вернувшись в поселок, чтобы мирно наслаждаться наследством, он женился на женщине старше себя и уже не смог больше уехать. Он абсолютно ничего не делал, пытаясь и в поселке продолжать жизнь студента. Да и чем заполнить все часы дня, все дни года? Пассателла — игра в карты, болтовня на площади, вечера в винных погребках. Большую часть наследства дяди он проиграл в Болонье еще прежде, чем вступить во владение им; теперь все земли заложены, доходы стали скудными, семья растет. Но милый юноша оставался попрежнему студентом из Болоньи, веселым и распутным. На другой стороне площади расшумелся его товарищ по выпивке и пассателле, помощник учителя начальной школы. Он пьян сегодня, как почти всегда, с самого утра. Вино дурно действует на него, он делается диким, раздражительным, драчливым. Его вопли, когда он дает уроки в школе, слышны на краю поселка.

Все внезапно встают и направляются к почте. Оказывается, по склону улицы спускается старая почтальонша с мешком газет и писем, за которыми она каждый день отправ-

ляется на муле к перекрестку Сауро, где проезжает расхлябанный автобус, везущий несчастных путешественников по ухабистой дороге с тысячами поворотов из далекой Матеры в долину Агри. Все бегут к почте и ждут, пока дон Козимино, горбун с заостренным лицом, вскрывает пакеты и делает выборку. Это — вечерняя церемония, которую никто не пропускает и в которой буду после участвовать и я каждый день, весь год. В ожидании корреспонденции все стоят перед зданием почты; только подеста и бригадир входят туда и, под предлогом просмотра служебной почты, с любопытством читают все письма. Но в этот вечер почта запоздала, уже наступает ночь, и мне нельзя больше оставаться на улице. Прихрамывая, подходит маленький худой настоятель с большой красной кисточкой на шляпе; никто ему не кланяется. Мне уже пора идти. Я зову своего пса Барона, который прыгает передо мной, возбужденный всем новым в этом новом для него месте — новыми запахами, новыми собаками, овцами, козами, птицами. И я медленно поднимаюсь к дому вдовы.

Обрыв стрелка окутан тьмой, тьма охватывает лиловые и черные горы, которые со всех сторон замыкают горизонт. Загораются первые звезды, по ту сторону Агри сверкают огни Сантарканджело, и дальше еле заметны огни неведомых мест, может быть Ноэполи или Сенизы. Улица узкая. В наступающей тьме сидят у дверей крестьяне. Из дома умершего доносятся стенания женщин. Неясный шорох бродит вокруг меня, а дальше — глубокое молчание. Мне кажется, что я упал, как камень с неба, в стоячую воду.



Вот какова эта страна порядочных людей! — думал я, ожидая ужина в доме вдовы. Огонь горел под котелком, потому что добрая женщина решила, что я устал после дороги и мне необходимо съесть что-нибудь горячее. Обычно вечером не разжигают огня, даже в богатых домах — там хватает оставшегося от завтрака: немного хлеба с сыром, несколько маслин и неизменные сухие фиги. Что же касается бедняков, то они едят весь год один хлеб, изредка добавляя аккуратно нарезанный недозревший помидор или чеснок с оливковым маслом, или испанский перец, из тех, что дьявольски жгут. Это страна порядочных людей! Я еще не мог определить свои впечатления, не мог проникнуть во все местные страсти и тайны политики; но меня поразили спесь, манеры синьоров, прогуливавшихся на площади, и особенно общий тон злобы, презрения и взаимного недоверия в их разговорах, легкость, с которой они проявляли враждебные чувства, отсутствие всякой естественной сдержанности в обществе только что прибывшего человека из чужих краев, что сразу раскрыло передо мной пороки одних и слабости других. Хотя я не мог еще определить это точно, но было очевидно, что здесь, как и в Грассано, взаимная ненависть всех против всех кристаллизуется в двух партиях. Здесь, как и в Грассано, как и во всех других поселках Лукании, синьоры, которые не смогли из-за неспособности, или бедности, или из-за преждевременного брака, или из-за интересов опекунства, или по какому-либо капризу судьбы эмигрировать в рай Неаполя или Рима, превращают собственное разочарование и собственную смертельную тоску в общую ярость, в неугасимую ненависть, в постоянно пробуждающиеся древние чувства, в вечную борьбу за утверждение, вопреки всем, своей власти над маленьким уголком земли, где они вынуждены жить. Гальяно — крохотный поселок, расположенный вдали от дорог и мира людей; поэтому страсти

здесь примитивней, проще, но не слабее, чем в других местах; и мне казалось, что будет нетрудно вскоре подобрать к ним ключ.

В противоположность этому Грассано скорее большой поселок на проезжей дороге, недалеко от главного города провинции; там нет такого тесного общения людей; поэтому страсти могут быть более скрытыми, принимать более разумную форму, более сложный характер. Секреты Грассано были мне открыты в первые дни моего пребывания там одним из наиболее ревностных носителей их. Как я узнаю страсти Гальяно? Я должен прожить в Гальяно три года — бесконечно долгий срок. Мир замкнут; ненависть и борьба синьоров — это единственные каждодневные переживания; и я уже увидел по лицам синьоров, какие они бурные и закоренелые, ничтожные, но неугасимые, как в греческой трагедии. Но все же мне необходимо, подобно герою Стендаля, составить план действий и постараться строго его придерживаться. В Грассано моим осведомителем был начальник милиции лейтенант Декунто. Кто будет им здесь?

Когда лейтенант Декунто, начальник милиции в Грассано, на следующий день после моего прибытия из Реджина Чёли* послал за мной с категорическим приказом явиться, я еще не освоился с новым окружением, не знал еще как следует, что происходит в этом мире, какие царят настроения в поселке в связи с грядущей войной в Африке и боялся каких-нибудь новых неприятностей. Вместо этого я увидел в комнатке, служившей начальнику милиции кабинетом, маленького, приятного молодого блондина с бегающими светлоголубыми глазками, с горькой улыбкой на губах; взгляд его всегда скользил мимо вещей, вкось, не столько от страха, сколько от чего-то похожего на стыд и отвращение. Он позвал меня, потому что я был офицер в отставке, так же как и он, и ему хотелось познакомиться со мной. Он счел необходимым тотчас же сказать мне, что он командует милицией, но не имеет ничего общего ни с квестурой, ни с carabinieri, ни с подестой, ни, в особенности, с секретарем фашистской организации — кроме всего, еще и настоящим преступником; все же остальные были бандой, достойной этого фашиста. Жизнь в Грассано невыносима, и из этого нет выхода. Все честолобцы, воры, бесчестные, жестокие люди. Он должен непременно вырваться отсюда, иначе он умрет. Вот

* Тюрьма в Риме.— *Прим. перев.*

почему он подал заявление, что хочет уйти добровольцем в Африку; и пусть все провалится. Мало о чем можно пожалеть.

— Мы играем ва банк,— сказал он мне, смотря вдаль, мимо меня.— Это конец, понимаете? Конец. Если мы победим, может быть, мы сможем что-нибудь изменить, кто знает? Но Англия не позволит. Мы разобьем себе голову. Это наша последняя ставка. А если дело пойдет плохо...— и он сделал такой жест, будто хотел сказать: тогда конец миру.— Будет плохо, вот увидите. Но это не имеет значения. Так больше продолжаться не может. Вы здесь останетесь некоторое время. Вам чужды наши переживания, и вы сможете вынести свое суждение. Когда вы увидите, что за жизнь в этом краю, вы мне скажете, что я был прав.

Я молчал, потому что не доверял ему. Но я должен был признать в последующие дни, что лейтенант Декунто, если даже и следил за мной, был все же искренен и его пессимизм совсем не был притворным. Он симпатизировал мне, потому что я был из других краев и он мог изливать мне свои огорчения... Всякий раз, как я поднимался к церкви в верхней части поселка и останавливался на ветру, чтобы посмотреть на горестный пейзаж, он появлялся рядом, сероватобеловатый, как призрак, и говорил со мной, не глядя на меня. Он был последним звеном в цепи ненависти, восходившей к далеким поколениям; сколько лет это длилось? Сто? Нет, больше! Двести. Кто знает, быть может, всегда! Ему передавалась эта страсть по наследству. Он ничего не мог поделать, и он укорял себя за это. Они здесь ненавидели друг друга веками и всегда будут ненавидеть, среди этих самых домов, перед теми же белыми камнями Базенто, у тех же самых пещер Ирсини. Теперь они все фашисты, это известно. Но это ничего не значит. Раньше они были ниттианцами* или саландринцами**, до этого — джолиттианцами*** или антиджолиттианцами, правыми или левыми, за разбойников

* Нитти (1868—1953) — итальянский политический деятель, был в оппозиции к фашизму, эмигрировал, но после освобождения Италии примкнул к реакционному лагерю. В 1948 году был назначен сенатором.— *Прим. перев.*

** Саландра (1855—1931) — итальянский государственный деятель. Был премьер-министром во время войны 1914 года, защищал политику нейтралитета.— *Прим. перев.*

*** Джолитти (1842—1928) — итальянский государственный деятель либерального направления.— *Прим. перев.*

или против разбойников, бурбонистами или либералами, а еще раньше — кто его знает кем. Но все берет начало вот от чего: были порядочные люди и были бандиты, дети порядочных людей и дети бандитов. Фашизм ничего не изменил. Напротив, раньше, когда были партии, порядочные люди могли стоять по одну сторону под особым знаменем и противостоять другим и бороться, прикрываясь политикой. Теперь остаются только анонимные письма, притеснения и взяточничество в префектуре. Потому что теперь все фашисты.

— Я, видите ли, из семьи либералов. Мои прадеды сидели в тюрьме при Бурбонах. А секретарь фашистской организации — знаете, кто он? Он сын разбойника. В самом деле сын разбойника. И все, кто ему подпевает и кто сейчас распоряжается в поселке, одного с ним поля ягода. И в Матере то же самое. Национальный советник Н., уроженец этих мест, — вышел из семьи, поддерживавшей разбойников. Также и барон Коллефуско, владелец всех окрестных земель, хозяин роскошного дома на площади, кто он? Живет в Неаполе, это известно, и сюда никогда не приезжает. Не знаете его? Бароны Коллефуско около шестидесятого года были истинными вождями разбойников в этих местах. Это они их оплачивали, они их вооружали. — Голубые глазки лейтенанта сверкали ненавистью. — Вы часто садитесь, я видел много раз, на каменную скамейку перед дворцом барона. Сто лет назад, даже более ста лет, на эту самую скамейку, вот как вы теперь, садился каждый вечер, чтобы подышать воздухом, прадед нынешнего барона и обычно держал на руках одного из своих малышей — как раз будущего деда нашего барона, депутата и опоры разбойников. На этой скамейке старик был убит родственником одного из моих прадедов. Он был аптекарем, его брат — врач Палезе. Мы, здешние Декунто, происходим из той же семьи. В Потенце есть еще несколько потомков доктора. Вот как это случилось. В то время была здесь у нас группа карбонариев, и в ней состояли два брата Палезе, некто Ласала, из тех Ласала-плотников, которых вы знаете, Руджеро, Бонелли и много других; и с ними был также барон Коллефуско, который прикидывался либералом. Но барон был шпионом, он для того и вошел в группу, чтобы выдать всех. Действительно, однажды было устроено заседание по поводу каких-то там действий, которые они собирались вскоре предпринять. Как только заседание кончилось, барон возвращается во дворец, при-

зывает к себе верного слугу, приказывает седлать лучшего коня, дает ему список всех заговорщиков и посылает к губернатору Потенцы. Но отъезд слуги не прошел незамеченным. Возникли кое-какие подозрения: что собирался делать этот слуга на дороге в Потенцу в этот час, для чего оседлал лучшую лошадь в поселке? Времени терять было нельзя; надо догнать его, остановить, обнаружить предательство. И четверо карбонариев скачут на лошадях. Но лошадь барона была лучше, и выехал слуга на час раньше. Все четверо скачут по кратчайшим дорогам, по тропинкам, мчатся всю ночь, и им удается настигнуть слугу как раз у ворот Потенцы, на опушке леса. На скаку издали стреляют по лошади, и лошадь падает; хватают слугу, привязывают к дереву, обыскивают и находят записку барона. Решено было не убивать слугу, оставляют его привязанным и возвращаются во весь опор в Грассано. Надо наказать предателя. Карбонарии собираются и тянут жребий, кому выпадет убить барона. Жребий падает на доктора Палезе, но его брат аптекарь лучше стреляет и к тому же он холост; он просит заменить брата и получает согласие. Тогда против дома барона не было других домов, как сейчас, а сразу начиналось поле и рос большой дуб.

Был вечер. Аптекарь с ружьем спрятался за дубом и стал ждать, когда барон выйдет подышать воздухом. Светила полная луна. Барон вышел, но на руках он держал ребенка; он сел на каменную скамейку и стал подбрасывать ребенка на коленях. Аптекарь медлил, он не хотел убивать невинного; но так как барон, видимо, не собирался услатить мальчика, он вынужден был решиться. Он был отличный стрелок и не промахнулся. Он попал ему прямо в лоб, как раз когда ребенок его обнимал. Естественно, все либералы попрятались, но были арестованы и осуждены. Аптекарь умер в тюрьме в Потенце, доктор пробыл там долгие годы, и, конечно, тоже умер бы, если бы не случилось так, что у жены губернатора были трудные роды: она никак не могла родить, и жизнь ее была в опасности. Никто из врачей Потенцы не мог помочь ей; тогда кому-то пришла в голову мысль позвать врача, находившегося в тюрьме. Он явился, спас губернаторшу, которая родила прекрасного мальчика и, как только поправилась, помчалась в Неаполь и упала к ногам королевы. Доктор получил помилование, но не вернулся больше в Грассано. Он остался в Потенце, а его потомки живут там и поныне. Ребенок, которого так заботливо обе-

регал аптекарь, стал потом, как я уже говорил, первым депутатом от Грассано в итальянском парламенте, он прикидывался либералом, но в то же время покрывал разбойников. А внук, который еще жив, здесь никогда не бывает, но втайне оказывает из Рима покровительство банде, хозяйничающей в крае. Все это дети разбойников.

Я никогда не мог проверить, достоверны ли все подробности этой истории, которая хоть немного облагораживала взаимную вражду жителей Грассано, связывая ее с теми далекими временами и в какой-то мере оправдывая ее идейными мотивами. Но все это не имеет значения. Борьба синьоров между собой не имеет ничего общего с вендеттой*, переходящей от отца к сыну; дело тут также не в реальной политической борьбе между консерваторами и прогрессистами, даже если она случайно и принимает такую форму. Конечно, каждая из этих двух партий обвиняет другую в самых страшных преступлениях; и те же истории, рассказанные лейтенантом Декунто, но вывернутые наизнанку, в сентиментальном тоне передавались мне членами той группы, которая в настоящий момент стояла у власти. Одно правда, что эта постоянная вражда синьоров существует в тех же самых формах повсюду в Лукании. У мелкой буржуазии не хватает средств, чтобы жить с достаточным внешним блеском, по-дворянски. Все сколько-нибудь способные юноши и те, кто могут проложить себе хоть какую-то собственную дорогу, покидают эти края. Наиболее предприимчивые уезжают без гроша в кармане в Америку; другие уезжают в Неаполь или в Рим и уже больше не возвращаются на родину. Здесь остаются только неполноценные, те, кто ничего не умеет делать, с физическими недостатками или ни к чему не пригодные, ленивые; скука и жадность делают их злыми. Этот вырождающийся класс нуждается в господстве над крестьянами и в закреплении за собой доходных мест (маленькие поместья доходов не приносят) — учителя, аптекаря, священника, начальника карабинеров и тому подобное; в сохранении власти в своих руках, что является для них вопросом жизни и смерти — нужно, чтобы мы или наши родственники, или свойственники были на командных постах. Отсюда непрерывная борьба за то, чтобы вырвать необходимую и желанную власть, отнять ее у других, — борьба, которую уозсть среды, безделье, усугубленные лич-

* Вендетта — кровная месть. — *Прим. перев.*

ными или политическими мотивами, делают постоянной и жестокой. Каждый день приходят из всех деревень Лукании анонимные письма в префектуру. А префектура скорее довольна, хотя и заявляет обратное. В Матере делают вид, что пытаются утихомирить наши споры, говорил мне лейтенант Декунто, но в действительности делают все, чтобы раздуть их. У них есть в этом смысле инструкции из Рима. Так угрозами или обещаниями они держат всех в руках. Но на что мы можем надеяться? И он сделал характерный жест рукой, обозначавший: ни на что. Здесь нельзя жить. Надо уезжать. Теперь поедem в Африку! Это наша последняя ставка.

Лицо лейтенанта милиции делалось серым, когда он так говорил со мной, а его бегающие глаза отчаянно и зло сверкали от бессильной ярости. Он сам целиком принадлежал к этим людям, этой вражде, этим страстям; он был из их числа и терзался этим. Проблески сознания и стыда появлялись у него. Он верил, как и все другие, в африканское предприятие, в необходимость «жизненного пространства» для вырождающейся мелкой буржуазии, но в то же время он отдавал себе отчет, пусть элементарно и только чувством, что этот класс вырождается и нищает, и война становилась для него бегством в мир разрушения. В сущности его больше всего привлекала в этом предприятии возможность поражения, уничтожения. Это было видно по тону, которым он повторял: это наша последняя ставка. Чуть заметные проблески сознания, вспыхивавшие у него и отличавшие его от сограждан, не проявлялись иначе, как в глубоком, стыдливом презрении к себе. К взаимной ненависти синьоров у него прибавлялась ненависть к самому себе — и это делало его, что было ясно для всякого, наблюдавшего за ним, еще более злым и едким, чем другие, способным на любое преступление. Он мог бы убить, ограбить, стать шпионом и, быть может, даже умереть героем просто от отчаяния — и все это с наивной простотой юноши из хорошей семьи. Выходом для него была война в Африке. Если дела обернутся плохо, какое это имеет значение? Весь мир мог рухнуть, чтобы похоронить самое воспоминание о Грассано, белеющем на вершине холма, неизменном с его синьорами и бандитами.



Но роковой мимолетный проблеск сознания лейтенанта Декунто, думал я, сидя за ужином в кухне вдовы,— это редкий случай, может быть даже исключительный. Такой проблеск не промелькнул ни на одном тупом, злом и жадно удовлетворенном лице моих новых знакомых, прогуливавшихся на площади. Их страсти, как это было ясно, не опираются на историю, не выходят из узкого пространства малярных глин; они вырастают в маленьком уголке между четырьмя домами, порождаются нищетой и ежедневной неотложной потребностью в пище и деньгах, открыто облачаются в условности «порядочных людей», распухают в крохотном мире мелких душ, на фоне пустынного пейзажа, пока не вырвутся силой, как пар из-под крышки этой глиняной кастрюли вдовы, где варится жидкий суп, ворча и свистя на жалком пламени хвороста, там в камине. Я смотрел на огонь и думал о бесконечной цепочке дней, ожидающих меня в будущем, когда и для меня горизонт мира людей будет замкнут этими темными страстями. Тем временем вдова положила на стол хлеб и поставила кувшин с водой. Это был серый хлеб местной выпечки, из грубой пшеницы, в виде караваев в три или пять кило, который едят целую неделю, круглый, как солнце или как мексиканские солнечные часы на камне,— почти единственная пища и бедных и богатых. Я начал резать его теперь уже знакомым мне способом — упирая в грудь и прижимая к себе, стараясь не поранить острым ножом подбородок. Кувшин, обычный кувшин, которые и в Грассано и здесь женщины носят на голове, амфора из Феррандины, сделанная из желто-розовой глины, с выпуклостями и впадинами, напоминающими архаическое изображение женщины с тонкой талией, круглыми бедрами и грудью, с маленькими, выгнутыми дугой ручками. Я сидел один за столом, покрытым тяжелой скатертью из домотканного полотна, но комната не была

пустой. Дверь с улицы то и дело открывалась, и входили женщины-соседки — знакомые, родные вдовы. Они приходили под разными предлогами — приносили воду, спрашивали, не нужно ли ей постирать завтра на реке; женщины останавливались далеко от моего стола, около входа и говорили все вместе, как птицы. Они делали вид, что не смотрят на меня, но время от времени черные глаза их быстро и с любопытством обращались из-под вуалей в мою сторону и тотчас же убегали, как лесные зверьки. Я еще не привык к местной одежде (к жалкому подобию одежды, не имеющей ничего общего с знаменитыми костюмами, которые носят в Пьетрагалла или Пистиччи), и все женщины казались мне одинаковыми: у всех лица обрамлены вуалью, обмотанной несколько раз и падающей на спину, на всех простые кофточки из бумажной материи, длинные, до щиколотки широкие темные юбки колоколом и высокие сапожки.

Женщины стояли прямо, в торжественных позах людей, привыкших держать на голове в равновесии тяжести, и их лица сохраняли выражение суровой строгости. Строгими, без всякого женского изящества, были их жесты, так же как тяжелые взгляды их черных любопытных глаз. Они казались мне не женщинами, а солдатами странного войска или скорее флотилией темных закругленных баркасов, которые вот-вот поплывут все вместе по ветру на маленьких белых парусах. Я смотрел на них и пытался понять, о чем они говорят на своем диалекте, когда кто-то постучал в дверь; женщины простились, юбки и вуали сильно заколыхались, и новый персонаж появился в кухне.

Это был молодой человек с крохотными рыжими усиками; в руках у него был длинный футляр коричневой кожи. Он был плохо одет, сапоги его были в пыли, но на шее у него был галстук и воротничок, а на голове — смешная высокая круглая фуражка с лакированным козырьком, вроде тех, которые носили когда-то студенты. На сером околыше фуражки пламенели во всю высоту вырезанные из красного сукна две большие буквы: НИ. «Налоговая инспекция», — сказал он мне, когда я спросил у него, что означают эти гигантские Н и И. Между тем, осторожно положив футляр, он сел за мой стол, вытащил из кармана сверток с хлебом и сыром, заказал вдове стакан вина и начал есть. Это был сборщик налогов из Стильяно; он часто бывал в Гальяно по делам службы; сегодня он запоздал и должен был заню-

чевать у вдовы. У него и назавтра была работа в Гальяно. Он не очень охотно говорил о своей службе, но, напротив, с большим удовольствием показал мне содержимое своего футляра. Там лежал кларнет. Он с ним никогда не расставался, постоянно носил его с собой, даже когда «путешествовал», охотясь за деньгами крестьян. Он нашел эту работу (нужно же жить), но мечтает совсем о другом — о музыке. Он еще не овладел этим искусством в совершенстве, он начал учиться играть на кларнете только год назад, но зато упражняется непрерывно. Да, он может сыграть мне одну песенку, потому что — это видно — я разбираюсь в музыке; но только одну, так как ему нужно еще зайти к товарищу, а сейчас уже поздно.

Хлеб и сыр кончились, и больше нечего было есть. Кларнет неуверенно и тихо играл мелодию песенки; собаки аккомпанировали ей ворчаньем.

Как только сборщик-музыкант вышел и мы остались одни, вдова рассыпалась в извинениях, что должна поместить его в комнате вместе со мной. Она не могла сделать иначе. Но это приличный молодой человек, чистоплотный, не крестьянин. Я уверил ее, что охотно снесу его общество. Я уже привык к этим случайным сожителям на одну ночь. В Грассано, живя в гостинице Приско, я почти каждый вечер должен был принимать нового человека в своей комнате. Там было две комнаты, но когда одна была полна, приходилось пользоваться и моей; часто это бывали проезжие, потому что Грассано расположен на большой дороге, а гостиница Приско считается лучшей во всей провинции и путешественники, едущие по своим делам в Трикарико, предпочитают вернуться вечером в Грассано, но не останавливаться в убогой таверне этой резиденции епископа.

Таким образом передо мной прошли апулийские бродячие купцы, неаполитанские торговцы грушами, ломовые извозчики, шоферы — словом, люди самых разнообразных профессий. Однажды поздно ночью, когда я лежал уже в постели, я услышал непривычное пыхтение мотоцикла и затем увидел у себя в комнате мотоциклиста в шлеме, покрытом пылью. Это был барон Никола Ротунно из Авеллино, один из самых богатых помещиков провинции. Он вместе со своим братом адвокатом владел бескрайними землями в Грассано, в Трикарико, в Гроттоле и не знаю в скольких еще местах провинции Матеры и разъезжал на мотоцикле, собирая с управляющих деньги за урожай, требуя с крестьян уплаты долгов, тех

долгов, которые они вынуждены делать в течение года, чтобы перебиться, и которые обычно превышают весь их годовой доход, убивая тем самым всякую надежду на благоприятное время года. Барон, безбородый худой молодой человек в пенсне, славился в Грассано, так же как и его брат, особой беспощадностью в соблюдении своих выгод. Он был способен выгнать крестьянина с земли за долг в несколько лир, был коварен и скрытен в делах, ловко подбирал управляющих, преданных его интересам, был очень груб со всеми. Он был церковником и носил в петлице пиджака вместо обычного фашистского значка круглый значок католического действия*. Со мной он был очень любезен. Узнав, что я его сосед по кровати, ссыльный, он тотчас же предложил освободить меня, говорил, что это для него очень легко, так как он друг самой любимой приятельницы сенатора Боккини, начальника полиции; эта дама, как и он, из Авеллино и, так же как он, особенно чтит Мадонну, которой поклоняются в знаменитом храме в окрестностях этого города. Таким образом, разговор зашел о храмах и о их святых, о святом Рокко из Тольве, в необыкновенной силе которого я мог убедиться благодаря собственному опыту и особой милости. Тольве — это деревня недалеко от Потенцы. Каждый год в начале августа туда совершается паломничество. Мужчины, женщины, дети собираются со всех близлежащих провинций, бредут пешком, едут на ослах, передвигаясь день и ночь. Святой Рокко, как бы парящий над церковью, ждет их. «Тольве принадлежит мне, и я ему покровительствую», — говорит святой Рокко, изображенный на лубочной картинке в коричневой одежде с золотым нимбом на фоне голубого неба этой страны.

Но и святой из Грассано — хороший святой: это святой Маврикий, сверкающий красками там внизу, в церкви, вооруженный до зубов прославленный картонный воин, наподобие тех, которых и сейчас еще с таким искусством делают в Бари.

От святого Маврикия мы перешли к его товарищу по оружию и благодати и к другим святым, к святому Августину и к «Граду божию»** и к спорам вокруг евангелий.

* Католическое действие — объединение различных организаций католической церкви. В Италии при фашизме находилось под контролем фашистских властей. — *Прим. перев.*

** Сочинение Августина. — *Прим. перев.*

Барон был поражен и обрадован моею осведомленностью в этой области, ибо он не мог предположить, что я все это знаю. Было уже очень поздно, и глаза мои слипались, когда барон внезапно сел на постели, взял с ночного столика очки, нацепил их на нос, одним прыжком оказался на полу и тихо подошел к моей кровати, закутанный, как призрак, в длинную белую ночную рубашку, которая спускалась почти до босых ступней. Когда он приблизился ко мне, он осенил меня широким крестом и сказал торжественным и взволнованным голосом: «Благословляю тебя во имя младенца Христа, доброй ночи». Перекрестив меня вторично, он вернулся на свою постель и потушил свет. Охраняемый неожиданным благословением помещика-барона, я тотчас же заснул, чтобы проснуться, как обычно, на рассвете под ангельские звуки колокольчиков уходящих в поле стад и под дьявольские крики Приско, который, как обычно каждое утро, звал громовым голосом своих заспавшихся сыновей.

Комната вдовы, которую я должен был на эту ночь разделить со сборщиком налогов, была гораздо мрачнее комнаты Приско. Она была темная, длинная, узкая, с окошечком в глубине, с крашенными известью серыми, грязными и облупившимися стенами. Там стояли три кровати, в углу — железный умывальный таз с потрескавшейся эмалью, кувшин и хромой комод против кроватей. Грязная лампочка, засиженная мухами, давала желтоватый, точно поблекший свет. Мухи летали стаями в удушающей жаре. Окно было закрыто, чтобы не влетали комары, но как только я опустил голову на подушку, тотчас же услышал со всех сторон их писк, наводящий такой страх в этой малярийной местности.

В это время вернулся мой товарищ; он повесил кепку на гвоздь против моей кровати, положил футляр с кларнетом на комод и разделся. Я спросил у него, как идут дела в Гальяно.

— Плохо, — ответил он. — Сегодня я приехал, чтобы сделать опись имущества. Налогов не платят. Приедешь делать опись, а в доме ничего нет. Я был у троих; никакой мебели, ничего, кроме постели, а постель взять нельзя. Придется удовлетвориться козой да несколькими голубями. Нехватает даже денег, чтобы оплатить расходы по перевозке. Завтра я должен зайти еще к двоим; будем надеяться, что там дело пойдет лучше. Но это настоящее

несчастье — крестьяне не хотят платить. Почти у всех здесь, в Гальяно, есть своя земля — крохотный клочек земли, пожалуй, слишком далеко от поселка, в двух-трех часах пути; и нередко, действительно, земля плохая и дает мало. Налоги большие, если говорить правду. Но это меня не касается; не мы их устанавливаем; мы должны только заставить платить их. А вы знаете, какие крестьяне: у них все года плохие. Они кругом в долгу, больны малярией, им нечего есть. Но послушай их, и попадешь впросак; мы должны выполнять свой долг. Не платят — бери хотя бы то, что есть, вещи, которые ничего не стоят. Иногда мне приходилось совершать поездку из-за нескольких бутылок оливкового масла и горсточки муки. А они еще на нас смотрят неприязненно, с ненавистью. В Миссанелло два года назад даже стреляли. Это мерзкая должность. Но ведь надо жить.

Я видел, что эта тема ему неприятна, и, чтобы ободрить его, перевел разговор на музыку. Он надеялся научиться сочинять песенки, выйти победителем на каком-нибудь конкурсе, получить какую-нибудь премию — тогда бы он бросил службу. А пока он играл на кларнете в оркестре Стильяно. Я спросил его, какие поют в этих местах песни и не может ли он научить меня некоторым из них и даже переписать их. Он спросил, какие песенки меня интересуют — «Черное личико» или какая-нибудь другая модная вроде этой. Нет, это не то, я имею в виду крестьянские песни. Он некоторое время молчал, как бы размышляя над новой для него задачей, над которой он никогда не задумывался. Записать музыку песенки он мог бы, наигрывая ее по нескольку раз на кларнете. Но он не мог вспомнить ни одну из тех песенок, которые поют крестьяне. В Виджано поют и играют. А здесь нет. Может быть, есть какие-нибудь церковные песни. Он наведет справки. А других он не знает. То же самое я заметил и в Грассано. Ни утром, когда идут на работу, ни в полдень, когда обедают, ни вечером, когда возвращаются длинными черными вереницами с ослами и козами к домам на горе, ни один голос не нарушает тишину края. Только единственный раз я слышал откуда-то со стороны Базенто жалобу тростниковой флейты, ей отвечала другая флейта с противоположного холма: это были два пастуха из чужих мест, перегонявшие скот из края в край и перекликавшиеся издалека. Но крестьяне не поют.

Мой сосед больше не отвечал: я слышал только его ровное свистящее дыхание в непрерывном жужжании мух, возбужденных жарой. Слабый свет от ущербной луны на бледном небе проникал через закрытое окно; на стене напротив меня выделялись в полусвете большие красные буквы НИ на фуражке, висевшей на гвозде. Я смотрел на них в полутьме до тех пор, пока глаза мои не закрылись и я не уснул.



В первое утро меня разбудили не колокольчики овец, как в Грассано,— потому что здесь нет ни пастухов, ни пастбищ, ни травы,— а непрерывный стук ослиных копыт по камням улицы и бляение коз. Переселение это совершается каждый день. Крестьяне встают затемно, потому что им нужно совершить кому двух-, кому трех-, кому четырехчасовой переход, чтобы добраться до своих полей, что лежат у нездоровых русел Агри и Сауро или на склонах далеких гор.

Комната была залита светом. Фуражки с буквами уже не было. Мой сосед, должно быть, ушел на рассвете, чтобы принести утешение закона в дома крестьян прежде, чем они отправятся на свои поля; и в этот час он, быть может, уже бежал в своей фуражке, сверкающей на солнце, с кларнетом, с козой на поводке по дороге в Стильяно. Со стороны двери до меня доносились женские голоса и плач ребенка. Десяток женщин, держа детей на руках или за руку, терпеливо ждали моего пробуждения. Они хотели показать мне своих детей и просить меня полечить их. Дети все были бледные, худые, с большими черными печальными глазами на землистых лицах, с раздутыми и тугими, как барабан, животами, на тонких кривых ножках. Малярия, которая здесь не щадит никого, уже вселилась в их исхудалые, рахитичные тела.

Я не хотел заниматься больными, потому что это не было моим призванием, потому что я очень мало в этом смыслил и, кроме того, отдавал себе отчет в том, что если буду это делать, то войду в устоявшийся, завистливый мир синьоров поселка, а это мне нисколько не улыбалось. Но я сразу понял, что не смогу долго удерживать свои позиции. Повторилась сцена предыдущего дня. Женщины просили, благословляли, целовали мне руки. Надежда, абсолютная вера жила в них. Я спрашивал себя, что могло породить ее?

Вчерашний больной умер, и я ничего не смог сделать, чтобы спасти его; но женщины говорили про меня, что я не какой-нибудь докторишка, как другие,— это они сразу увидели,— а добрый человек и вылечу их детей. Может быть, это был естественный престиж всякого нового человека, приехавшего издалека и потому уподоблявшегося божеству; или, скорее всего, они заметили, что, несмотря на мою беспомощность, я все же старался сделать что-то для умирающего, осматривал его внимательно и с искренним состраданием? Я был удивлен и пристыжен этим доверием, столь же глубоким, сколь незаслуженным. Я отпустил женщин, дав несколько советов, и вышел вслед за ними из затененной комнаты на ослепляющий свет утра. Тени домов были черные и резкие; жаркий ветер, вырывавшийся из-за обрывов, поднимал тучи пыли; в пыли ловили блох собаки.

Я захотел познакомиться с установленными для меня границами, которые точно совпадали с границами поселка, захотел совершить первое кругосветное путешествие по моему острову; земли вокруг должны были оставаться для меня недостижимыми просторами, лежащими за пределами геркулесовых столбов, установленных подестой. Дом вдовы находился в самом высоком месте поселка, на расширении дороги, которая кончалась у церкви, у маленькой белой церквушки, чуть побольше обычного дома. У входа стоял настоятель и грозил палкой группе мальчиков, которые в нескольких шагах от него строили ему рожи и гримасы, нагибались к земле, точно собираясь забросать его камнями. При моем появлении мальчики разлетелись, как воробьи; священник смотрел им вслед гневным взглядом, махал палкой, крича: «Проклятые, еретики, отлученные!»

— Над этим краем нет благословения божьего,— сказал он потом, обращаясь ко мне.— В церковь мальчишки приходят, чтобы поиграть. Вы видели? Они даже некрещеные. А так не приходит никто, я служу мессу скамейкам. Нет никакой возможности заставить кого-нибудь платить за эти клочки земли. Я еще не получил ничего за прошлый год. И это порядочные люди, цвет поселка! Вы еще увидите!

Настоятель был маленький сухой старичок в очках с железной оправой, с заостренным носом; под тенью от красной кисти, свисавшей со шляпы, за очками сверкали острые глазки, которые быстро меняли выражение яростной напряженности на внезапный иронический блеск. У тонкого рта лежала привычная горькая складка. Под грязной дырявой

незастегнутой сутаной в жирных пятнах виднелись стоптанные запыленные сапоги. Во всем его внешнем облике чувствовались усталость и неприкрытая бедность; он был похож на развалины сгоревшей лачуги, черной и заросшей сорной травой. Дона Джузеппе Трайеллу никто не любил в поселке. Местные синьоры, как я это почувствовал в первый день по разговорам, просто терпеть его не могли. Они делали ему всякие гадости, натравливали мальчишек, жаловались на него префекту и епископу.

— Берегитесь настоятеля,— сказал мне подеста,— это несчастье нашего поселка, профанация дома господня. Он всегда пьян. Пока еще не было возможности освободиться от него, но надеемся скоро его выгнать, по крайней мере в приход в Гальянелло — там его настоящее место. Здесь он на несколько лет, для исправления. Его, преподавателя семинарии, послали в Гальянелло в наказание. Он позволял себе некоторые вольности с учениками — вы меня понимаете! В Гальяно его терпят по необходимости, потому что нет другого. Но это наказание для нас.

Бедный дон Трайелла! Даже если дьявол соблазнил его в юные годы — это было уже давно и об этом успели забыть. Сейчас он почти не держится на ногах; он всего только бедный, загнанный и затравленный старик, черная больная овца в стаде волков. Но даже в его падении можно было увидеть, что в хорошие времена, когда он преподавал теологию в семинариях Мельфи и Неаполя, дон Джузеппе Трайелла да Трикарико был добрый, умный и знающий человек. Он писал жития святых, рисовал, гравировал, живо интересовался мирскими делами. Неожиданное несчастье обрушилось на него, унесло и бросило, как обломок, на эту далекую и негостеприимную отмель. Он пошел ко дну, горько наслаждаясь тем, что делает еще более глубоким свое несчастье. Он больше не брал в руки ни книгу, ни кисть. Годы проходили, и от прежних страстей осталась одна только озлобленность, превратившаяся в навязчивую идею. Трайелла ненавидел мир, потому что мир преследовал его. Он стал жить один, не разговаривая ни с кем, в обществе своей матери, девяностолетней старухи, бессильной и выжившей из ума. Его единственным утешением были (за исключением разве бутылки) латинские эпиграммы на подесту, карабинеров, властей и крестьян, которые он готов был писать целыми днями.

— Это край ослов, а не людей,— говорил он мне, при-

глашая войти вместе с ним в церковь.— Вы знаете латынь, не правда ли?

Gallianus, Gallianellus,
Asinus et asellus.
Nihil aliud in sella
Nisi Joseph Trajella*.

Церковь представляла собой всего лишь большую, выбеленную известкой, грязную, запущенную комнату, в глубине которой на деревянных подмостках стояли ничем не украшенный алтарь и маленький, прислоненный к стене амвон. Потрескавшиеся стены были покрыты старыми рваными картинами семнадцатого века, беспорядочно развешанными в несколько рядов.

— Они перенесены из старой церкви; это единственное, что удалось спасти. Посмотрите их, вы ведь художник. Правда, они мало чего стоят. Раньше здесь была часовня. Настоящая церковь Мадонны дельи Анджели была внизу, в другом конце поселка, где произошел оползень. Три года назад церковь неожиданно рухнула и упала в пропасть. К счастью, это случилось ночью, и мы еще легко отделались. Здесь все время происходят оползни. Когда идет дождь, земля поддается и скользит и дома летят в пропасть. Каждый год срывается какой-нибудь дом. Ужасно смешно выглядят стенки, подпирающие дома. Через несколько лет здесь и в помине не останется поселка, он весь будет в глубине пропасти. Перед тем как рухнула церковь, три дня шел дождь. Каждую зиму одно и то же. В этом поселке да и в других местах провинции каждый год происходят катастрофы, иногда крупные, иногда небольшие. Нет ни деревьев, ни скал, и глина размывается и скользит вниз потоком, унося с собой все, что на ней стоит. Вам тоже предстоит увидеть это зимой. Но я бы не пожелал вам быть здесь в это время. Люди хуже земли. *Profanum vulgus* **. — Глаза настоятеля сверкали за стеклами очков.— Мы должны были удовлетвориться этой старой часовней. Колоколни нет,

* Галлианец, Галлианенок,
Осел и осленок.

Кто сидит на кресле смело —
Только сам синьор Трайелла (лат.).

** Невежественный народ, чернь (лат.).

колокол висит прямо так, привязанный к подпорке. И крыша протекает, не мешало бы ее перекрыть да укрепить. Видите, какие трещины в стенах? Но кто мне даст денег? Церковь бедна, а поселок нищенский; и потом — они не христиане, у них нет религии. Они не приносят мне даже полагающихся по обычаю подарков, где уж тут говорить о колокольне. А подеста, дон Луиджи и другие сговорились не допускать никаких улучшений. Они занимаются аптекарскими делами. Вы еще увидите, увидите их общественную деятельность.

Моему псу Барону надоело ждать меня, и он, не сознавая святости этого места, появился в дверях с веселым лаем; несмотря на все мои старания, мне не удалось выгнать его или заставить замолчать. Тогда я попрощался с доном Трайеллой и вышел. Я направился по той же улице, слева от церкви, по которой накануне подъехал к поселку. Это было то самое место, которое мне показалось вчера, когда я быстро проезжал в автомобиле, приветливым и даже красивым благодаря деревьям, зелени. Но теперь, под палящим утренним солнцем зеленое стало тускло-серым, как стены и земля. Поселок оказался кучкой домов, выстроенных в беспорядке по обеим сторонам улицы и окруженных жалкими огородиками и несколькими чахлыми оливковыми деревьями. Почти все дома состояли из одной-единственной комнаты без окон, освещавшейся через дверь. Двери были заперты, так как крестьяне ушли в поле; кое-где на пороге сидели женщины с детьми на коленях или старухи, пряхшие шерсть; они приветствовали меня кивком головы и затем провожали взглядом больших, широко открытых глаз. Время от времени попадались двухэтажные дома с балконом; двери их, выходящие на улицу, были не из старого, истлевшего почерневшего дерева, а красивые, полированные, с медными ручками. Это были дома «американцев». Среди крестьянских лачуг выделялся длинный и узкий дом в один этаж, построенный недавно в так называемом модном стиле городских предместий: это была казарма карабинеров. На улице и вокруг домов на кучах мусора и отбросов отчаянно хрюкали свиньи, окруженные выводками поросят, похожих на жадных и сладострастных старичков; и Барон, пятясь, ворчал, скалил зубы, а шерсть на нем поднималась дыбом от страшного отвращения.

За последним домом поселка, там, за леском, где улица начинает спускаться к Сауро, есть небольшое неровное пространство земли, покрытой местами желтой высохшей травой.

Это спортивная площадка, устроенная подестой Магалоне. Здесь должны были упражняться юноши из ДЖИЛ* и происходить народные собрания. Слева тропинка поднималась еще выше, к находившемуся недалеко колодцу, окруженному оливами, и заканчивалась железной решеткой, укрепленной между двумя четырехугольными столбами, от которых шли низкие кирпичные стены. Решетка всегда была открыта. За стеной торчали два чахлых кипариса; сквозь решетку виднелись могилы, белые от солнца. Кладбище было крайней точкой, границей дозволенной мне территории в Верхнем Гальяно. Отсюда, сверху, взгляду раскрывались широкие горизонты, и пейзаж не казался таким унылым. Отсюда не видно было всего Гальяно, похожего на длинную змею, прячущуюся между камнями; и лишь красно-желтые крыши домов на возвышенностях виднелись на фоне серой зелени олив, покачиваемых ветром, единственно живых среди общей неподвижности; и за этим первым планом, кое-где оживляемом красками,— огромные унылые пространства глины, которые как будто колебались в жарком воздухе, точно подвешенные к небу; и над их монотонной белизной проходили изменчивые тени летних облаков. Ящерицы неподвижно лежали на освещенной солнцем стене; изредка перекликались цикады, точно пробуя голос, и затем внезапно замолкали.

Дальше заходить мне было запрещено, и я повернул и быстро спустился в поселок той же дорогой; снова прошел мимо церкви, мимо дома вдовы и дальше по склону к почтовой конторе и к ограде Обрыва стрелка. Подеста, он же школьный учитель, выполнял в этот момент свои обязанности преподавателя. Он сидел на балконе своего класса, курил, посматривая на людей на площади и фамильярно переговариваясь с ними. В руках у него были длинные палки; с их помощью он, не двигаясь с места, восстанавливал время от времени порядок в классе через открытое окно, ударяя точным и метким ударом по голове или рукам мальчиков, которые, оставшись одни, начинали слишком шуметь.

— Добрый день, доктор! — крикнул он мне со своего возвышения, когда увидел меня на площади. Там, наверху, вооруженный палками, он чувствовал себя хозяином

* Cioventu Italiana del Littorio — фашистская молодежная организация.— *Прим. перев.*

поселка, хозяином снисходительным, всеми чтимым и справедливым; и ничто не могло ускользнуть от его взора.— Я еще не видел вас сегодня утром. Где вы были? Гуляли? Наверху, у кладбища? Bravo, bravo, гуляйте, гуляйте! Развлекайтесь! И приходите сюда на площадь после чая в половине шестого. Перед этим вы поспите, я думаю. Я хочу познакомить вас с моей сестрой. Куда вы идете? В Нижний Гальяно? Искать квартиру? Моя сестра найдет вам, не беспокойтесь. Для такого человека, как вы, не годится крестьянский дом. Мы найдем получше, доктор! Добрый путь!

За площадью улица поднималась по крутому склону и затем спускалась к другой крохотной площади, окруженной низкими домами. Посреди площади возвышался странный монумент высотой с обычный дом, но в этом тесном месте казавшийся торжественным и огромным. Это была уборная — самая современная, великолепная, монументальная уборная, какую только можно себе представить: железобетонная, с четырьмя отделениями, с крепкой выступающей крышей, — такая, какие строились только в последние годы в больших городах. На стене красовалось, как эпитафия, хорошо знакомое всем крестьянам: «Торговый дом Ренци-Турин». Какие странные обстоятельства, какой волшебник или волшебница могли перенести по воздуху из далеких северных краев этот удивительный предмет и бросить его, как метеорит, посредине площади в поселке, где нет воды и никаких гигиенических сооружений на сто километров вокруг? Это было творением существующего режима, подесты Магалоне. Уборная должна была стоять, судя по ее размерам, доходов коммуны* Гальяно за несколько лет. Я вошел внутрь: по одну сторону свинья пила стоячую воду в глубине унитаза, по другую — два мальчика пускали бумажные кораблики. В течение всего года я ни разу не видел, чтобы уборной пользовались для другой надобности, не видел, других посетителей, кроме свиней, собак, кур и детей; только разве в вечер сентябрьского праздника Мадонны несколько крестьян забирались на крышу, чтобы с высоты лучше насладиться зрелищем фейерверка. Единственный человек, который часто пользовался ею для той цели, для которой она была предназначена, был я; но и я,

* Коммуна — мелкая административная единица Италии.— *Прим. перев.*

должен признаться, пользовался ею не по необходимости, а от скуки.

В углу площади, куда почти доходила длинная тень сооружения, хромой человек, одетый в черное, с сухим, серьезным лицом жреца, тонким, как мордочка куницы, надувал точно мехами убитую козу. Я остановился, чтобы посмотреть. Коза была убита незадолго до этого тут же на площади и растянута на деревянном столике на двух козлах. Хромой сделал один надрез на задней ноге, недалеко от копыта, и, приложив рот к отверстию, что было силы надувал козу, отделяя шкуру от мяса. Я смотрел на человека, присосавшегося к животному, которое постепенно раздувалось, росло, в то время как человек, не меняя позы, на глазах становился все тоньше, освобождаясь от воздуха, и мне казалось, что я присутствовал при странной метаморфозе, когда человек мало-помалу переливался в животное. Но вот коза была надута как монгольфьер; он, зажав одной рукой копыто, вытер рот рукавом, потом быстро начал выворачивать шкуру козы, как стягивают перчатку; вскоре шкура вся целиком была снята и коза, голая, обнаженная, словно святой, осталась лежать на столике, смотря в небо.

— Так она не портится, и можно делать из нее меха для масла,— с важностью объяснил мне хромой, в то время как тихий и молчаливый мальчик, его племянник, помогал ему разделять тушу животного на четыре части.— В этом году работы хватает. Крестьяне убивают всех коз. Ничего не поделаешь. Кто может платить налог?

Действительно, кажется, будто правительство недавно открыло, что коза вредное для земледелия животное, потому что поедает всходы и молодые ветки растений; и поэтому был издан указ, одинаково действительный для всех без исключения коммун королевства, налагающий огромный, почти равный стоимости животного, налог на коз. Так, убивая коз, спасали деревья. Но в Гальяно нет деревьев, а коза — единственное богатство крестьянина, потому что ее не нужно кормить, она прыгает по пустынным глинистым обрывам, жует колючий кустарник и ютится там, где из-за отсутствия пастбищ не могут прожить ни овцы, ни телята. Налог на коз был несчастьем; и поскольку не было денег, чтобы платить его, это было безысходное несчастье. Надо было убивать коз, а самим оставаться без молока и сыра.

Хромой был разорившимся землевладельцем и все же гордился своим социальным положением. Однако, чтобы прожить, он должен был заниматься многими ремеслами: помимо других дел, он занимался убоим коз. Благодаря мудрому указу министерства он мог в этом году часто видеть у себя на столе мясо.

— В предыдущие годы,— сказал он,— мне очень редко случалось пробовать мясо.

Он служил управляющим в имениях землевладельцев, которые жили вне поселка, присматривал за крестьянами, был агентом по продаже, принимал участие в устройстве свадеб, знал все и всех; не было такого случая, или такого события, чтобы он не появился тут как тут на своей хромой ноге,— бесшумно, во всем черном, со своим лисьим лицом. Он был ужасно любопытен, но не болтлив; он обрывал фразы на середине, давая понять, что ему известно гораздо больше того, что он говорил; и при этом он держал себя торжественно, с достоинством и страшно серьезно, как бы опровергая свою фамилию — Карновале.

Узнав, что я ищу помещение, достаточно большое и светлое, чтобы иметь возможность рисовать, он подумал немного с сосредоточенным видом и сказал мне, что имеется дворец его двоюродных братьев, которых я, возможно, знаю, потому что это знаменитые врачи в Неаполе. Может быть, я смогу получить часть его, две-три комнаты, он тотчас же напишет в город; вот была бы для меня удача — это единственный дом, который мог бы подойти мне. Дом пустой, но кровать и другую необходимую мебель он сможет дать мне на время. Если я хочу посмотреть дворец, то он тотчас же пошлет со мной племянника с ключами. Я пошел с мальчиком, одетым тоже во все черное, таким же печальным и сдержанным, как дядя. За площадью улица спускалась еще ниже, пока не доходила до того места, где две пропасти, справа и слева, уже не оставляли пространства для домов; здесь улица переходила в узкий хребет, зажатый с двух сторон низкими стенками, за которыми взор терялся в пустоте. Эта дорога расстоянием метров в сто соединяла Верхний и Нижний Гальяно; и здесь, между двумя пропастями, ветер дул постоянно и неистово. На середине дороги, в том месте, где хребет немного расширялся, бил родник (другой родник я видел наверху, около церкви). Вокруг родника, который давал воду всему Нижнему Гальяно и доброй половине Верхнего Гальяно, сейчас толпились жен-

щины, как, впрочем, и в любое время дня, в чем мне пришлось убедиться впоследствии. Они собирались группами вокруг родника: кто стоял, кто сидел на земле, молодые и старые, все с маленькими деревянными бочонками на голове и с кувшинами из феррандинской глины. Одна за другой приближались они к роднику и терпеливо ждали, пока тонкая струйка воды, булькая, наполнит сосуд; ждать приходилось долго. Ветер развеивал белые вуали на прямых, напряженных спинах людей, привыкших носить на голове большие тяжести. Они неподвижно стояли на солнце, как стадо скота на пастбище, и от них шел запах скота. До меня долетал смутный непрерывный гул голосов, прекращающийся шопот. Когда я проходил, ни одна женщина не шевельнулась, но я почувствовал, как десятки черных глаз впились мне в спину и неотступно и настойчиво следовали за мной до тех пор, пока я не прошел все это пространство и не начал подниматься по направлению к Нижнему Гальяно, который тянется до пропасти, куда рухнула церковь. Вскоре мы подошли к дворцу; действительно, это было единственное в поселке здание, которое заслуживало такого названия. Снаружи он имел мрачный вид — черноватые стены, маленькие окна с железными решетками, следы векового запустения. Это было старое жилище дворянской семьи, уехавшей отсюда много лет назад. Потом оно было приспособлено для казармы карабинеров, которые затем переехали в более удобное помещение. От пребывания здесь военных остались грязь и ободранные стены, сохранились карцеры, на которые был разделен один из залов, — темные, с волчьими пастями у окошек и большими цепями на дверях. Но двери, разбухшие от сырости и мороза, не закрывались; стекла в окнах были разбиты, и толстый слой пыли, принесенной ветром, покрывал все. С потолка, расписанного и вызолоченного, свисали обрывки картин и паутина; полы из белого и черного мрамора, выложенные рисунком, потрескались, и несколько серых травинок выросло из щелей. Когда мы входили в комнаты, нас встречал быстро затихающий шум, словно животные испуганно убегали в свои норы. Я открыл стеклянную дверь и вышел на балкон с железной решеткой восемнадцатого века; попав туда из мрачного помещения, я почувствовал, что у меня потемнело в глазах от неожиданной ослепляющей белизны. Подо мной была пропасть; передо мной, без единой помехи для глаза, без единого намека на живое человеческое существо бесконечно

расстилалась глинистая пустыня, колеблющаяся на солнце; она тянулась далеко, насколько хватал глаз, до тех отдаленных границ, где она словно растворялась в белизне неба. Ни одна тень не пробегала по этому неподвижному морю земли, пожираемой отвесными лучами солнца. Был полдень, время, когда я должен был возвращаться.

Как я смогу жить в этой дворянской руине? И однако же было в этом уголке какое-то грустное очарование; я мог бы бродить по разбитому мрамору гостиных; да и вообще я предпочитал для ночного сожительства летучих мышей сборщикам налогов и клопам вдовы. Быть может, думал я, мне удастся вставить стекла, заказать в Турине комариную сетку, чтобы спастись от малярии, вернуть жизнь мрачным, разрушающимся стенам дворца. Я сказал хромому, который ждал меня на площади со своей разделанной козьею тушей, чтобы он написал в Неаполь, и стал подниматься к дому.

Подойдя к ограде Обрыва стрелка, я увидел на площади белокурого высокого крепкого юношу в городской рубашке с короткими рукавами, который вышел из хижины с тарелкой дымящихся макарон, перешел площадь, поставил тарелку на стену и, призывно свистнув, тотчас же вернулся туда, откуда пришел. Я остановился на расстоянии, с любопытством наблюдая, что будет с этой едой. Тотчас же из дома напротив вышел высокий темноволосый очень красивый юноша с бледным, печальным лицом, одетый в серый, элегантно сшитый костюм. Он подошел к стене, взял тарелку с макаронами и вернулся обратно. Дойдя до порога, бросил подозрительный взгляд на окна и на пустую площадь, обернулся ко мне, улыбнулся, послал дружеский привет рукой и тотчас же, наклонившись, чтобы войти в низкую дверку, исчез в доме. Дон Козимино, маленький горбатый почтарь, запирает в это время свою контору и из своего потайного угла все видел, как и я. Заметив мое изумление, он кивнул мне в знак понимания; и я прочел сочувствие в его грустных и пронизательных глазах.

— Эта сцена, — сказал он мне, — разыгрывается каждый день в этот час. Это ссыльные, как и вы. Блондин — коммунист, каменщик из Анконы, замечательный парень. Другой — студент факультета социальных наук из Пизы. Он тоже коммунист, был офицером милиции. Он из очень скромной семьи, но ему не дают пособия, потому что его мать и сестра — учительницы и считается, что у них есть средства содержать его. Раньше ссыльные могли бы

вать вместе, но несколько месяцев назад дон Луиджи Магалоне дал приказ, чтобы они не смели даже видеться. Эти двое из экономии питались вместе, теперь же готовят пищу по очереди — сегодня один, завтра другой, и тот, кто приносит тарелку на стену, успевает вернуться домой прежде, чем другой выйдет, чтобы взять ее. А если они вдруг встретятся, бог знает, как это будет опасно для государства!

Мы вместе поднимались наверх — дон Козимино жил с женой и детьми недалеко от дома вдовы.

— Дон Луиджи очень усердно следит за такими вещами. Он стоит за дисциплину. Они обдумывают все вместе — он и бригадир. С вами, надеюсь, будут обращаться иначе. Но, во всяком случае, не огорчайтесь, доктор! — Дон Козимино с участием смотрел на меня снизу вверх.

— У них мания разыгрывать полицейских, и они хотят все знать. У каменщика были неприятности. Он беседовал с крестьянами и пытался разъяснить им теорию Дарвина о том, что человек происходит от обезьяны. Я не дарвинист, — и дон Козимино иронически улыбнулся, — но я не вижу ничего плохого, если кто-нибудь этому верит. Дон Луиджи, конечно, узнал об этом. Он устроил страшную сцену. Если бы вы слышали, как он шумел! Он кричал каменщику, что теория Дарвина направлена против католической религии, а что католицизм и фашизм — это одно и то же, и что поэтому говорить о Дарвине значит выступать против фашизма. И он даже написал в квестуру Матеры, что каменщик ведет подрывную пропаганду. Но крестьяне любят этого парня. Он хороший и все умеет делать.

Мы подошли к дому дон Козимино.

— Старайтесь сохранять хорошее настроение, — сказал он мне. — Вы только что приехали, и вам придется привыкать ко всему этому. Но все это когда-нибудь кончится.

И почти испугавшись, что сказал слишком много, добрый горбун кивнул мне и быстро ушел.

День клонился к вечеру. Подеста был уже на площади и ожидал меня, чтобы отвести к своей сестре. Донна Катерина Магалоне Кушанна сама приготовила кофе и домашнее печенье. Она очень сердечно встретила меня у входа, отвела в гостиную, обставленную скромной мебелью, полную дешевых безделушек, подушечек с вышитыми куколками и пьеро, спросила о семье, посочувствовала моему одиночеству и уверила меня, что сделает все возможное, чтобы хоть немного облегчить мое пребывание здесь,— словом была сама любезность. Донна Катерина была маленькая пухленькая женщина лет тридцати. Она была похожа на брата, но выражение ее лица казалось более волевым и страстным. У нее были очень черные глаза и волосы; жирная желтоватая кожа и испорченные зубы придавали ей болезненный вид. На ней было домашнее платье, небрежно застегнутое из-за жары и домашних хлопот. Она говорила высоким, пронзительным, всегда напряженным и восторженным голосом.

— Вы увидите, доктор, вам будет здесь хорошо. Насчет квартиры я позабочусь немедленно. Сейчас ничего нет, но скоро освободится. Вам нужно хорошее помещение и еще комнату для приема больных. Я найду вам и служанку. Попробуйте эти лепешки, вы, наверно, привыкли к более изысканным вещам? Ваша мама, вероятно, делает их лучше? Эти сделаны на здешний вкус. Но как же это получилось, что вас выслали? Конечно, это была ошибка. Муссолини не может быть осведомлен обо всем. И бывает ведь так, что человек думает, будто делает хорошо, а делает что-нибудь несправедливое. И потом, могут быть враги в городе. В этих местах есть даже высланные фашисты. Вот Арпинати, секретарь фашистской организации Болоньи, он выслан в деревню неподалеку отсюда, но ему разрешено ездить куда угодно. Теперь у нас будет война. Мой муж пошел добро-

вольцем. Понимаете, находясь на таком посту, он должен был подать пример. Идеи не имеют значения, но родина... Ведь и вы за Италию, не правда ли? Конечно, вас выслали сюда по ошибке. Но для нас большая удача, что вы приехали.

Дон Луиджи с видом человека, который не хочет себя скомпрометировать, молчал, а через некоторое время ушел, сославшись на то, что у него есть дела. Когда мы остались одни, донна Катерина, наливая мне кофе в японскую чашечку и угощая домашним мармеладом из айвы, продолжала тем же восторженным голосом хвалить меня и обещать свою помощь во всем, что может мне понадобиться. Была ли это искренняя сердечность, или женская, материнская склонность к покровительству, или желание показать человеку с Севера свой авторитет в поселке и свои таланты домашней хозяйки? Здесь было все: и сердечность, и стремление к покровительству, и хвастовство политическим авторитетом и умением готовить. Донна Катерина действительно отлично готовила мармелад, маринады, торты и тушеные оливки, сухие фиги с миндалем и сосиски с испанским перцем. Но здесь было — и это сразу чувствовалось — и другое, что-то более интимное, личное, где определенную роль играло мое неожиданное появление, — какое-то сильное чувство, которое разжег мой приезд, как неожиданный ветер разжигает гаснущий костер.

— Большая удача, что вы будете здесь с нами. Вы должны жить здесь три года? Я понимаю, что вы бы хотели уехать раньше, и я вам желаю этого, но для нас лучше, чтобы вы остались. Здесь хороший край, все добрые итальянцы и фашисты и потом Луиджино, подеста; мой муж был секретарем фашистской организации, а теперь я исполняю его обязанности, здесь не так много дела. Вы будете жить, как в семейном кругу. Наконец у нас будет врач, нам никуда не надо будет ездить всякий раз, как заболеем. Кстати, я познакомлю вас с моим свекром, который живет со мной. Дядя Джузеппе, доктор Милилло, стар и должен уйти на покой. Здесь есть другой врач, он отравляет весь поселок снадобьями, которые готовят его племянницы, но теперь он не будет больше отравлять никого, ни он, ни эти твари, ни он, ни эти распутницы!

Голос донны Катерины поднялся до высшей точки напряжения и отчаяния: ее тайной страстью, которую она не в силах была скрыть, была, без всякого сомнения, нена-

висть, ненависть сосредоточенная, неотступная, как навязчивая идея, и так как другие чувства молчали в душе этой женщины, то ненависть ее стала деятельной, изобретательной. Донна Катерина ненавидела «распутниц» из аптеки, ненавидела их дядю, доктора Кончетто Джибилиско, ненавидела всех этих родственников и свойственников из Сан-Джованни, которые помогали ему, ненавидела тех, кто покровительствовал ему в Матере. Я был послан провидением, и не имело значения, какие политические обстоятельства обусловили мой приезд; важно было, что я мог явиться оружием ее ненависти. Я должен был выкинуть Джибилиско на улицу, заставить закрыть аптеку или отнять ее у его племянниц. Донна Катерина была женщина деятельная и пылкая. Она была истинной хозяйкой поселка. Гораздо более умная и волевая, чем брат, она умела делать с ним все, что хотела, оставляя за ним видимость власти. Что такое фашистская партия и фашизм, ее не интересовало, и она этого не знала. Для нее быть секретарем фашистской организации означало иметь возможность распоряжаться. Как только она узнала о моем приезде, она тотчас же выработала план действий, внушила его брату и добилась, хотя с гораздо большим трудом, что и старший дядя примирился с ним. Она предполагала, что я стремлюсь к врачебной практике, и хотела извлечь из этого возможно больше пользы: надо поддержать меня в этом стремлении и заверить, что благодаря их авторитету у меня не будет неприятностей; дать мне понять, что только от них зависит успех моего намерения. Нужно было тотчас же оказать мне всяческое внимание и в то же время показать свою силу, дабы предотвратить возможность, чтобы я, пусть непреднамеренно, попал в какой-то степени под влияние их врагов. Дон Луиджино, привыкший строго держаться с высланными, трепетал при одной мысли, что скомпрометирует себя, если будет хорошо обходиться со мной, и не пожелал пригласить меня к себе — его враги могли бы донести на него; значит, ей надо было действовать самой и попытаться привлечь меня на свою сторону. Ее ненависть была одним из видов традиционной ненависти, которая обычно разъедает две группы господствующих в поселке семей. И, быть может, здесь, как в Грассано, начало ненависти нужно было искать в более отдаленной эпохе. Можно предположить, что Джибилиско, семейство врачей, принадлежало столетие тому назад к либералам, а Магалоне, более низкого происхождения и недавно поднявшиеся, поддержи-

вали бурбонистов и разбойников, но я не смог установить этого. Ясно только, что, кроме обычной вражды, что-то другое, интимное будоражило сердце донны Катерины, и я незамедлительно все узнал из ее собственных не слишком сдержанных намеков и из болтовни женщин в поселке. Муж донны Катерины, толстый человек, с лицом спесивым и тупым, какое бывает у военных (фотография его в мундире капитана занимала почетное место в гостиной), учитель школы Никола Кушанна, секретарь фашистской организации Гальяно и правая рука своего шурина и своей жены во владычестве над поселком, был очарован красивыми черными глазами, высокой гибкой фигурой, белой кожей прелестной дочери аптекаря, хотя та и принадлежала к враждебному семейству. Были ли они любовниками или все это сочинили злые языки, я не мог узнать, но донна Катерина была в этом уверена. Донна Катерина была уже не молода, и двадцать лет и красота соперницы заставляли ее трепетать. Предполагаемые любовники не могли устраивать свидания в таком маленьком поселке, где на них были устремлены тысячи внимательных глаз, где зоркие, всегда широко открытые глаза донны Катерины ни на минуту не выпускали их из виду. Был только один способ удовлетворить эту непреодолимую страсть, как представляла себе ослепленная ревностью обманутая жена: донна Катерина должна исчезнуть, тогда они смогут обвенчаться. Темноволосая соблазнительница и ее белокурая невзрачная сестра были бесконтрольными невежественными хозяйками отцовской аптеки, незаконно отданной на их попечение; весь поселок негодовал и боялся последствий их беззастенчивой небрежности при взвешивании лекарств. Способ избавиться от донны Катерины был у них в руках — яд. И яд мог быть дан без опасения, что его обнаружат: из двух врачей поселка один был дядя отравительниц и, конечно, соучастник; другой, старый, выживший из ума, был неспособен в чем-либо разобраться. Донна Катерина может оказаться умерщвленной, а безнаказанные и счастливые любовники станут смеяться над ее могилой.

Какая доля истины скрывалась под этой бредовой картиной? Какие тайные улики, какие перехваченные любовные записки, какие завуалированные признаки в их интимной жизни могли поселить в эту ревнивую и неистовую душу сначала подозрение, а затем нечто вроде прочной уверенности? Я не знаю этого. Но донна Катерина верила в измыш-

ление своей фантазии; и ответственность за предполагаемое преступление она возлагала не столько на мужа, который был околдован, сколько на соперницу и на всех тех, которые в какой-то мере имели к ней отношение. Традиционная ненависть, борьба отдельных людей за власть над поселком, питаемые этими новыми домыслами, стали еще более дикими и свирепыми. Отравительница и ее близкие должны были дорого заплатить за свое преступление.

Что касается мужа, то донна Катерина умела обращаться с ним. Нельзя устраивать скандалы, никто не должен подозревать ни о чем. Дома же донна Катерина ежедневно бранила его, обвиняя его во всевозможных преступлениях — в измене, в покушении на убийство, и запретила появляться на супружеском ложе. Авторитетный, внушающий страх секретарь фашистской организации Гальяно терял, входя в свой дом, всякую спесивость; перед черными, мечущими искры глазами жены он был последним из преступников, для которого не может быть прощения; и он должен был примириться и спать один на кушетке в гостиной. Такая печальная жизнь продолжалась шесть месяцев, пока не появилась единственная возможность спасения и искупления: война в Африке. Униженный преступник записался добровольцем, надеясь таким образом искупить свою вину, примириться после возвращения с женой, а пока получать оклад капитана, намного превышающий жалованье школьного учителя; и он уехал. Однако его примеру никто не последовал. Капитан Кушанна и лейтенант Декунто из Грассано, о котором я говорил, были единственными добровольцами в этих двух местечках. Выходит, и война, хоть и немногим, но может иногда пригодиться. Таким образом, капитан Кушанна становился героем, донна Катерина — женой героя, а никто из враждебного лагеря не мог похвастаться в Матере подобными заслугами. И в довершение всего приехал я, очевидно, присланный самим богом, чтобы помочь донне Катерине осуществить свою месть.

— И Луиджино хотел пойти добровольцем вместе с мужем. Они любят друг друга, как братья. Они всегда вместе, готовы на все один для другого. Но у Луиджино плохое здоровье, он постоянно болеет. Счастье, что я с ним. И потом, кто бы остался в поселке, чтобы поддерживать хоть какой-то порядок и вести пропаганду? — говорила мне донна Катерина, в то время как привлеченный запахом лепешек дон Паскуале Кушанна, ее свекор, закутанный в долгополый

сюртук, с вышитой шапочкой на голове, с трубкой в беззубом рту, вошел в комнату крохотными шажками, своей медленной, заплетающейся походкой. Это был толстый, грузный, глухой, прожорливый и невероятно скупой старик, похожий на шелковичного червя. Он был, как и его сын и как дон Луиджи Магалоне, учителем начальной школы, но вышел уже несколько лет назад на пенсию. Гальяно, как, впрочем, вся Италия, был в то время в руках школьных учителей*. Все выражали ему свое почтение, и он весь день не выходил из дому, ел и спал, или сидел на стене на площади и курил. Он, тотчас же сообщила мне невестка, страдал затрудненным мочеиспусканием и, возможно, в легкой форме диабетом. Но это не помешало ему, как только он вошел, наброситься с необычайной жадностью на оставшиеся лепешки. Затем он растянулся с довольным хрюканьем в шезлонге, что-то пролепетал, делая вид, что принимает участие в разговоре, хотя из-за глухоты ничего не мог слышать, и тотчас заснул, бормоча что-то и посапывая.

Я уже собирался уходить, когда в комнату ворвались, взвизгивая, подпрыгивая, жестикулируя, изумляясь, вскрикивая, вздымая руки к небу, целуя донну Катерину, две девушки лет по двадцати пяти, возраст, который в этой местности считается уже слишком зрелым для незамужней девицы. Они были небольшого роста, пухлые, шумливые, черные, как угольные мешки, с черными короткими развевающимися кудрями, с черными, мечущими искры глазами, с черными усиками над большими мясистыми губами, с черными волосатыми ногами и руками, находящимися в непрерывном движении. Это были дочери доктора Милилло, Маргерита и Мария. Донна Катерина послала за ними, чтобы познакомить их со мной; обе девушки для этого случая накрасили губы толстым слоем яркокрасной помады, напудрили лица белоснежной пудрой, надели туфли на каблуках и прибежали. Это были очень добрые девушки без единой мысли в голове, поразительной наивности и невежества. Все их изумляло, от всего они приходили в восторг — от моей собаки, от моей одежды, от моих рисунков, — выражая это в пронзительном визге, стрекотанье, прыгая, как две

* Придя к власти, фашисты уволили всех учителей, не пожелавших вступить в фашистскую партию, и назначили на их место проверенных приверженцев своего режима, причем нередко школьными учителями были «по совместительству» различные административные лица. — *Прим. перев.*

черные лошадки. Они стали сразу же говорить о лепешках, о тортах, о кухне. Донна Катерина не уставала хвалить их: они великолепные хозяйки. Вероятно, Маргерита и Мария тоже входили в страстные расчеты донны Катерины. Они были в ее воображении одновременно средством убедить дядю доброжелательно относиться ко мне и, с другой стороны, привлечь, а может быть, и привязать меня к ее партии; кого, действительно, смог бы я найти в поселке лучше дочерей доктора? Донна Катерина спросила меня, не обручен ли я; потом она смогла бы очень просто проверить правильность моего ответа почтовой цензурой, которую потихоньку осуществлял дон Луиджино.

Две бедные девушки, как и я, бессознательное орудие высшего провидения, пришли в сопровождении плохо одетого парня лет восемнадцати, который молча, отупело сидел в углу комнаты; у парня было желтое искривленное лицо, бессмысленный взгляд, толстая отвислая нижняя губа. Это был их брат, единственный мужчина дома Милилло. Старый доктор, который тем временем пришел, сообщил мне, что мальчик очень хороший, но беспокоит его, так как после перенесенного энцефалита несколько отстал, а он не может заставить его учиться. Он посылал его в гимназию и во многие другие школы, но безуспешно. Пытался заставить его изучать сельское хозяйство — и тоже неудачно. Мальчик хотел теперь поступить на унтер-офицерские курсы карабинеров и вскоре должен уехать. Он думает только о мундире. Конечно, это совсем не то будущее, о котором мечтал для него отец, но, в конце концов, это тоже неплохо. Я не мог отрицать этого: из несчастного идиота выйдет безвредный бригадир.

Донна Катерина, по желанию дяди, перевела разговор на меня, на мою профессию медика. Напрасно я старался убедить ее, что я хотел бы быть только художником, — она меня не слушала. И доктор своим заплетающимся, как обычно, языком посоветовал мне, чтобы я, во всяком случае, если буду посещать больных, не увлекался дурно понимаемой здесь щедростью и добросердечием, потому что все только и думают, как бы не заплатить, хотя государственная такса обязательна и ее надо соблюдать из профессиональной солидарности, из-за приличий, которыми нельзя пренебрегать, и тому подобное. Старый врач только пассивно принадлежал к партии своих племянников и только как родственник разделял их страсти. Он был «слишком добр», как говорили

донна Катерина и дон Луиджино. Старый ниттианец, он даже иногда в частной беседе осуждал фашистские взгляды подесты и порицал в нем бахвальство, стремление властвовать, методы полицейского, но, в конце концов, примирялся с ними из любви к спокойствию, а также потому, что извлекал из этого выгоду. Он бы согласился под давлением племянников, а, может быть, и из-за интересов дочерей не ставить мне палок в колеса; но он боялся, что на него будут смотреть как на старика, с которым не считаются и которым можно вертеть как угодно. Он держался с достоинством и был щепетилен. Поэтому мне пришлось покорно выслушивать его длиннейшие запутанные объяснения и кучу отеческих своекорыстных советов. Я должен заставить крестьян платить, придерживаясь таксы, не верить их болтовне, потому что все они лжецы и невежды и чем больше делаешь им благодеяний, тем они неблагодарнее. Они не умеют ценить благодеяний. Он прожил в поселке более сорока лет, лечил их всех, благодетельствовал им всеми способами, а они платили ему тем, что называли его ни на что не годным и выжившим из ума. Но он вовсе не выжил из ума. Ему больно видеть неблагодарность крестьян. И их суеверия. И их упрямство. И так далее и тому подобное.

Когда я наконец смог освободиться от старческого лепета доктора, от восторженных воплей его дочерей, от хрюканья дона Паскуале, от многозначительных улыбок донны Катерины, были уже сумерки. Крестьяне поднимались по улицам со своим скотом и шли к домам, как каждый вечер, с монотонностью морского прилива, в свой особый темный, таинственный мир, мир без надежды. Других, господ, я теперь слишком хорошо знал и с отвращением чувствовал липкое прикосновение бессмысленной паутины их повседневной жизни, пыльный, лишенный таинственности узел интересов, презренных страстишек, скуки, жадного бессилия и нищеты. Сегодня, как завтра, как всегда, проходя по единственной улице поселка, я должен был снова увидеть их на площади, без конца слушать их озлобленные жалобы. Что мне делать здесь?

Небо было розово-лилово-зеленое, очаровательного цвета малярийных земель, и оно казалось бесконечно далеким.

Я оставался в доме вдовы дней двадцать в ожидании, что найду другое помещение. Лето блистало губительным зноем; солнце, казалось, остановилось посреди неба, глина потрескалась от сухости. В трещинах изнывающей земли гнездились змеи, толстые маленькие местные гадюки, которых крестьяне называют коротышками. Яд их смертелен.

«Коротышка, не бросайся, где лежишь, там оставайся».

Непрерывный ветер, казалось, высушил и тела людей; стояла невыносимая жара, дни проходили в однообразном ожидании захода солнца и свежести вечера. Я сидел в кухне и следил за полетом мух, единственным признаком жизни в неподвижном безмолвии летнего зноя. Деревянные ставни, окрашенные в зеленовато-голубой цвет, были усижены мухами; тысячи черных точек, замерших в солнечных лучах, еле слышно шуршали и притягивали лениво замороженный взгляд. Вдруг одна из черных точек исчезала с легким шелестом внезапного и невидимого полета, и на ее месте показывалась как бы маленькая звезда, сверкающе-белая точка с золотыми краями, которая постепенно угасала. И другая муха поднималась в воздух, и другая звезда появлялась на лазури ставни; и так все время, пока Барон, дремавший у моих ног, не начинал ворчать, увидев какой-то странный наивный сон; потом он вскакивал, внезапно разбуженный, и, хватая на лету насекомое, нарушал тишину свирепым щелканьем зубов.

С решетки балкона свисали и лениво качались на ветру связки фиг, черные от мух, старавшихся выпить из них последнюю влагу, пока пламя солнца не высосало ее окончательно. Перед дверью на улице под черными флагами подсыхала на солнце густая жидкость цвета крови, заливавшая столы с загнутыми вверх краями. Это готовились томатные консервы. Рои бесчисленных мух разгуливали посуху, как народ Моисея, на затвердевших местах; другие рои броса-

лись и вязли в жидких зонах этого красного моря и тонули в нем, как войска фараона, жадные до добычи. Великое безмолвие полей стояло над кухней, лишь непрерывное жужжание мух сопровождало часы бесконечной музыкой опустошенного времени. Но вдруг в соседней церкви начал звонить колокол в честь какого-нибудь неизвестного святого, для какого-нибудь случайного обряда, и жалобные звуки наполняли комнату. Звонарь, парень лет восемнадцати, босой и в лохмотьях, с лицемерной вороватой улыбкой, следовал, когда звонил, какой-то своей, бесконечно грустной фантазии: что бы ни случилось, всегда раздавался похоронный звон. Мой пес, чувствительный к присутствию духов, не мог выносить этого погребального гула и при первом ударе начинал выть с душераздирающей тоской, как если бы смерть прошла мимо нас. Или, быть может, в нем сидел бес, который пробуждался при этих священных звуках? Во всяком случае, я должен был вставать и, чтобы успокоить его, выходить с ним на улицу. По белой мостовой в поисках убежища прыгали блохи, большие голодные блохи; клещи висели в засаде на травинках. Поселок казался безлюдным. Крестьяне были на полях, женщины прятались в домах за полузакрытыми дверями. Единственная улица бежала вниз между домами и обрывами до самого обвала без единого тенистого оазиса. Я медленно поднимался, направляясь к чахлым оливам и кипарисам возле кладбища.

Жестокое очарование расстилалось над покинутым поселком. В полуденном молчании можно было услышать только неожиданное чавканье свиньи, рывшейся в отбросах; потом, заглушая колокольный звон, доносилось эхо ослиного рева, невыносимого в своей ужасной фаллической тоске. Пели петиухи, и в этом полуденном пении уже не было дерзкого ликования утреннего привета: в нем слышалась бесконечная печаль безлюдных полей. В небе летали черные вороны, а еще выше широко кружили коршуны; казалось, они искоса поглядывают на вас своими неподвижными круглыми глазами. Невидимое присутствие животных чувствовалось в воздухе; но вот из-за дома одним прыжком на изогнутых ногах появлялась королева здешних мест — коза и устремляла на меня свои таинственные желтые глазки. За козой бежали дети, чуть прикрытые лохмотьями; вместе с ними прибежала маленькая четырехлетняя монашенка в своей особой одежде с нагрудником и вуалью и пятилетний монашек в рясе, подвязанной веревкой, — такую одежду здесь

носят, согласно обету, подобно монахам на миниатюрах или инфантам Веласкеса *. Дети хотели проехаться верхом на козе; маленький монах хватал козу за бороду и прижимал к себе ее мордочку, а монашенка пыталась влезть ей на спину; другие дети держали козу за рога и за хвост; и вот они на одно мгновение в седле; потом коза внезапно делала прыжок, отряхивалась, сбрасывала детей в пыль, останавливалась и насмешливо смотрела на них. Они поднимались, снова ловили козу, снова забирались на нее, а коза убегала, дико подпрыгивая, и вот все они скрывались за поворотом.

Крестьяне говорят, что коза — бесовское животное; другие животные тоже бесовские, но коза особенно. Это совсем не значит, что она злая, что она имеет что-нибудь общее с христианскими дьяволами, даже если дьяволы являются в другом облике. Она демонична, как и всякое другое живое существо, и больше, чем всякое другое, потому что в ее зверином облике заключено нечто иное, некая сила. Для крестьянина она была тем же, чем был когда-то сатир, сатир настоящий и живой, худой и голодный, с загнутыми рогами на голове, с горбатым носом, с висящими сосками или половыми органами, обросший шерстью, бедный сатир, братски близкий и дикий, ищущий колючей травы на краю пропасти.

Под взглядом этих не человеческих и не божественных глаз, сопровождаемый таинственными силами, я медленно шел к кладбищу. Но оливы не дают тени: солнце проходит насквозь через легкую, как газовая вуаль, зелень. Я предпочитал пройти через разломанную решетку в маленькое убежище на кладбище: это был единственный во всем поселке уголок — замкнутый, свежий и уединенный, а может быть, и наименее грустный. Когда я садился на землю, ослепительная белизна глины исчезала, закрытая стеной; два кипариса покачивались на ветру, а между могилами росли необычные для этой земли, не знающей цветов, кусты роз. Посреди кладбища виднелась яма глубиной в несколько метров, с гладко срезанными в сухой земле стенами, готовая для следующего покойника. Лестница, вырубленная квадратами, позволяла спуститься туда и вылезти без особого труда. В эти жаркие дни я взял в привычку во время моих прогулок на кладбище спускаться в яму и ложиться там.

* Знаменитый испанский художник (1599—1660). Автор имеет ввиду портреты королевских детей в длинных парадных платьях.— *Прим. перев.*

Земля была сухая и гладкая, солнце туда не проникало и не накаляло ее. Я ничего не видел, кроме прямоугольника светлого неба да белого скользящего облачка; ни один звук не долетал до моего слуха. В таком одиночестве, на свободе, я проводил целые часы. Когда мой пес уставал бегать за ящерицами на залитой солнцем стене, он подходил к краю ямы и вопросительно смотрел на меня, потом скатывался вниз и, пристроившись у моих ног, моментально засыпал. И я, слушая его дыхание, ронял из рук книгу и закрывал глаза.

Нас будил странный голос неопределенного тембра, принадлежавший человеку неопределенного пола и возраста, проносивший непонятные слова. На краю могилы появлялся старичок и начинал говорить со мной; у него не было ни одного зуба. Он стоял на фоне неба — высокий, чуть сутулый, с длинными, худыми руками, похожими на мельничные крылья. Ему было почти девяносто лет, но его лицо было вне времени, морщинистое, бесформенное, как увядшее яблоко; между складками иссохшей кожи блестели белесоватые, голубые притягивающие глаза. У старика не росли ни усы, ни борода, и это придавало его старческой коже странный вид. Он говорил не на местном, гальянском диалекте, а на смеси языков, потому что объехал множество краев, но в его речи преобладал говор Пистиччи, где он родился много-много лет назад. Отчасти поэтому, отчасти из-за отсутствия зубов, что делало его слова невнятными, из-за манеры говорить быстро и сжато его речь казалась мне сначала непонятной; однако потом, когда мое ухо привыкло, я подолгу разговаривал с ним. Но я никогда не мог понять, действительно ли он слушает меня или следует только таинственному ходу собственных мыслей, которые возникали, казалось, из неопределенной древности звериного мира. Это непонятное существо носило грязную разодранную рубашку, открытую на груди, тоже лишенной волос; сквозь прореху виднелась выступающая, как у птиц, грудная кость. На голове он носил красноватую фуражку с козырьком, которая, быть может, напоминала об одной из его многочисленных должностей; сейчас он был одновременно и глашатаем и могильщиком. Это он проходил во всякое время по дорогам поселка, трубя в небольшую трубу и стуча в барабан, который носил на перевязи, и своим нечеловеческим голосом сообщал новости дня — о проезде торговца, об убое козы, приказы подесты, часы похорон. Это он копал могилы, отвозил мертвецов на кладбище и хоронил их.

Это было его обычным занятием, но за этим скрывалась другая жизнь, полная непостижимой таинственности. Женщины подшучивали над стариком, когда он проходил, потому что у него не было бороды и, как говорили, он за всю свою жизнь ни разу не любил.

— Придешь сегодня ночью спать со мной? — кричали ему женщины из дверей и смеялись, закрывая лицо руками. — Почему ты заставляешь меня спать одну? — Они подшучивали над ним, но уважали его и почти боялись, потому что этот старик обладал колдовской властью, он был связан с подземными силами, знал духов, укрощал животных. До того как годы и обстоятельства заставили его переселиться сюда, в Гальяно, он занимался тем, что заговаривал волков. Он мог, по желанию, заставить их спуститься в поселок или прогнать их оттуда, звери не смели противостоять ему и покорялись его воле. Рассказывали, что, когда он был молод, он бродил по деревням в этих горах, сопровождаемый стаей свирепых волков. Поэтому его боялись и уважали, а в снежные зимы его зазывали, чтобы он держал в отдалении обитателей лесов, которых холод и голод гнали к жилью. Но и все другие животные подчинялись его колдовству. И не только животные, но и силы природы и духи, обитающие в воздухе; только перед женщинами он был бессилен. Было известно, что в молодости, когда он косил поле пшеницы, он делал в один день работу пятидесяти мужчин: кто-то невидимый работал вместе с ним. В конце дня, когда все другие крестьяне были покрыты потом и пылью, когда их спины были сломлены усталостью, а голова гудела от солнечного зноя, заклинатель волков казался более свежим и бодрым, чем утром.

Я поднимался из могилы, чтобы поговорить с ним; предлагал ему тосканскую сигарету, которую он торопливо зажигал, воткнув в мундштук, сделанный из кости правой задней ноги зайца, почерневший от времени. Старик облокачивался на заступ (он постоянно рыл могилы); иногда он наклонялся, чтобы поднять с земли человеческую кость; он держал ее некоторое время в руке, продолжая разговаривать, потом отбрасывал в сторону. Вся почва была усеяна костями. Эти белые, истлевшие древние кости торчали из старых могил, разрушенных водой и солнцем. Для старика, как, впрочем, и для всех здешних жителей, кости, мертвецы, животные, дьяволы были чем-то обычным, связанным с простой каждодневной жизнью.

— Поселок построен на костях мертвецов,— говорил он мне на своем непонятном жаргоне, kloкочущем, как подземная вода, которая прорывается неожиданно среди камней, и делал своей беззубой дырой, заменявшей ему рот, какую-то гримасу, которая, быть может, означала улыбку. Если я пытался заставить его объяснить, что он хотел этим сказать, он меня не слушал, смеялся и повторял неизменно все ту же фразу, отказываясь к ней что-нибудь прибавить.

— Да, да, поселок построен на костях мертвецов.

Старик был прав во всех случаях — говорил ли он о чем-либо в переносном, символическом смысле или в буквальном. Когда через некоторое время подеста приказал вырыть недалеко от дома вдовы котлован, чтобы заложить фундамент домика — творения фашистского режима, — который должен был стать резиденцией балиллы*, на глубине двух пядей были обнаружены кости мертвецов; их были тысячи, и в течение нескольких дней через поселок ехали груженные повозки, которые перевозили останки наших древних предков, чтобы сбросить их как попало с Обрыва стрелка. Сравнительно недавно в могилах, находившихся под полом рухнувшей церкви Мадонны дельи Анджели, покоились кости умерших; они еще не так истлели, как те, на кладбище; на некоторых еще были куски мяса и высохшей кожи, и собаки вырывали их и оспаривали друг у друга, бегая по улице с берцовыми костями в зубах и бешено лая. Здесь, где время не движется, естественно, что кости похороненных совсем недавно, довольно давно и очень давно одинаково находятся под ногами прохожих. Похороненные у церкви Мадонны дельи Анджели — самые несчастные, так как их могилы разрушены. Не только собаки и птицы расхищают останки — в этой липкой пугающей пропасти, куда сползли постройки, бывают и более страшные посетители. Однажды ночью, не так давно, несколько месяцев или несколько лет тому назад (старик не мог указать точно, потому что границы времени для старого заклинателя волков были неопределенны), он возвращался из района Гальянелло; взойдя на холм против церкви, на тимбоне Мадонны дельи Анджели, почувствовал во всем теле странную усталость и должен был присесть на ступеньку часовенки. Он не мог подняться и идти дальше: кто-то мешал ему. Ночь была

* Детская фашистская организация, основанная в 1926 году.—
Прим. перев.

черная, и старик ничего не мог разобрать в темноте; но он слышал звериный голос, который звал его по имени из пропасти. Это дьявол, спрятавшись среди мертвых, загородил ему дорогу. Старик перекрестился, и демон начал скрежетать зубами и выть от боли. В темноте старик на мгновение заметил, как коза испуганно проскакала по обломкам церкви и исчезла. Дьявол, завывая, убежал в пропасть.— Ух! Ух! — кричал он, исчезая. И старик внезапно почувствовал себя свободным, отдохнувшим и, сделав несколько шагов, оказался в поселке. Впрочем, приключения такого рода случались с ним бесконечное число раз. И если я его спрашивал, он мне рассказывал о них, не придавая этому никакого значения. Его жизнь была такой длинной, что подобных встреч не могло быть мало. Он был так стар, что во времена разбойников был уже юношей. Я не мог узнать наверно и не мог заставить его высказаться определенно, не был ли он сам, что вполне вероятно, разбойником; но, конечно, он знал знаменитого Нинко Нанко и описывал мне его подругу, разбойницу Марию из Пасторы, которая, как и он, была уроженкой Пистиччи, так, как будто видел ее вчера. Эта Мария из Пасторы была очень красивая крестьянка и жила со своим любовником, странствуя по горам и лесам в мужском костюме, всегда на лошади, грабя и сражаясь. Шайка Нинко Нанко была самой жестокой и дерзкой во всем районе; Мария из Пасторы принимала участие во всех делах: в набегах на усадьбы и поселки, в засадах, в резне, в кровавой мести. Когда Нинко Нанко собственными руками вырывал сердце из груди захваченного в плен стрелка, Мария из Пасторы подавала ему нож. Старый могильщик помнил ее очень хорошо, и что-то похожее на нежность появлялось в его странном голосе, когда он описывал, какая она была высокая, красивая, белая и розовая, как цветок, с толстыми черными косами до пят, державшаяся прямо в седле. Нинко Нанко был убит, но старик не мог мне сказать, как умерла Мария из Пасторы, эта богиня крестьянской войны. Она не умерла и ее не схватили, говорил он мне; ее видели в Пистиччи, одетую во все черное; потом она исчезла в лесу верхом на лошади, и никто ничего о ней больше не слышал.



На кладбище я ходил не только от безделья, в поисках одиночества и чтобы послушать рассказы. Это было единственное место в указанных мне границах, где не было домов, и несколько деревьев разнообразили унылую геометрию лачуг. Потому-то я и выбрал кладбище сюжетом для своей первой картины. И вот, как только солнце начинало садиться, я выходил из дому с холстом и красками, ставил мольберт в тени ствола оливы или за стеной кладбища и принимался рисовать. Когда я первый раз, через несколько дней после своего приезда сюда, взялся за кисть, мое занятие показалось подозрительным бригадиру; он немедленно сообщил об этом подесте и послал на всякий случай одного из своих людей следить за мной. Карабинер стоял, вытянувшись в струнку, позади меня на расстоянии двух шагов и наблюдал за моей работой от первого до последнего мазка кисти. Неприятно рисовать, когда кто-то стоит за спиной, пусть даже без дурных намерений, как это произошло, кажется, с Сезанном*; но как я ни старался, я не мог заставить карабинера сойти со своего поста: ему была дана точная инструкция. Но постепенно напряженное внимание на его глупом лице стало сменяться все большим интересом, и наконец он спросил, не могу ли я с фотографии нарисовать маслом большой портрет его покойной матери; это казалось карабинеру пределом совершенства в живописи.

Проходили часы, солнце садилось, и все кругом окутывало очарование сумерек, когда предметы начинают светиться своим собственным внутренним, не отраженным светом. Большая, прозрачная, хрупкая, почти призрачная луна висела в розоватом воздухе над домами и серыми оливами,

* Французский художник-импрессионист (1839—1906).— *Прим. перев.*

точно изъеденная морской солью кость сепии* на берегу моря. В то время я очень любил луну, потому что в течение многих месяцев, сидя в камере, не видел ее лика, и вновь любоваться ею было для меня большой радостью. Поэтому, чтобы приветствовать ее и принести ей дань своего уважения, я нарисовал ее — круглую и легкую посередине неба, — к великому изумлению карабинера.

Но вот появлялись, чтобы проконтролировать мою работу, диоскуры**, хозяева местечка — разряженный и чопорный бригадир с саблей и сияющий улыбками, церемонный, полный подчеркнутого благожелательства подеста. Дон Луиджино был, конечно, знатоком, и, чтобы показать мне это, он не скупился на похвалы моей технике. Кроме того, его патристической гордости льстило то, что я находил его родной поселок Гальяно достойным быть нарисованным. Я постарался воспользоваться его расположением и убедить его, что, для того чтобы лучше изобразить красоту местности, мне необходимо немного дальше удаляться от поселка. Но подеста и бригадир не хотели открыто согласиться на это нарушение правил; однако в последующие недели мы мало-помалу пришли к некоему молчаливому соглашению, по которому я мог — но только для рисования — отходить на двести триста метров от домов. Такой снисходительностью я был обязан не столько уважению к искусству, сколько интригам донны Катерины, желавшей угодить мне, а также паническому страху перед болезнями, постоянно гнездившемуся в душе дона Луиджино. Подеста чувствовал себя прекрасно. Его так и распирало от избытка здоровья, если не считать некоторого нарушения деятельности желез внутренней секреции, что проявлялось главным образом в характере, одновременно ребячливом и садистском, и не доставляло ему других физических неприятностей, кроме фальцета и некоторой склонности к полноте. Но, к счастью для меня, он жил в постоянном страхе, что у него обнаружится какая-нибудь болезнь: сегодня у него был туберкулез, завтра болезнь сердца, послезавтра язва желудка; он щупал себе пульс, измерял температуру, рассматривал в зеркале свой язык, и при каждой встрече мне приходилось его успокаивать. Но наконец-то мнимый больной имел в своем распоряжении врача; поэтому я ходил иногда рисовать немного дальше, хотя не слишком

* Морское животное.— *Прим перев.*

** Созвездие близнецов.— *Прим. перев.*

часто и не так далеко, чтобы меня нельзя было видеть; я делал это по своей собственной инициативе и на свой собственный страх и риск, потому что у подесты было много врагов, которые могли написать в Матеру анонимное письмо и изобразить эту уступку в дурном свете. Я выигрывал в пространстве и воздухе очень немного, потому что поселок был окружен обрывами и из него можно было выйти или со стороны кладбища (а тут я не мог переходить границу, потому что оттуда дорога спускалась по другому склону и я вышел бы из поля зрения), или по двум тропинкам. Одна из них бежит вниз по краю оврага, то поднимаясь, то спускаясь, и ведет из Гальяно в Гальянелло — по ней я мог дойти до тимбоне Мадонны дельи Анджели, до того места, где дьявол появился перед старым могильщиком, — это было недалеко от крайних домов поселка. От этого места направо отвляется тропинка шириной всего в несколько пядей, которая ведет очень крутыми зигзагами в глубину оврага, на двести метров вниз; по этой опасной дороге спускаются каждый день к своим полям, расположенным внизу, в стороне долины Агри, со своими ослами и козами почти все крестьяне и, как проклятые, поднимаются обратно вечером с вязанками травы и дров. Другая тропинка ведет вверх, к другому высокому месту поселка. Она начинается справа от церкви, недалеко от дома вдовы, и вскоре приводит к небольшому источнику, который до последнего времени был единственным в поселке. Струйка воды течет из ржавой трубы между двумя камнями и падает в деревянный водоем, где женщины иногда стирают белье; у водоема нет стока, и вода, переливаясь через край, впитывается в землю — настоящий рай для комаров. Тропинка тянется немного дальше, между сжатыми полями с несколькими чахлыми оливами, затем теряется среди сложного лабиринта бугорков и ям белой глины и, поворачивая к Сауро, внезапно обрывается у другого оврага. Здесь я гулял и рисовал и здесь я однажды чуть не наткнулся на гадюку, но был вовремя предупрежден бешеным лаем моего пса.

Этот причудливый и изломанный рельеф превращает Гальяно в своего рода естественную крепость, из которой можно выбраться только по определенным тропинкам. Этим и пользовался подеста в дни так называемого «национального подъема», чтобы сгонять как можно больше людей на митинги, которые он любил устраивать (по его словам, они поддерживали моральный дух населения), или заставлять

жителей слушать по радио речи правителей Италии, подготовлявших войну в Африке. Когда дон Луиджино решал созвать собрание, он посылал вечером старого глашатая-могильщика, который ходил по поселку с трубой и барабаном; по улице разносился старческий голос, повторявший сотни раз на одной высокой невыразительной ноте перед каждым домом:

— Завтра в десять все на площадь перед муниципалитетом слушать радио. Все должны присутствовать.

— Придется завтра встать за два часа до восхода солнца, — говорили крестьяне, не желавшие терять рабочего дня. Они знали, что при первых проблесках зари дон Луиджино расставит на тропинках у выходов из поселка своих авангардистов* и карабинеров с приказом никого не выпускать. Большинству крестьян удавалось уйти в поля затемно, пока не появились стражники, но опоздавшие вынуждены были мириться с необходимостью идти вместе с женщинами и школьниками на площадь, под балкон, с которого лилось на них пламенное, утробное красноречие Магалоне. Крестьяне стояли в шляпах, черные, недоверчивые; речи скользили над ними, не оставляя следа.

Все синьоры были членами фашистской партии, даже те немногие, вроде доктора Милилло, которые думали по-другому; партия была правительством, государством, властью, и они, естественно, чувствовали себя как бы частицей этой власти. И — по противоположным мотивам — никто из крестьян не состоял в фашистской партии, да и ни в какой другой политической партии, которая случайно могла бы существовать. Они не были фашистами, как не были бы либералами или социалистами, или кем-нибудь еще, потому что эти дела их не касались, они принадлежали к другому миру и не признавали всего этого. Что им было за дело до правительства, до власти, до государства? Государство, какое бы оно ни было, это «те из Рима», а «те из Рима», ведь известно же, не хотят, чтобы мы жили, как люди. На свете существуют град, обвалы, засуха, малярия и существует государство. Все это — неизбежное зло, но они всегда были и всегда будут. Они заставили нас убить коз, они уносят мебель из наших домов, а теперь пошлют нас на войну. Приходится терпеть!

* Члены юношеской фашистской организации.— *Прим. перев.*

Для крестьян государство гораздо дальше, чем небо, и гораздо вреднее, потому что оно против них. Не важно, каковы его политические формы, какова его структура, какова его программа. Крестьяне всего этого не понимают, потому что это не их язык, и нет никакой причины для того, чтобы они захотели понять его. Единственная защита от государства и от пропаганды — это покорность, та самая молчаливая покорность без надежд на рай, которая заставляет их сгибать спины перед стихийными бедствиями.

Поэтому-то они — это верно — не имеют никакого представления о том, что такое политическая борьба; это частное дело «тех из Рима». Для крестьян не важно знать, каковы политические взгляды ссыльных и почему те приехали сюда; но они смотрят на них сочувственно, видят в них своих братьев, потому что, как и сами крестьяне, эти люди по каким-то таинственным причинам — жертвы той же самой судьбы. Когда в первые дни я встречал за пределами поселка какого-нибудь ехавшего на осле старого крестьянина, который меня еще не знал, он останавливался, здоровался со мной и спрашивал:

— Кто ты? Куда идешь?

— Гуляю,— отвечал я.— Я ссыльный.

— Изгнанник? (Здесь крестьяне не говорят «ссыльный».) Изгнанник? Как жаль! Кто-то в Риме пожелал тебе зла.— И, ничего больше не добавив, он дергал поводья, глядя на меня с улыбкой братского сочувствия.

Это пассивное братство, это сострадание, это всеобщее покорное, вековое терпение, свойственные крестьянам,— не религиозная, а естественная связь. У них нет, да и не может быть того, что принято называть политической сознательностью, потому что они, в полном смысле этого слова, язычники, а не граждане; богам государства и города не могли поклоняться среди этой глины, где царят волки и старый черный кабан, где никакая стена не отделяет мир людей от мира животных и духов, как зелень деревьев нельзя отделить от темных подземных корней. У них не может быть даже настоящего индивидуального сознания, потому что все находится во взаимосвязи и всякая вещь — это сила, действующая незаметно, потому что не существует границ, не разорванных магическим влиянием. Они живут, погруженные в мир, не имеющих определенных очертаний, где человек ничем не отличается от своего солнца, от своего скота, от своей малярии, где не могут существовать никакие инди-

видуальные чувства — ни счастье, которое воспевали писатели, поклонявшиеся античности, ни надежда, а только безмолвная пассивность скорбной природы. Но в них живет человеческое чувство общности судьбы и одинакового восприятия жизни. Это лишь чувство, а не акт сознания; оно не выражается в речах или в словах, но оно живет в них во все моменты их жизни, во всех их делах в бесконечной веренице однообразных дней, тянущихся над этими пустынными равнинами.

«Как жаль! Кто-то пожелал тебе зла!» — Значит, и ты подвержен судьбе. Значит, и тебя забросила сюда чья-то злая воля, коварное действие, которое распространяет повсюду враждебная магия. Значит, и ты человек, и ты из наших. Не важны мотивы, которые двигали тобой: ни политика, ни законы, ни иллюзии разума. Нет ни разума, ни причин, ни следствий — только жестокая судьба, только злая воля, только магическая власть вещей. Государство — это одна из форм этой судьбы, оно подобно ветру, сжигающему жатву, злой лихорадке, пожирающей нашу кровь. Жизнь ничего не может противопоставить судьбе, кроме терпения и молчания. Чего стоят слова? И что можно поделать? Ничего.

Одетые в броню молчания и терпения, безмолвные, непроницаемые, стоят на площади, на собрании те немногие крестьяне, которым не удалось ускользнуть в поле; они стоят так, будто не слышат оптимистических фанфар радио, доходящих к ним издалека, из края достижений и легких успехов, который до такой степени забыл о смерти, что призывает ее шутя, с легкомыслием тех, кто в нее не верит.



Теперь уже я знал многих крестьян Гальяно, хотя на первый взгляд они казались мне все совершенно одинаковыми — маленькими, опаленными солнцем, с черными, лишенными блеска, словно невидящими, похожими на пустые окна темной комнаты глазами. Некоторых я встречал во время своих коротких прогулок, иные здоровались со мной с порога своих домов по вечерам, но большинство приходило ко мне лечиться. Мне пришлось примириться со своей новой обязанностью; но я очень беспокоился, особенно вначале, о судьбе своих больных и досадовал на свои малые возможности. Их необычайная, наивная вера требовала отклика, и я невольно чувствовал себя ответственным за их беды, воспринимая их почти как собственную вину. К счастью, я имел достаточную научную подготовку, хотя мне не хватало практики, у меня не было возможностей исследования и средств для лечения, и, должен сознаться, я был очень далек от спокойствия и отвлеченности научного мышления. Я жил, можно сказать, в непрерывном страхе. Тем более важным и драгоценным для меня был приезд моей сестры, женщины большого ума и деятельной доброты и сверх того — замечательного врача; она привезла мне книги, трактаты о малярии, журналы, инструменты, медикаменты, подбодрила меня и разрешила мои сомнения. Я узнал о ее неожиданном приезде из телеграммы, которая чуть-чуть не опоздала, но я все же успел послать за ней автомобиль к автобусной остановке на перекресток у Сауро. Эта машина была единственной в Гальяно, старая, расхлябанная машина марки «509». Она принадлежала одному механику, «американцу», высокому толстому белокурому человеку, носившему шлем мотоциклиста, славившемуся в поселке одной своей анатомической особенностью, которая делала для женщин общение с ним может быть и желанным, но опасным. Несмотря на это,

а может быть именно из-за этого, он прослыл местным донжуаном, за ним числился целый список побед. И его несчастным любовницам было очень трудно долго скрывать от его ревнивой жены и от насмешливого любопытства соседей свою запретную любовь. Машину он купил на свои последние нью-йоркские сбережения в надежде на большие заработки — ведь в машине была общественная необходимость. Но он совершал только одно-два путешествия в неделю, и единственно для того, чтобы возить подесту в префектуру Матеры, карабинеров по каким-либо делам или налогового инспектора, и лишь иногда отвозил в Стильяно какого-нибудь больного или доставлял оттуда товары. Серьезная проблема, занимавшая в то время хозяев поселка, заключалась в том, чтобы во время ежедневных поездок за почтой заменить мула автомобилем. Таким образом могло бы установиться нечто вроде регулярного сообщения для путешественников, которые приезжали или уезжали на автобусе. Но так как ни времени, ни труда здесь не считают и не ценят, то разница в плате за мула и за машину была очень небольшая; кроме того, могли возникнуть трудности, связанные с родством или кумовством; поэтому решение этой проблемы все время откладывалось на завтра, и когда я уезжал, она все еще не была решена. Только иногда, когда ожидали приезда кого-нибудь, механик попутно привозил мешки с почтой и тогда церемония раздачи корреспонденции происходила на несколько часов раньше. Весь поселок уже бывал оповещен об этом, и небольшая толпа всякий раз ждала у церкви возвращения машины. Когда из-за поворота слышались скрип и лязганье железа, все шли навстречу, чтобы насладиться прекрасным зрелищем и поскорее узнать новости.

Стоя в этой толпе ожидающих, я увидел знакомую фигуру; из автомобиля вышла моя сестра, которую я не видел очень давно и которая, казалось мне, появилась из бесконечного далека. Ее милые жесты, ее простая одежда, искренний тон ее голоса, открытая улыбка были все такими же, какими я их всегда знал; но после долгих месяцев одиночества, дней, прожитых в Грассано и Гальяно, они возникли предо мной как неожиданное и реальное воплощение мира воспоминаний. Эти целеустремленные жесты, эта легкость движений принадлежали иному миру, отделенному от того, в котором я жил, казались здесь невозможными, принадлежавшими другой, бесконечно далекой стране. До

того времени я не мог отдать себе отчета в этом простом физическом различии; сестра приехала как посланница другого государства в чужую страну, с той стороны гор.

Мы обнялись, она передала мне приветы от матери, отца, братьев. Когда мы остались одни, укрывшись от посторонних взоров в кухне вдовы, я принялся нетерпеливо расспрашивать ее. Луиза рассказала мне о больших и маленьких семейных, частных и общественных событиях, происшедших в мое отсутствие, и о том, что делали мои друзья и дорогие мне люди, и о том, что говорили в Италии, о картинах, о книгах, о мыслях людей.

Это были самые дорогие моему сердцу вещи, к которым я без конца мысленно возвращался каждый день и которые казались мне такими близкими; но теперь, когда я убедился, что они существуют, они показались мне внезапно принадлежащими другой эпохе, имеющими другой ритм, повинующимися другим, непонятным здесь законам, более далекими, чем Индия и Китай. Я внезапно понял, что между этими эпохами не может существовать никаких отношений, что эти две цивилизации не могут иметь никакой связи, кроме магической. И я понял, почему крестьяне смотрят на приехавшего с Севера, как на человека с того света, как на чужое божество.

Сестра приехала из Турина, она могла остаться в Гальяно не больше четырех или пяти дней.

— Мне пришлось потерять много времени на путешествие,— сказала она,— я должна была заехать в Матеру, чтобы завизировать в местной квестуре разрешение посетить тебя. Поэтому вместо того, чтобы добраться в два дня через Неаполь и Потенцу, я вынуждена была потратить три и ехать через Бари и Матеру. В Матере я провела целый день в ожидании автобуса. Что это за край! По тому немногому, что я видела в Гальяно, пока ехала, мне кажется, здесь не так плохо; во всяком случае, хуже Матеры не может быть.

Ее испугало и привело в ужас то, что она там увидела. Я подумал, что она так болезненно реагировала на все потому, что никогда не была в этих краях и именно в Матере впервые увидела такую природу и такой обездоленный народ, и сказал ей об этом.

— Я не знала этих мест, но все же как-то представляла их себе,— ответила она.— Однако такой, какой я видела Матеру, я даже не могла себе ее вообразить.

— Я приехала туда,— рассказала она мне,— около одиннадцати утра. В путеводителе я прочла, что это живописный город, который стоит посмотреть, что там есть музей античного искусства и своеобразные постройки, похожие на обиталища троглодитов. Выйдя из вокзала — современного и даже роскошного здания, — я огляделась, ища глазами город. Но напрасно. Города не было. Я стояла на пустынном плоскогорье, окруженном выжженными, лысыми холмами из сероватой, усеянной камнями земли. Среди этой пустыни поднимались разбросанные в разных местах восемь или десять больших мраморных дворцов вроде тех, которые строят сейчас в Риме по проектам Пьячентини, с порталами, пышными архитравами, торжественными латинскими надписями и сверкающими на солнце колоннами. Некоторые из них были недостроены и казались заброшенными, парадоксальными и чудовищными среди этой унылой природы. Убогий квартал, где живут служащие, состоящий из домиков, построенных наспех, уже разрушающихся и грязных, примыкал к дворцам и закрывал с этой стороны горизонт. Все это казалось тщеславным проектом колониального города, случайно задуманным и заброшенным в самом начале из-за какой-то эпидемии, или скорее декорацией дурного вкуса для трагедии д'Аннунцио* в театре на открытом воздухе. В этих огромных величественных дворцах двадцатого века помещались квестура, префектура, почта, муниципалитет, казарма карабинеров, местная фашистская организация, совет корпораций, комитет баллилы и так далее. Но где же город? Матеры не было видно.

Я надеялась быстро управиться со своими делами и пошла прямо в квестуру; здание снаружи сверкает мрамором, но внутри грязь и зловоние, комнаты плохо подметены, пыльные, замусоренные. Мне нужно было завизировать разрешение на свидание с тобой. Меня принял помощник квестора, который одновременно является начальником политической полиции. Я пыталась протестовать против того, что тебя послали в малярийные края, и спросила, нельзя ли перевести тебя в более здоровое место. Присутствовавший при нашем разговоре комиссар полиции грубо оборвал меня:

— Малярия? Какая малярия? Это все выдумки. Бывает один случай в год. Ваш брат великолепно проживет там.

* Известный итальянский писатель, декадент, идеолог империалистической агрессии (1863—1938).— *Прим. перев.*

Но когда он узнал, что я врач, сразу замолчал. А помощник квестора отвечал мне совершенно другим тоном:

— Малярия,— сказал он мне,— есть повсюду. Мы можем перевести вашего брата, если хотите, но везде будут те же условия, что и в Гальяно. Из всех поселков провинции только один можно считать немалярийным — Стильяно,— потому что он лежит на высоте почти тысячи метров над уровнем моря; может быть, позже мы и переведем его туда, но пока что по многим причинам это невозможно. (В Стильяно, как я поняла, высылают фашистов-оппозиционеров.) Ваш брат не имеет права передвижения. Мы ведь тоже живем в Матере, хотя и не являемся ссыльными. Не думайте, что здесь в отношении малярии лучше, чем там. Если мы можем здесь жить, синьорина, он тоже сможет.

На этот довод мне действительно нечего было возразить. Я больше не стала настаивать и ушла.

Я хотела купить тебе стетоскоп, так как забыла захватить из Турина, а тебе ведь он необходим для врачебной практики. Специальных магазинов в Матере нет, и я решила поискать его в аптеках. Среди дворцов и скромных домишек попадались лавочки, и я нашла две аптеки, единственные в городе, как мне сказали. Но ни в той, ни в другой не только не было стетоскопа, но оба аптекаря даже не имели о нем ни малейшего представления. «Стетоскоп? А что это такое?» Когда я им хорошенько объяснила, что это самый простой инструмент для выслушивания сердца, который делают главным образом из дерева, что он напоминает слуховой рожок и так далее, они сказали мне, что, вероятно, нечто подобное можно найти в Бари, но здесь, в Матере, никто об этом даже не слышал. Был уже полдень, я попросила указать мне ресторан и зашла в самый лучший, как мне отрекомендовали. Действительно, за одним из столов, накрытых грязной скатертью, сидели помощник квестора и другие полицейские чины и со скучающим видом вертели в руках кольца для салфеток, которые даются постоянным посетителям. Ты знаешь, что я не очень требовательна, но мне пришлось уйти голодной. В конце концов я отправилась искать город. Отойдя еще немного от вокзала, я вышла к улице, по одну сторону которой стояли старые дома, а по другую был обрыв. На склоне этого оврага и расположена Матера. Но сверху, с того места, где я стояла, город был совсем не виден, так как склон очень крут и спускается почти отвесно. Заглянув вниз, я

увидела только тропинки и террасы, скрывавшие от глаз расположенные под ними дома. Напротив была гора, голая и выжженная, безобразного серого цвета, и ни клочка обработанной земли, ни единого дерева — только земля и камни, потрескавшиеся от солнца. Внизу по каменистому дну шумел маленький поток Брадано с мутной, грязной водой. Речка и гора были такие злые и мрачные, что тоскливо сжималось сердце. Овраг был странной формы — точно две половины воронки, разделенные маленьким хребтом и соединявшиеся внизу, где белела церковь Санта-Мария-де-Идрис, воткнутая в землю, как казалось сверху. Эти опрокинутые конусы, эти воронки назывались «камни»: Камень Кавезо и Камень Барисано. Мы представляли в школе, что именно такой формы должен быть ад Данте. И я тоже начала спускаться по дорожке, похожей на горную тропу, круг за кругом, до самого низа. Очень узенькая улица, извивавшаяся, как змея, спускалась по крышам домов, если их можно так назвать. Это были пещеры, вырытые в затвердевшей глинистой поверхности оврага; у некоторых из них было что-то вроде фасада, некоторые, украшенные скромным орнаментом восемнадцатого века, были даже красивы. Эти поддельные фасады благодаря крутизне обрыва выходили из самой горы и немного выдавались вперед; на этом узком пространстве между фасадами и склоном шли улицы, которые служили полом для живущих наверху и крышами для живущих внизу. Двери были открыты из-за жары. Проходя мимо, я видела внутренность пещер; воздух и свет проникают туда только через дверь. У некоторых нет и двери, в них входят сверху по трапам и лесенкам. В этих черных дырах с земляными стенами я видела постели, жалкие одеяла, разбросанные лохмотья. На полу лежали собаки, овцы, козы, поросята. Жилище каждой семьи состоит из такой пещеры, и там спят все вместе: мужчины, женщины, дети, животные. И в таких условиях живет двадцать тысяч человек. Детей там пропасть. В этой жаре, среди мух и пыли, они выползали отовсюду, совершенно голые или в лохмотьях. Я никогда не видела такой нищеты; а между тем я привыкла — такая уж у меня профессия — каждый день видеть десятки бедных, больных, заброшенных детей. Но такого зрелища, как вчера, я даже не могла себе вообразить. На порогах домов в грязи под палящим солнцем сидели дети с полузакрытыми глазами, с красными, распухшими веками; на глаза им садились

мухи, но дети продолжали сидеть неподвижно, даже не пытаясь отогнать их руками. Да, мухи ползали по глазам, а дети, казалось, и не замечали этого. Это была трахома. Я знала, что там внизу есть трахома, но видеть ее в этой грязи и нищете — это совсем другое дело. Встречались здесь и другие дети, с морщинистыми, как у стариков, личиками, с заострившимися от голода чертами, со струпьями на голове и со вшами в волосах. У большинства детей были огромные вздутые животы и желтые, болезненные лица маляриков. Женщины, заметив, что я заглядываю в двери, приглашали меня войти, и я увидела в этих темных и вонючих пещерах детей, лежащих на земле под рваными одеялами, зубы у них стучали от лихорадки. Другие с трудом передвигались, измученные дизентерией, от них остались кожа да кости. И еще я видела детей с восковыми личиками — вероятно, у них была болезнь еще более страшная, чем малярия, может быть, какая-нибудь тропическая болезнь, может быть, кала азар, черная лихорадка. Худые женщины с присосавшимися к их дряблым грудям истощенными и грязными детьми на руках, ласково и печально кланялись мне; и мне казалось под этим ослепляющим солнцем, что я попала в город, зараженный чумой. Я продолжала спускаться на дно обрыва, к церкви, и за мной на расстоянии нескольких шагов следовала большая, все увеличивавшаяся толпа детей. Они что-то кричали на своем непонятном наречии, но я не могла разобрать, что они говорили. Я продолжала спускаться, а они шли за мной и не переставая звали меня. Я думала, что они просят милостыню и остановилась; и только тогда я разобрала слова, которые они кричали теперь хором: «Синьорина, дай мне кини!» Синьорина, дай мне хинина!

Я раздала всю мелочь, которая у меня была, чтобы дети купили себе конфет, но им нужно было другое, и они продолжали печально и настойчиво просить хинина. Наконец мы спустились на самое дно провала к красивой церкви в стиле барокко — Санта-Мария-де-Идрис. Подняв кверху глаза, я наконец увидела перед собой всю Матеру, похожую на наклонную стену. Отсюда она выглядела почти как настоящий город. Фасады всех пещер, напоминавших белые, выстроившиеся рядами дома, казалось, смотрели на меня дырами дверей, как черными глазами. Это действительно был очень красивый, живописный, производящий впечатление город. Там был еще хороший музей с лепными

греческими вазами, статуэтками, старыми мокетами, найденными в окрестностях. Пока я осматривала его, дети стояли на солнце и ждали, что я принесу им хинина.

Где мне было поместить свою сестру? Хромой убийца коз получил ответ из Неаполя относительно дворца. Хозяева писали, что не очень хотели бы сдавать его, но если уже сдавать, то одну-две комнаты и по довольно высокой цене — пятьдесят лир в месяц, за что приносили свои изменения; что в центральных районах страны сейчас будет большая нужда в помещениях, потому что ждут войны и боятся, что Италия подвергнется обстрелу английского флота; что из Неаполя все собираются бежать и что сами хозяева или их друзья по всей вероятности будут прятаться здесь. Но за это время у меня пропал энтузиазм к этой романтической руине, которая, если все хорошенько взвесить, была, в сущности, непригодна для жилья. Ссылный студент из Пизы (тот, что брал на ограде обед) прислал ко мне крестьянина, чтобы сообщить, что через несколько дней освободится помещение, которое он снимал для матери и сестры, учительниц, приезжавших навестить его; они жили замкнуто, никуда не выходили из дома. Плата была для него слишком высока, и после отъезда двух женщин я мог бы занять дом. Хромой и донна Катерина советовали мне принять предложение, но пока моей сестре приходилось делить со мной единственную спальню в доме вдовы, где она познакомилась с клопами, мухами и комарами Лукании; но она сказала мне, что после пещер Матеры эта унылая комната кажется ей почти королевским дворцом. К счастью, в эти несколько ночей не приезжал ни налоговый инспектор, ни какой-либо другой посетитель. Приезд моей сестры был целым событием; синьоры поселка оказали ей наилучший прием; донна Катерина поведала ей о своей болезни печени и о кухонных рецептах и была с ней удивительно любезна. Синьора с Севера здесь, рядом, и к тому же врач! Им не приходилось еще видеть ничего подобного. Зачем же быть с ней нелюбезной? С крестьянами дело обстояло иначе. Знакомые с американским образом жизни, они находили вполне естественным, что женщина может быть врачом, и, конечно, воспользовались этим. Но ее присутствие вызывало у них еще и другие чувства. До сих пор я был для них человеком, упав-

шим с неба; мне чего-то нехватало — я был одинок. Теперь они узнали, что и у меня есть кровные связи на этой земле, и это в их глазах наилучшим образом заполняло брешь. То, что они видели меня с сестрой, затрагивало самую глубину их сердец; там, где нет чувства государственности и религии, чувство кровной связи, занявшее их место, ощущается с еще большей силой. Это не семейный обычай, не социальная, юридическая или духовная связь. Это святое, связывающее, магическое чувство общности. Поселок весь связан этими сложными цепями, которые являются не только материальной связью родства (двоюродный брат кажется настоящим братом), но и символическими, благоприобретенными связями кумовства. Кум Сан-Джованни — это даже больше, чем кровный брат; после выбора и ритуального посвящения он уже принадлежит к той же группе по крови; но главное — один для другого священен: нельзя сочетаться браком. Это братское чувство — самая крепкая связь между людьми.

Когда по вечерам мы с сестрой гуляли по единственной улице поселка, держась под руку, крестьяне с порога радостно смотрели на нас. Женщины кланялись нам и осыпали благословениями: «Будь благословенно чрево, носившее вас! — говорили они нам с порога, когда мы проходили. — Благословенна грудь, вскормившая вас!» Беззубые старухи у дверей переставали на мгновение прясть шерсть, чтобы произнести свое заключение: «Жена хороша, но сестра во много раз лучше». — «Брат и сестра — душа и душа!» Луизу, которая продолжала жить в привычной атмосфере городского рационализма, удивляло, что простой факт — иметь сестру — вызывает здесь такой энтузиазм.

Но что ее удивляло и возмущало больше всего — это то, что никто ничего не делает для этих мест. У нее был творческий темперамент, из тех, которые астрологи называли бы солнечным, и ее деятельная доброта не терпела медлительности; она постоянно говорила о том, что можно было бы сделать, развивала передо мной практические планы помощи крестьянам Гальяно, детям Матеры. Больницы, приюты, борьба против малярии, школы, общественные организации, государственные врачи, — возможно добровольцы, национальная кампания за обновление этого края и так далее. Она сама охотно отдала бы все свое время для дела, которое казалось ей таким справедливым. Нужно действовать, не дремать, не откладывать постоянно на завтра. Конечно, она

была права; и то, что она предлагала, было хорошо и справедливо и вполне осуществимо. Но здесь все было гораздо сложнее, чем это кажется светлым умам справедливых и добрых людей.

Четыре дня ее пребывания у меня пробежали быстро. Когда автомобиль механика, увозивший ее, исчез в облаке пыли за поворотом позади кладбища, то и этот мир деятельного творчества и культуры, с которым я был связан когда-то и который с ее появлением вновь предстал передо мной, казалось, растворился, точно иссушенный временем, в далеком облаке воспоминаний.



У меня остались книги, лекарства и советы, и все это тотчас пригодилось мне. Дело в том, что самые различные болезни, не говоря уже о заразных, возникают периодически. Бывают недели, когда никто не болеет или болеет очень легко; но если возникает какой-нибудь более серьезный случай, можно быть уверенным, что вскоре появятся и другие. Одна из таких эпидемий, первая после моего приезда, началась, как только уехала сестра; целый ряд трудных и опасных заболеваний напугал меня. Впрочем, все болезни в этих местах всегда носят очень бурный и опасный характер, отличный от того, что я привык видеть в хорошо оборудованной университетской клинике в Турине. Хроническая ли анемия старых маляриков, или истощение, или слабая сопротивляемость организма этих пассивных и покорных людей, но с первого же дня болезнь принимала бурный характер, на лицах больных появлялись тревожные признаки агонии. И меня всегда удивляло, когда состояние этих больных, которых каждый хороший врач счел бы погибшими, улучшалось и они выздоравливали от самого элементарного лечения. Казалось, что мне сопутствует странная удача.

Я побывал в эти дни также у настоятеля. У него было кишечное кровотечение, но этот мизантроп не говорил ничего и продолжал расхаживать по поселку, не думая лечиться. Это дон Козимино, почтовый ангел, единственное доверенное лицо старика, в почтовой конторе которого он проводил целые часы, читая ему свои эпиграммы, просил меня зайти к настоятелю под предлогом визита вежливости и посмотреть, нельзя ли чем-нибудь помочь ему.

Дон Трайелла жил с матерью в большой комнате, похожей на пещеру, в темном переулке недалеко от церкви. Когда я вошел к нему, он сидел с матерью за столом без скатерти и ел; у них на двоих была одна тарелка и один-единственный стакан. Тарелка была наполнена плохо сваренной белой

фасолью — в этом и заключался весь обед: мать и сын по очереди брали ее с тарелки старыми оловянными вилками. В глубине пещеры стояли две одинаковые, как близнецы, еще не убранные кровати, принадлежавшие дону Джузеппе и старухе. Кровати были отделены зеленой рваной занавеской. У стены в беспорядке валялась большая куча книг, на которой сидели куры. По комнате, не убиравшейся бог знает с какого времени, бегало и летало еще много кур; от вони курятника перехватывало дыхание. Настоятель, чувствовавший ко мне симпатию и включавший меня вместе с донсом Козимино в число немногих людей, с которыми можно разговаривать, так как они не являются его врагами, встретил меня с радостной улыбкой на осунувшемся страдальческом лице. Он представил мне свою мать и просил извинить ее за то, что она не отвечала на мое приветствие: она *vetula et infirma* *. Он тотчас же предложил мне стакан вина, и, чтобы не обидеть его, я должен был выпить из того единственного стакана, который служил ему и его матери уже годы и никогда не мылся, насколько я мог заметить по черному жирному осадку, покрывавшему его стенки. У донна Трайелла не было слуг, и он теперь так привык к этой постоянной грязи, что не обращал на нее внимания. Мы поговорили о его болезнях, и тут он заметил, что я с любопытством смотрю на кучу книг, и сказал мне:

— Что вы хотите? В этих местах не думают о чтении. У меня были хорошие книги, вы видите? Здесь есть редкие издания. Когда я приехал сюда, мерзавцы, которые несли книги, назло мне перепачкали их в смоле. У меня пропало желание открывать их, и я оставил книги на земле; здесь они и лежат много лет.

Я подошел к куче; книги были покрыты слоем пыли и куриным пометом; тут и там на кожаных переплетах действительно виднелись пятна смолы — память о давнем покушении. Я вытащил наудачу несколько книг: это были старые тома семнадцатого века по теологии, казуистике, жития святых и отцов церкви, латинские поэты. Вероятно, когда-то, прежде чем превратиться в насест для кур, это была хорошая библиотека культурного и любознательного священника. Среди книг виднелись измятые и запачканные брошюры, исторические и апологические исследования о святом Калохеро де Авила, труды самого донна Трайелла.

* Стара и больна (лат.).

— Это мало известный испанский святой,— объяснил мне настоятель.— Я когда-то рисовал и картины *temporibus illis**, которые изображали различные эпизоды политического характера из его жизни.

Я настоял, чтобы он мне показал их, и он решился вытащить картины из-под кровати, откуда, как он сказал, он не вынимал их со дня своего приезда. Это были темперы** в народном вкусе, но не лишенные выразительности, с большим числом крохотных изящных фигурок, картины-композиции, изображавшие рождение, жизнь, чудеса, смерть и славу святого. Из-под постели были вынуты и статуэтки, тоже его работы, раскрашенные маленькие ангелы и причудливые святые из дерева и терракоты, сделанные легко и грациозно в духе ясель неаполитанских мастеров семнадцатого века. Я поздравил себя с неожиданным коллегой.

— Я ничего больше не сделал с тех пор, как приехал сюда, *in partibus infidelium****, чтобы дать, как говорится, святые дары святой матери церкви еретикам, ничего не желающим знать об этом. Раньше я для развлечения делал эти вещицы. Но здесь, в этом краю, это невозможно. Здесь ничего не стоит делать. Выпейте еще стакан вина, дон Карло.

В то время как я искал предлога, чтобы отказаться от вина, дабы не прикоснуться еще раз к этому ужасному стакану, гораздо более горькому, чем какое угодно зелье, старая мать, сидевшая до сих пор неподвижно на своем стуле, как отсутствующая, внезапно встала, выпрямилась и начала кричать и размахивать руками. Испуганные куры залетали по комнате, вспархивая на кровати, на книги, на стол. Дон Трайелла забегал во все стороны и начал прогонять кур с постелей. «Проклятое место!» — кричал он при этом. А куры кудахтали, еще более пугаясь, поднимали тучи пыли, сверкавшей в солнечном луче, проникавшем сквозь щель в полуоткрытом окошке.

Я воспользовался смятением, чтобы уйти от вихря перьев и колыханий черной сутаны.

На мое счастье, совершенно непохожим на бедного Трайелла был его предшественник, толстый, богатый, веселый, священник, любивший наслаждаться жизнью, славившийся

* В те времена (лат.).

** Картина, писанная красками, растертыми на яичном желтке.—
Прим. перев.

*** В страну неверных (лат.).

в поселке своим отличным аппетитом и тем, что имел много детей; говорят, он умер от страшного несварения желудка.

Дом его, куда я наконец переселился через несколько дней после того, как уехали родственники пизанского ссыльного, был построен им самим и был, можно сказать, единственным культурным домом в поселке. Он находился около старой церкви Мадонны дельи Анджели; теперь же, когда церковь рухнула в пропасть, дом был последним на краю обрыва. Он состоял из трех комнат, расположенных одна за другой. С улицы, вернее с переулка, справа от главной улицы, можно было войти в кухню, из кухни в маленькую комнату, где я поставил постель; а оттуда дверь вела в большую комнату с пятью окошечками, которая стала моим постоянным обиталищем и студией. Из студии четыре каменные ступеньки вели в маленький огородик, обнесенный железной решеткой, с фиговым деревом посредине. Спальня выходила на балкончик, откуда по лесенке, приставленной к стене, можно было подняться на террасу, служившую крышей всему дому. Оттуда открывались самые далекие горизонты. Дом был скромный, построенный экономно, некрасивый, потому что был лишен типических черт господского или крестьянского дома, не имел ни благородных очертаний разрушающегося дворца, ни облика нищенской лачуги; в нем проявлялась только посредственность испорченного поповского вкуса. Пол студии и террасы был выстлан разноцветными шашками, как в некоторых деревенских исповедальнях; я не люблю этой геометрической правильности, которая непрерывно притягивает взор и мешает мне, когда я рисую. Дешевые шашки линяли, когда были мокрыми, и Барон, безумно любивший кататься по полу, делался тогда из белого розовым. Но стены были чистые, выбеленные известкой, двери покрыты голубым лаком, ставни — зеленые. А главное, в вознаграждение за все недостатки, эпикурейский дух покойного священника снабдил мой дом бесценным сокровищем — уборной, без воды, конечно, но настоящей уборной с фарфоровым унитазом. Она была единственной в домах Гальяно, и, вероятно, нельзя было найти другой на сто километров вокруг. В домах синьоров существовали еще старинные монументальные стульчаки из дерева с инкрустациями — маленькие, исполненные важности троны; и мне говорили, хотя сам я не видел, что существовали даже супружеские, с двумя сиденьями, для

тех нежных супругов, которые не могут вынести даже самой короткой разлуки. В домах бедняков, конечно, не было ничего. Это порождает любопытные обычаи. В Грассано в некоторые почти установившиеся часы, рано утром и к вечеру, украдкой открываются окошечки домов и из щелей высовываются морщинистые руки старух, которые выплескивают на середину улицы содержимое горшков. Это часы так называемого «бросания». В Гальяно эта церемония не была такой всеобщей и регулярной, удобрение для огородов не разбрасывалось с такой щедростью.

Отсутствие такого простого приспособления во всем без исключения районе, естественно, создает привычки, которые нелегко искореняются, которые вызывают тысячи других явлений и сопровождают чувства, считающиеся благороднейшими и поэтическими. Столяр Ласала, умный «американец», который был много лет назад синдиком в Грассано и который ревниво хранил в великолепном футляре радиолу, привезенную оттуда, пластинки Карузо, запись встречи де Пинедо* и памятные речи Маттеотти**, рассказывал мне, что в Нью-Йорке каждое воскресенье после рабочей недели он совершал со своими земляками прогулку за город.

— Нас было всегда восемь-десять человек, был тут врач, фармацевт, коммерсанты, официант из гостиницы и несколько ремесленников. Все из нашей местности, и мы знали друг друга с детства. Жизнь так печальна среди небоскребов со всеми этими необычайными удобствами и лифтами, вертящимися дверями и метро; кругом дома, дворцы, улицы и ни крошки земли. Загрустишь поневоле. Утром в воскресенье мы садились на поезд, но нужно было проехать много километров, чтобы попасть в поля. И когда мы наконец попадали в какое-нибудь уединенное место, нам делалось так весело, точно камень с плеч свалился. И тогда под деревом мы все вместе спускали штаны. Какое наслаждение! Мы чувствовали свежий воздух, природу. Не то, что эти американские уборные, блестящие и совсем одинаковые. Нам казалось, что мы опять ребята, что мы вернулись в Грассано, мы были счастливы, смеялись, дышали воздухом родины.

* Выдающийся итальянский летчик (род. в 1890 году).— *Прим. перев.*

** Депутат-социалист (1885—1924), выступавший с обличительными речами против фашизма и Муссолини. Убит фашистами в 1924 году.— *Прим. перев.*

А когда все было кончено, кричали хором: «Да здравствует Италия!» Это был крик души.

У нового дома было еще то преимущество, что он находился в конце поселка, в недостижимом для постоянных взглядов подесты и его приближенных уголке; я мог наконец гулять, не наталкиваясь на каждом шагу на тех же людей и не слушая все те же разговоры. У здешних синьоров есть обычай, когда они встречают кого-нибудь на дороге, не приветствовать и не спрашивать, как он поживает, а задавать вопрос: «Ну! Что ели сегодня?» Если их собеседник крестьянин, он ответит, молча подняв руку к лицу, медленно покачивая ею, причем большой палец и мизинец направлены вверх, а остальные прижаты к ладони; это означает: «мало» или «ничего». Если же это синьор, он подробно перечислит жалкие компоненты своего обеда и спросит, что ел его собеседник; если никакая ненависть или местная интрига не волнует в это время их души, разговор будет продолжаться некоторое время, не выходя за пределы этого обмена гастрономическими признаниями.

Теперь я мог выходить, не наталкиваясь немедленно на вездесущее брюхо дона Дженнaro, такое огромное, что оно загораживало всю дорогу. Он был полицейским, деревенским вестовым, ловцом бродячих собак и шпионом подесты; он следил за каждым шагом ссыльных и за каждым словом крестьян; может быть, в глубине души он был неплохой человек, но он был предан властям и дону Луиджино, упорно заставлял подчиняться странным распоряжениям подесты насчет свиней и собак, угрожал и налагал по самым невероятным поводам штрафы женщинам, у которых не было денег, чтобы платить их.

Но главное, у меня теперь был дом, где я мог оставаться один и работать. Поэтому я поторопился распрощаться с вдовой и начать новую жизнь уже в постоянной квартире. Дом принадлежал наследнику священника дону Рокко Мачоппи, скромному землевладельцу средних лет, носившему очки, любезному, церемонному, набожному, и его племяннице донне Марии Магдалине, девице лет двадцати пяти, белокурой, как славянка, воспитанной монашками в Потенце, вечно вздыхающей, анемичной и бесцветной. Условились, что они будут пользоваться огородом для выращивания салата и будут ходить туда через калитку, но я смогу гулять там сколько мне захочется. Помещение было почти пустое; хозяин и его друг — хромой снабдили меня необходимой

мебелью. Я перенес туда мои вещи, прибывшие к этому времени,— большой мольберт и кресло, обязательное к нему добавление; мольберт — чтобы рисовать, кресло — чтобы сидя смотреть на картины, по мере того как они создаются; оба эти предмета мне необходимы, и я к ним привязан; они сопровождали меня повсюду, во всех моих скитаниях по свету. Принесли туда и только что прибывший ящик с книгами, из-за которого мне пришлось претерпеть специальный визит подесты и бригадира. Дон Луиджино прислал мне сказать, что придет на его вскрытие, так как должен удостовериться, что там нет запрещенных книг, и в присутствии своего постоянного помощника пересмотрел одну за другой все книги. Конечно, он делал это как образованный человек, который ничему не удивляется, с понимающей улыбкой, довольный своими знаниями и своим авторитетом. Запрещенных книг там не было. Но было, например, обыкновенное издание «Опытов» Монтеня*.

— Это на французском языке, не правда ли? — подмигивая, воскликнул подеста, как бы желая показать, что его не обманешь.

— Но это очень древний француз, дон Луиджи!

— Ну, Монтень — это один из участников французской революции.

Я устал доказывать ему, что этот француз не может считаться опасным; учитель знал свои обязанности и сочувственно улыбнулся, чтобы я понял, что если он и оставляет мне книгу, которую должен был бы отобрать, то только из-за особой благосклонности и взаимопонимания между культурными людьми.

Дом в порядке, вещи на месте — мне оставалось только решить последнюю проблему: найти женщину, которая бы убирала у меня, приносила бы мне воду из источника и готовила еду. Хозяин, хромой (тот, что резал коз), донна Катерина и ее племянницы сошлись на одном:

— Есть только одна, которая вам подойдет. Вы можете взять только ее! — И донна Катерина сказала мне: — Я поговорю с ней, заставляю ее прийти. Меня она слушается, мне не откажет.

Эта проблема оказалась гораздо более сложной, чем я думал, и не потому, что был недостаток в женщинах в Галь-

* Французский писатель и философ XVI века (1533—1592).—
Прим. перев.

яно — нашлись бы десятки желающих такой работы и такого заработка. Но я жил один, со мной не было ни жены, ни матери, ни сестры, и никакая женщина, следовательно, не могла войти одна в мой дом. Это запрещал обычай, очень древний и не знающий исключений, лежащий в основе отношений между полами. Любовь или чувственное влечение рассматривается крестьянами как могущественная сила природы, которой не может противостоять никакая воля. Если мужчина и женщина находятся вместе в уединении, без свидетелей, ничто не может помешать им упасть в объятия друг друга, ничто не может остановить их — ни протесты, ни целомудрие, никакие другие препятствия; и если даже случайно этого и не происходит, это ничего не меняет: быть вдвоем — значит заниматься любовью. Всемогущество этого божества так безусловно и так естественно это стремление, что в этой области не может существовать настоящей морали и даже никакого общественного порицания незаконной любви. Есть множество незамужних матерей, и они не подвергаются изгнанию или общественному презрению; им, возможно, будет труднее найти мужа в поселке, и они должны будут выйти замуж где-нибудь по соседству или удовлетвориться мужем хромым или с каким-нибудь другим физическим недостатком. Таким образом, если не может существовать моральной узды для свободной силы желания, то обычай старается всячески затруднить это. Ни одна женщина не может зайти к мужчине в отсутствие свидетелей, в особенности если у мужчины нет жены; и запрет здесь строжайший; нарушить его даже самым невинным образом — значит совершить грех. Правило относится ко всем женщинам, так как любовь не знает возраста.

Я лечил одну бабушку, Марию Розано, крестьянку семидесяти пяти лет с светлыми голубыми глазами и бесконечно добрым лицом. Она страдала пороком сердца с очень угрожающими тяжелыми симптомами и чувствовала себя совсем плохо.

— Я больше не встану с постели, доктор. Настал мой час, — говорила она.

Но я, чувствуя, что удача мне сопутствует, уверял ее в обратном.

Однажды, чтобы подбодрить ее, я сказал ей:

— Ты выздоровеешь, уверяю тебя. Встанешь с постели сама, без всякой помощи. Через месяц будешь чувствовать

себя хорошо и придешь одна в мой дом на краю поселка повидать меня.

Старушка действительно поправилась, и через месяц я услышал, как кто-то стучится в дверь. Это была Мария, которая запомнила мои слова и пришла поблагодарить и благословить меня. Она пришла нагруженная подарками: сухими фигами, колбасой и сладкими лепешками, сделанными ее собственными руками. Это была очень приятная женщина, рассудительная, полная материнской нежности, разумная в разговорах, и на ее старом, морщинистом лице было выражение своеобразного терпеливого и всепонимающего оптимизма. Я поблагодарил ее за подарки и пригласил посидеть; вскоре я, однако, заметил, что крестьянка чувствует себя все более неловко, переминается с ноги на ногу, поглядывает на дверь, точно хочет убежать, но не смеет. Сначала я не понимал причины; потом я сообразил, что старушка вошла ко мне одна, в то время как другие женщины приходили на осмотр или чтобы пригласить меня всегда вдвоем или, по крайней мере, в сопровождении девочки, чем также проявляли уважение к обычаю, сводя его почти что к символу; и тогда я заподозрил, что именно в этом была причина беспокойства старушки. Она сама подтвердила это. Она считала меня своим благодетелем, своим чудесным спасителем; она бы бросилась за меня в огонь: я вылечил не только ее, стоявшую одной ногой в могиле, но и ее самую любимую внучку, болевшую тяжелым воспалением легких. Я ей сказал, чтобы она одна пришла ко мне, когда будет хорошо себя чувствовать. Я подразумевал под этим, что у нее не будет необходимости опираться на кого-нибудь, но добрая старушка поняла это буквально и не осмелилась нарушить мое приказание. Поэтому она никого не позвала с собой; она принесла мне большую жертву и теперь беспокоилась, потому что быть со мной, несмотря на очевидную невинность нашего свидания, было уже само по себе серьезным нарушением обычая. Я засмеялся, она тоже рассмеялась, но сказала, что обычай старше нас обоих, и ушла довольная.

Нет обычая, правила или закона, который не уступил бы неприятной необходимости или могучему желанию; поэтому практически и этот обычай сводится к формальности; но формальность уважают. Все же этот край велик, жизненные случайности многочисленны, и всегда найдутся содействующие этому старые сводни и податливые юноши. Женщины, закутанные в вуали, похожие на диких зверей,

думают о физической любви как о чем-то вполне естественном и говорят о ней с удивительной свободой и простотой. Когда проходишь мимо них по дороге, они искоса смотрят на тебя пронизательными черными глазами, оценивая твои мужские достоинства, и ты слышишь потом, за спиной, как они бормочут свое суждение, похвалы твоим скрытым красотам. Если ты оборачиваешься, они закрывают лицо руками и смотрят на тебя сквозь пальцы. Никакое чувство не примешивается к этому потоку желания, исходящему из глаз и как бы наполняющему воздух этого края, — разве только покорность судьбе, высшей силе, которую нельзя отвратить. Даже любовь сопровождается скорее не энтузиазмом или надеждой, а чем-то вроде смирения. Так как случай может ускользнуть, нельзя упускать его. К соглашению приходят быстро и без слов. То, что рассказывают, что я сам знал относительно свирепой суровости обычаев, о турецкой ревности, о диком понятии семейной чести, часто доводящем до преступления и кровавой мести, для тех мест не больше чем легенда. Может быть, в недалекие времена это было и так, и доказательством тому служила строгость обычаев. Но эмиграция изменила все. Мужчин мало, и этот край принадлежит женщинам. У большей части женщин мужа в Америке. Муж пишет первый год, пишет второй, потом письма перестают приходить — может быть, у него там другая семья, и тогда он, конечно, исчез навсегда и не вернется. Жена ждет его первый год, ждет второй, потом представляется случай и родится ребенок. Большая часть детей незаконные; авторитет матери господствует. В Гальяно тысяча двести жителей, в Америке две тысячи гальянцев. В Грассано пять тысяч жителей и почти столько же грассанцев в Соединенных Штатах. В деревнях остается гораздо больше женщин, чем мужчин. Кто отец ребенка — это не может иметь решающего значения, чувство чести оторвалось от отцовства, господствует матриархат. В течение всего дня мужчины далеко и поселок оставлен женщинам, этим королевам-птицам, которые царствуют над толпой копошащихся ребятишек. Матери любят, обожают, балуют детей, трепещут, когда они болеют, годами кормят грудью, не оставляют их ни на минуту, носят с собой на руках или за черной шалью на спине, когда, выпрямившись, с кувшином на голове возвращаются от источника. Много детей умирает, некоторые преждевременно взрослеют, заболевают малярией, делаются желтыми и грустными; дети растут, становятся мужчинами, уезжают на

войну или в Америку или остаются здесь, чтобы жить, как животные, все дни года гнуть спину под солнцем.

Но если незаконные дети не являются позором для женщин, то, естественно, еще менее они позорят мужчин. Почти у всех священников есть дети, и никто не находит, что это позор для их звания. Если бог не приберет детей малютками, их воспитывают в колледжах Потенцы или Мельфи. Почтальон Грассано, добрый, чуть прихрамывающий старичок с усами, закрученными вверх, был знаменит и уважаем в поселке, потому что у него, по слухам, было, как у Приама, пятьдесят детей. Из них двадцать два или двадцать три были от двух или трех его жен; другие, жившие в поселке и недалеко от него, во всяком случае, некоторые из них, несправедливо приписывались ему; но он о них не заботился и о существовании многих даже не подозревал. Его звали «король» — то ли из уважения к его мужской силе, то ли за его монархические усы, — а его сыновей «принцами». Преобладающие матриархальные отношения, естественная животная любовь, эмиграция, нарушавшая жизненный уклад, должны были все же считаться с остатками семейных устоев, с очень сильным кровным чувством, со старыми обычаями, запрещающими общение между мужчинами и женщинами. В мой дом для услуг могли войти лишь такие женщины, которые почему-либо освобождались от обязательства следовать общим правилам; это те женщины, у которых было много детей от неизвестных отцов, которые хотя и не могут быть названы проститутками (такой профессии в поселке не существует), но все же ведут себя весьма вольно и занимаются не только любовными утехами, но и магическими заклинаниями, чтобы привлечь любовь, иначе говоря — ведьмы.

Таких женщин было, по крайней мере, около двадцати в Гальяно; но, сказала мне донна Катерина, некоторые слишком грязны и распущенны, другие неспособны прилично вести хозяйство, третьи должны обрабатывать землю, четвертые уже служат у других синьоров поселка.

— Только одна вам годится, она не грязнуля, честная, умеет готовить, к тому же дом, где вы будете жить, в некотором смысле ее дом. Она жила в нем много лет с покойным священником до самой его смерти.

Я решил пойти к ней; она согласилась работать у меня и явилась в мой дом. Джулии Венере, которую здесь звали Джулия из Сантарканджело, потому что она родилась

В этом белом селении по ту сторону Агри, был сорок один год, она перенесла семнадцать беременностей (включая и нормальные роды и аборт) от пятнадцати различных отцов. Первого сына она родила от мужа во время большой войны; потом муж уехал в Америку, забрав с собой мальчика; так они и исчезли без вести в этой стране. Другие дети появились после: двое близнецов, родившихся преждевременно, были от священника. Почти все ее дети умирали маленькими. Я видел только девочку двенадцати лет, которая работала в соседнем селении в одной пастушеской семье и время от времени приходила к матери. Девочка была похожа на дикую козочку — черные глаза и кожа, черные растрепанные, падающие на лицо волосы; она была молчалива, смотрела всегда злобно и недоверчиво, ничего не отвечала, когда ее спрашивали, и была готова убежать, как только чувствовала на себе чей-нибудь взгляд. Был еще у Джулии самый младший — двухлетний толстый и крепкий Нино, которого она всегда носила с собой, закутанного в шаль; отец его так и остался для меня неизвестным.

Джулия была высокая, хорошо сложенная женщина с крепкой грудью и боками и с тонкой, как у амфоры, талией. В молодости она, наверное, блистала красотой, особой, дикой и величественной красотой. Годы избороздили ее лицо морщинами, а малярия сделала его желтым, но в его строгих чертах оставались следы былой красоты, как в стенах античного храма, потерявшего мраморные украшения, сохраняются нетронутыми формы и пропорции. Над ее величественной, стройной фигурой, дышащей животной силой, возвышалась маленькая голова удлиненной, овальной формы, окутанная вуалью. Лоб был высокий и прямой, наполовину прикрытый прядью гладких, прилизанных, очень черных волос; белок ее миндалевидных глаз, черных, без блеска, был покрыт сетью голубых и коричневых жилок, как у собаки. Нос был длинный и тонкий, чуть с горбинкой; широкий рот с тонкими бледными губами и горькой складкой открывался в злой усмешке и показывал два ряда ослепительно белых зубов, крепких, как у волка. Это был ярко выраженный архаический тип лица, не в греческо- или римско-классическом стиле, а напоминающий более таинственную и жестокую древность, возросшую на этой земле, не смешиваясь и не соединяясь с другими людьми, прикованную к почве и к извечным богам животного мира. Холодная чувственность,

мрачная ирония, прирожденная жестокость, непостижимое упорство и полная силы пассивность — все это придавало этому лицу выражение одновременно суровое, умное и злое. Развевались вуаль и широкая короткая юбка, прикрывавшая длинные крепкие, как древесные стволы, ноги; медленно, размеренно двигалась высокая, исполненная гармонии фигура Джулии, а над ней, над этой монументальной материнской основой, высоко поднималась гордая маленькая черная головка змен.

Джулия пришла в мой дом охотно, как королева, возвращающаяся после короткой отлучки, во время которой она посетила некоторые из своих любимых владений. Здесь она жила столько лет, здесь у нее родились дети, здесь она царствовала в кухне и в постели священника, который подарил ей золотые кольца, висевшие у нее в ушах. Она знала все тайны этого дома — в камине плохая тяга, вон то окно не закрывается, а там в стене гвозди. Тогда весь дом был заставлен мебелью, ломился от провизии, вина, солений, варений и всякой божьей благодати. Теперь он был пуст, стояли только постель, несколько стульев, кухонный стол. Печки не было, еду надо было готовить в камине. Но Джулия знала, где добыть необходимое, где достать дрова и уголь, у кого занять бочонок для воды, пока какой-нибудь бродячий торговец не привезет их в поселок. Джулия знала всех и все, в домах Гальяно не было для нее секретов, она знала дела каждого обитателя, самые интимные подробности жизни каждой женщины и каждого мужчины, их чувства и самые скрытые побуждения. Она принадлежала к женщинам старых времен, как если бы ей было сто лет, и поэтому ничего не могло быть для нее тайной; ее знание жизни не было ни добродушной, вошедшей в общую традицию, богатой пословицами умудренностью старушек, ни основанной на слухах болтовней сплетниц; это было нечто вроде холодного, пассивного знания, в котором жизнь отражалась без милосердия и нравственных заключений; ни сострадания, ни осуждения нельзя было заметить в ее двусмысленной улыбке. Она была, как животные, духом земли; ее не пугали ни поздний час, ни усталость, ни люди. Она умела без особого усилия носить самые большие тяжести, как и все здешние женщины, которым приходится выполнять тяжелую мужскую работу. Она ходила к источнику с тридцатилитровым бочонком и приносила его полный на голове, не поддерживая руками, в которых держала ребенка, взбираясь по крутой дороге с дьявольским

равновесием козы. Она разводила огонь по-крестьянски, используя мало дров, поджигая сухие стебли с одного конца и подвигая их рукой, по мере того как они сгорали. На этом огне она готовила из скудных деревенских продуктов вкусные блюда. Головы коз она приготавливала в глиняном горшке; клала угли под крышку и сверху, после того как добавляла в мозг яйцо и душистые травы. Из кишок делала нѣмуриелли *, закручивая их, как веревочные узлы, вокруг куска печени или сала с лавровым листом и поджаривая на огне, нанизав на вертел; запах жженого мяса и серый чад распространялись по дому и по улице, как бы возвещая о варварских наслаждениях. Джулия была мастерица составлять таинственные зелья; девушки прибегали к ней за советом, как приготовить любовные приманки. Она знала травы и силу магических предметов. Умела лечить болезни колдовством и могла заставить умереть кого захочет при помощи одних только страшных заговоров.

У Джулии был свой дом, недалеко от моего, немного ниже, по направлению к тимбоне Мадонны дельи Анджели. Там она спала ночью со своим последним любовником — цирюльником, белобрсым юношей с красными кроличьими глазами. Она стучалась ко мне в дверь рано утром, держа ребенка, шла за водой, зажигала огонь, готовила обед и уходила в полдень; вечером я должен был сам готовить себе ужин. Джулия приходила, уходила, снова появлялась по собственному желанию, но она уже не чувствовала себя хозяйкой дома. Она тотчас же поняла, что времена теперь не те и я совсем не такой человек, как ее старый священник; может быть, я был для нее более загадочным, чем она могла быть для меня. Она считала меня всемогущим и была довольна этим, потому что сама была очень пассивна. Холодная, невозмутимая, жестокая крестьянка-ведьма была верной служанкой.

Так кончился первый период моей гальянской жизни, прошедший в Верхнем Гальяно в доме вдовы. Довольный новизной одиночества, я лежал, растянувшись, на террасе и следил за тенью облаков, скользивших по далеким хребтам, как корабли по морю. Я слышал в комнатах внизу шум шагов Джулии и лай собаки. Эти два странных существа, ведьма и Барон, стали с тех пор привычными спутниками моей жизни.

* На местном диалекте «колбаски». — *Прим. перев.*



В сентябре кончалась сильная жара и появлялись первые предвестники осенней свежести. Ветры меняли направление, и палящий жар пустынь сменялся смутным запахом моря; на закате над горами Калабрии в воздухе, исчерченном полетами ворон и летучих мышей, часами горели красные полосы. Бескрайнее небо над моей террасой было покрыто движущимися облаками; мне казалось, что я нахожусь на крыше мира или на палубе корабля, бросившего якорь в окаменелом море. На востоке, на горе, хижины Нижнего Гальяно прятали от взглядов остальной поселок, расположенный на ребре то поднимающейся, то опускающейся земляной волны, отчего поселок нельзя ниоткуда увидеть целиком. За желтоватыми крышами виднелся склон горы, находившейся над кладбищем; за ним, ближе к горизонту, чувствовалась пустота долины. Слева от меня, на юг, был тот же вид, что из дворца: светлые пятна селений на бесконечном пространстве глины, до самых границ невидимого моря. Справа от меня, на север, к пропасти, зажатый в горах, спускался голый опаленный склон; вниз вела тропинка, по которой двигались крестьяне, шедшие в поля и возвращавшиеся обратно, и они казались не больше муравьев. Джулия удивлялась, что я на таком расстоянии могу отличить гальянцев от чужих, крестьян от бродячих торговцев; и какое бы у меня ни было хорошее зрение, я мог это сделать, по ее мнению, либо благодаря предвидению, либо с помощью волшебства. А я просто заметил различие в их походке: крестьяне шли как одеревенелые, не размахивая руками. Всякий раз, когда я видел, что одна из этих черных точек движется, колеблясь и покачиваясь, точно танцует, я мог быть уверен, что это кто-нибудь из города; вскоре труба глашатая-могильщика сообщит о его приходе и зовет женщин покупать товары.

Передо мной, к западу, за зелено-серой листвою фигового дерева и крышами последних хижин, построенных по склону, поднимался тимбоне Мадонны дельи Анджели — земляной холм, усеянный пещерами и выступами, с редкой травой на менее крутых склонах, похожий на кость мертвеца, на верхнюю часть гигантского бедра, на котором еще висят сухие куски мяса и кожи. Слева от тимбоне по направлению к Агри, где поверхность становилась ровнее, до места, называемого Пантано, тянулась вдаль цепочка невысоких гор, ям, складки береговых валов, намытых водой, естественные гроты, косягоры, рвы, холмики белой глины, как если бы вся земля была мертва и под солнцем остался только побелевший вымытый водами ее скелет.

За этим пустынным скелетом прятался Гальянелло под небольшим возвышением над маляринной речкой, а дальше виднелось каменистое русло Агри. За Агри на первой цепи серых холмов белел поселок Сантарканджело, родина Джулии, а за ним, уже совсем голубые, возвышались новые и новые холмы, выстроившиеся рядами, с поселками, неясно различимыми на расстоянии, а еще дальше — селения албанцев на первых склонах Поллино и наконец горы Калабрии, замыкавшие горизонт. Немного влево и чуть повыше Сантарканджело, на середине склона холма белела церковь. Сюда сходились на богомолье жители долины; это было очень почитаемое место, здесь находилась чудотворная Мадонна. В церкви сохранялись рога дракона, опустошавшего в древние времена всю окрестность. Все в Гальяно видели их. Я, к сожалению, не мог отправиться туда, хотя мне хотелось бы посмотреть на них. Дракон, как мне рассказывали, жил в пещере у реки, пожирал крестьян, отравлял землю своим ядовитым дыханием, похищал девушек, уничтожал посевы. В те времена совершенно невозможно было жить в Сантарканджело. Крестьяне пытались защищаться, но ничего не могли поделать против этой чудовищной звериной силы. Доведенные до отчаяния, вынужденные скитаться, как животные, по горам, они решили наконец обратиться за помощью к самому могущественному синьору этих мест — к князю Колонна из Стильяно.

Князь, вооруженный с головы до ног, приехал на коне, отправился к пещере дракона и вызвал его на бой. Из пасти чудовища вылетало пламя, его огромные крылья были похожи на крылья летучей мыши, а сила его была так велика,

что, казалось, меч князя ничего не мог сделать против нее. Наступил момент, когда храбрец почувствовал трепет в сердце и готов был бежать или упасть в когти дракона; и тогда перед ним появилась одетая в голубое Мадонна, которая сказала ему с улыбкой: «Мужайся, князь Колонна!» — и, стоя в стороне, опираясь на земляную стену пещеры, стала наблюдать за битвой. При этом видении и этих словах мужество князя возросло во сто раз, и он так сражался, что дракон упал мертвый к его ногам. Князь отрубил ему голову, срезал с нее рога и приказал построить церковь, где они должны были храниться вечно.

Страх исчез, страна была освобождена, и жители Сантарканджело вернулись в свои дома; вернулись и бежавшие в горы жители Ноэполи и Сенизы и других окрестных местечек. Теперь надо было отблагодарить князя за его услугу: в те далекие времена синьоры, как бы они ни были благородны и ни любили славу, как бы они ни были охраняемы самой Мадонной, все же не желали ничего делать даром. Тогда обитатели всех селений, освобожденных благодаря смерти дракона, собрались, чтобы обсудить этот вопрос. Жители Ноэполи и Сенизы предложили отдать часть своих земель в феодальное владение князю; но жители Сантарканджело, которые и сейчас слышат скупыми и хитрыми, не пожелали отдать землю, а предложили другое.

— Дракон,— сказали они,— жил в реке, это было водяное чудовище. Пусть же князь возьмет реку и станет ее хозяином.

Их совет был принят: князю Колонна предложили Агри, и он согласился. Крестьяне Сантарканджело думали, что им удалось дешево заплатить и обмануть своего спасителя, но они плохо рассчитали. Воды Агри служили для орошения полей, и с тех пор пришлось платить за нее и князю и феодалам, его наследникам во все века. Так возникло рабство, которое сохранялось до середины прошлого столетия. Не знаю, существуют ли еще прямые потомки этого древнего паладина и хвастают ли еще они своими правами на воду. Один мой друг, Колонна, дирижер оркестра, который происходил от другой ветви князей из Стильяно и мог бы носить их титул, не знал даже, когда я много лет спустя говорил с ним об этом, где находится Стильяно, его феодальное владение, и тем более ничего не знал о драконе, принесшем славу его семье. Но крестьяне, которые долгие века платили за воду и которые до сих пор ходят на богомолье, чтобы

взглянуть на рога чудовища, помнят и о драконе, и о Мадонне, и о князе.

То, что в этих местах были драконы в средние века (крестьяне и Джулия, рассказывавшие мне о них, говорили: «в далекие времена, больше ста лет назад, задолго до разбойников»), в этом нет ничего удивительного: не было бы удивительно даже, если бы они теперь появились перед испуганными взорами крестьянина. Все, действительно, возможно здесь, где старинные божества пастухов, ритуальные козел и ягненок, бегают каждый день по знакомым улицам, и нет никакой надежной границы между человеческим миром и таинственным миром животных и чудовищ. Есть в Гальяно много необычных существ, обнаруживающих свою двойную природу. Женщина, крестьянка средних лет, замужняя, имеющая детей, в которой на первый взгляд не заметно было ничего особенного, была дочерью коровы. Так утверждали все в поселке, и крестьянка сама не отрицала этого. Все старики помнили ее мать-корову, которая следовала за ней повсюду, когда она была девочкой, звала ее своим мычанием и облизывала шершавым языком. Это, конечно, не исключало и того, что существовала также мать-женщина, которая теперь умерла, как много лет назад умерла мать-корова. Никто не находил в этой двойной природе и в двойном рождении никакого противоречия; и крестьянка, которую я сам знал, жила, как и ее обе матери, мирно и спокойно, несмотря на свое полузвериное происхождение.

Некоторые приписывают эту смесь человеческого и звериного только особым обстоятельствам. Сомнамбулы становятся волками, оборотнями, в которых уже нельзя отличить человека от зверя. Было несколько таких и в Гальяно; они выходили в зимние ночи, чтобы встречаться со своими братьями, настоящими волками.

— Они выходят ночью,— говорила мне Джулия,— сначала людьми, но потом становятся волками и собираются все вместе с настоящими волками вокруг источника. Нужно быть очень осторожным в час их возвращения домой. Когда они стучат в дверь первый раз, жена не должна открывать. Если откроет, то увидит мужа еще волком и тот ее пожрет и навсегда убежит в лес. Когда постучат во второй раз, жена тоже не должна открывать, а то увидит мужа уже человеком, но с волчьей головой. Только когда постучат в дверь в третий раз, можно открыть — тогда превращение уже совершилось: волк исчез и появился прежний человек.

Никогда нельзя открывать, пока не постучат три раза. Нужно подождать, чтобы они переменялись, потеряли свирепый взгляд волка и даже память о том, что были зверями. Потом они уже больше ни о чем не помнят.

Двойная природа иногда ужасна и отвратительна, как у оборотней, но в то же время полна таинственного очарования, вызывает благоговение, как все, что связано с божеством. Нечто в этом роде испытывали все в поселке по отношению к моей собаке, на которую они смотрели не как на обычную собаку, а как на необыкновенное существо, отличное от всех других собак и достойное особого уважения. И я тоже, впрочем, всегда думал, что в ней есть что-то детски-ангельское или бесовское и что крестьяне правы, находя в ней двойственность, внушающую почтение. Уже само ее происхождение было таинственно. Пес был найден в поезде, на дороге между Неаполем и Таранто, с дощечкой, прикрепленной к ошейнику, на которой было написано: «Мое имя Барон. Кто меня найдет, пусть позаботится обо мне». Так и не удалось узнать, откуда он явился; может быть, он был из большого города и был сыном короля. Его взяли железнодорожники и держали некоторое время на станции Трикарико; железнодорожники Трикарико подарили его железнодорожникам станции Грассано. Подеста Грассано увидел его, забрал у железнодорожников и держал у себя в доме со своими детьми, но так как пес был очень шумным, он подарил его своему брату, секретарю профсоюза крестьян Грассано, который постоянно возил его с собой по деревням. Все знали Барона, и все в Грассано считали его необыкновенным существом.

Когда я жил в Грассано, мне как-то раз случилось сказать своим друзьям — крестьянам и ремесленникам, что мне бы хотелось иметь для компании собаку. На следующий день они принесли мне щенка — обычную желтую охотничью собаку. Я его держал некоторое время, но он мне не понравился; я никак не мог воспитать его, он всюду пачкал и был как будто не слишком умен; поэтому я вернул его тем, кто мне его подарил, и не думал больше о собаках. Но когда неожиданно пришел приказ отправиться в Гальяно, все эти добрые люди, привязавшиеся ко мне, были очень опечалены и рассматривали приказ как несправедливо обрушившееся на них несчастье; крестьяне хотели сделать мне такой подарок, который я мог бы взять с собой, чтобы он напоминал мне о хороших людях в Грассано, желавших мне добра.

Они вспомнили о моем прежнем желании, о котором я уже успел забыть, и решили подарить мне собаку. По их мнению, ни одна собака не была достойна меня, кроме знаменитого Барона; и Барон должен был стать моим. Они долго просили и хлопотали и наконец убедили хозяина отдать пса, вычистили его, вымыли, нашли ему красивый ошейник, намордник и поводок. Антонино Розелли, молодой цирюльник и флейтист, который мечтал ездить со мной по свету в качестве секретаря, подстриг его подо льва,—спереди оставил длинную шерсть, сзади обрил, а на конце хвоста выстриг большую длинную кисточку; такой облагороженный, белый, надушенный и преображенный, Барон, неистовый Барон, был подарен мне на добрую память о славном городе Грасано за день до моего отъезда. Когда он предстал предо мной таким похорошевшим и преображенным, я уже не мог понять, какой он был породы: он казался мне странной смесью пуделя со сторожевой. На самом деле он был, вероятно, сторожевой собакой, но особой породы или необычайной помесью; я больше нигде не встречал ему подобных. Он был средней величины, весь белый с черными пятнами на концах ушей, очень длинных, свисавших на очень красивую морду, напоминавшую пасть китайских драконов, страшную, когда он скалил зубы в ярости; не поворачивая головы, он следил за мной круглыми человеческими орехового цвета глазами с выражением то нежности, то своенволия, то детской загадочной игривости. Шерсть у него была длинная, почти до самой земли, кудрявая, мягкая и блестящая, как шелк; хвост, согнутый дугой и развевавшийся на ветру, как султан на кивере восточного воина, был толстый, как у волка. Это было веселое, своевольное и дикое существо; он был привязан ко мне, но не раболепствовал; слушался, но сохранял свою независимость; сумасброд и непоседа, ласковый, добродушный, но, по существу, непостижимый. Он не столько ходил, сколько скакал большими прыжками, встряхивая ушами и шерстью; прыгал за бабочками и птицами, пугал коз, дрался с собаками и кошками, посылся один по полям вслед за облаками, всегда возбужденный, точно играл в какую-то воздушную игру или гонялся за волнообразной нитью невинных нечеловеческих мыслей; он был воплощением причудливого духа лесов.

С самого нашего приезда в Гальяно мой необычный спутник приковал к себе всеобщее внимание, и крестьяне, находящиеся во власти дикого колдовства, сразу отметили его за-

гадочную природу. Они никогда не видели подобного животного; в поселке были только непородистые ищейки, встречались хорошие охотничьи, но жалкие, забытые, плебейские; редко пройдет за стадом и пастухами какой-нибудь свирепый бо-лотный пес с торчащими для защиты от укусов волков железными шипами на ошейнике. И потом, моего пса звали Барон. В этих местах имена кое-что значат; в них заключается магическая сила; слова для крестьян не условность, не дуновение ветра, а реальность, нечто действующее. Он на самом деле был для них барон, синьор, могущественное существо, которое надо было уважать. Если с первого дня крестьяне смотрели на меня с симпатией и даже восхищением, я, конечно, обязан был этим отчасти моему псу. Когда он пробежал с лаем, скача как сумасшедший, бездумно, естественно, свободно, крестьяне показывали на него пальцем, а мальчишки кричали: «Смотри! Смотри! Полубарон, полулев»*. Барон был для них геральдическим животным, львом с поднятой лапой на щите рыцаря. И в то же время — только псом, животным, как все другие. Но эта его двойная природа была удивительной. И я тоже любил его за это естественное многообразие. Теперь он мертв, как и мой отец, которому я его подарил, и похоронен под миндальным деревом на берегу Лигурийского моря, в той моей земле, куда я не могу ступить ногой, ибо, кажется, власть имущие в своем священном ужасе открыли, что и во мне заключена двойная природа, что и я полубарон, полулев.

Для крестьянина все имеет двойной смысл. Женщина-корова, мужчина-волк, Барон-лев, коза-дьявол — это только наиболее определенные и отчетливые образы; но каждый человек, каждое дерево, каждое животное, каждый предмет, каждое слово заключает в себе двойственность. Только разум и вместе с ним религия и история имеют один смысл. Но ощущение бытия, искусства, языка, любви многообразно до бесконечности. В мире крестьянина нет места для разума, религии и истории. Нет места для религии, потому что все — частица божественного, потому что все реально, а не символически божественно: как небо, так и животные, как Христос, так и коза. Все настоящее волшебство. Даже церковные церемонии становятся языческими обрядами, прославляющими единое существование вещей, бесчисленных земных богов поселка.

* По-итальянски эти слова рифмуются: Mezzo barone, mezzo leone.—
Прим. перев.

Была середина сентября, воскресенье Мадонны. С самого утра крестьяне, одетые в черное, заполнили улицы; здесь были и чужие — музыканты из Стильяно, пиротехники из Сантарканджело, которые должны были изготовить бомбы и ракетницы.

Небо было ясным и легким, и время от времени по воздуху долетал вместе с похоронным звоном колоколов звук выстрела. Крестьяне, вооруженные блестящими ружьями, открыли праздник. После полудня, когда спала жара, началась процессия. Она вышла из церкви и прошла по всему поселку. Поднялась к кладбищу, потом спустилась на главную площадь, затем на маленькую площадь, вниз, до Нижнего Гальяно, до самой разрушенной церкви Мадонны дельи Анджели, чтобы пройти обратно по той же дороге и возвратиться в церковь. Впереди шли юноши с шестами, на которых вместо знамен были прикреплены куски холста, белые простыни, и они размахивали ими; затем шли музыканты из оркестра Стильяно с большими блестящими трубами. А под балдахином, поддерживаемым двумя длинными жердями, которые несли по очереди дюжина мужчин, двигалась Мадонна. Бедная картонная раскрашенная Мадонна, скромная копия знаменитой и могущественной Мадонны ди Виджано, чернотелая, как и та; она была одета в праздничное одеяние, убрана ожерельями и браслетами. За Мадонной шел дон Трайелла в белой епитрахили, надетой на старую грязную сутану; у него был тот же усталый, изнуренный и скучающий вид. Потом шли подеста и бригадир, потом синьоры, потом женщины все вместе с развевающимися белыми вуалями, дети и крестьяне. Подул сильный свежий ветер, поднявший тучи пыли; он развевал юбки, вуали и знамена; быть может, пойдет дождь, столь желанный, но тщетно призываемый в течение долгих месяцев жары. Когда проходила процессия, с треском стрелял двойной ряд ракетниц, установленных вдоль всей улицы. Зажигались фитили, вспыхивали полоски пороха, слышались взрывы бомб, на порог выходили крестьяне с ружьями и стреляли в воздух. Непрестанно раздавались треск и взрывы, прерываемые только неожиданным грохотом какого-нибудь более сильного заряда, будившего эхо в обрывах. Этот шум, похожий на шум сражения, заставлял светиться глаза людей не счастьем или религиозным экстазом, а чем-то вроде безумия, языческой экзальтации, всеобщего изумления. Все были возбуждены. Животные испуганно металась, козы скакали, ослы ревели,

собаки лаяли, дети вопили, женщины пели. В дверях своих домов крестьяне ждали процессию с корзиной зерна, которое они полными пригоршнями бросали в Мадонну, когда ее проносили, чтобы она вспомнила о посевах и принесла удачу. Зерна летели по воздуху, падали на камни мостовой и отскакивали с легким шумом, как град. Среди зерен и животных, выстрелов и труб черноликая Мадонна была похожа не на милосердную мать божию, а на подземное божество, покрытое тенью от чрева земли, деревенскую Персефону, адскую богиню жатвы.

Перед некоторыми домами, там, где улица расширялась, были приготовлены столы, покрытые белыми скатертями, как маленькие деревенские алтари. Процессия останавливалась около них, дон Трайелла бормотал какие-то благословения, и крестьяне и женщины торопливо приносили дары: прикрепляли к одеждам Мадонны монеты, бумажки в пять или десять лир, даже доллары — ревниво сбереженные остатки заработанных в Америке денег. Но большинство вешали ей на шею огромные ожерелья сухих фиг или клали к ее ногам фрукты и яйца и бежали за другими подарками, а процессия уже двигалась дальше, толпа все увеличивалась, все громче было гromыхание труб, выстрелы и крики. Чем дальше шла процессия, тем более многочисленной и шумной она становилась; наконец, пройдя через весь поселок, она вернулась в церковь. Упало несколько крупных капель дождя, но вскоре ветер разогнал тучи, гроза прошла стороной, и снова, вместе с первыми вечерними звездами, вернулась безоблачность. Зрелище фейерверка не было испорчено. Все торопливо проглядывали что-нибудь. И как только стемнело, все устремились к краю пропасти, откуда на глубине нескольких метров должны были взорваться бомбы. Тогда-то я и увидел юношей, которые взбирались на крышу монумента на маленькой площади, чтобы лучше насладиться зрелищем. В честь Мадонны даже нам, ссыльным, позволено было остаться лишний час на улице. Был великий день, праздник жатвы, вечер огня. Было истрачено три тысячи лир на фейерверк — и это в плохой год. Иногда тратили пять и даже шесть тысяч; поселки более крупные тратят в дни своих святых еще больше. Три тысячи лир для Гальяно — это невероятная цифра, сбережения целого полугодия, но на фейерверк их бросают охотно, и никто об этом не жалеет. После долгих споров решили пригласить наиболее

известных пиротехников провинции; если бы было больше денег, пригласили бы из Монтемурро или из Феррандины, но пришлось довольствоваться пиротехниками Сантарканджело, которые, впрочем, оказались очень неплохими. И вот под аплодисменты, крики ужаса и восхищения женщин и детей поднялась прямо в небо, усеянное звездами, римская свеча, затем другая, потом еще и еще; вертящееся колесо, бенгальские огни, бомбы, большие золотые дожди — чудесное зрелище!

Было уже десять часов, я должен был возвращаться домой. С моей террасы я еще долго смотрел на огни, взлетавшие и с шипением падавшие на глину тимбоне, и слушал шум взрывов. Барон возбужденно глядел вверх и лаял при взрывах. Потом — быстрый взлет двадцати огней сразу, большой финальный удар; и я услышал стук шагов по камням, хлопанье дверей — люди постепенно начали расходиться. Сельский праздник с его лихорадочным, пламенеющим возбуждением кончился; животные уснули, и в поселок, окутанный мраком, снова вернулось молчание.



Но дождя не было и в следующие дни, несмотря на молебен, на призывы донна Трайеллы и ожидания крестьян. Земля была слишком твердой, чтобы обрабатывать ее, оливы начали сохнуть на изнывающих от жажды деревьях; но черноликая Мадонна оставалась бесстрашной, равнодушной природой, чуждой милосердия, глухой к мольбам. А между тем в воздаваемых ей почестях не было недостатка. Правда, они гораздо больше походили на почести, воздаваемые Могуществу, а не Милосердию. Эта черноликая Мадонна, как земля, может сделать все: разорить и привести в цветущее состояние; но она никого не признает и движет временами года по своей непостижимой воле. Черноликая Мадонна для крестьян не добрая и не злая, а гораздо больше. Она напускает засуху и обрекает на смерть, но она и кормит и защищает; нужно поклоняться ей. Мадонна ди Виджано с большими невидящими глазами на черном лице взирает на жизнь во всех домах, прибитая четырьмя гвоздями к стене у изголовья кровати.

Дома крестьян совершенно одинаковые: единственная комната, которая служит одновременно кухней, спальней и почти всегда хлевом для мелкого домашнего скота, если рядом с домом нет специального сарайчика, который здесь называют греческим словом «catoico». С одной стороны — печь, в которой готовят пищу, зажигая хворост, приносимый ежедневно с полей; поэтому стены и потолок черны от дыма. Свет проникает через дверь. Комната почти целиком заполнена громадной постелью, гораздо больше обычной двухспальной кровати, на постели спит вся семья — отец, мать и дети. Самые младшие, пока их кормят грудью, до трех-четырех лет, лежат в маленьких колыбельках или корзинках из ивовых прутьев, подвешенных на веревках к потолку, чуть повыше кровати. Чтобы покормить грудью, матери не надо вставать, достаточно протянуть руку и взять ребенка к

груди; потом она опять кладет его в колыбель и одним ударом руки заставляет ее долго качаться, как маятник, пока ребенок не перестанет плакать.

Под кроватью помещаются животные. Пространство, таким образом, разделено на три этажа: на земле животные, на постели люди, а выше — грудные дети. Я наклонялся над постелью, чтобы выслушать больного или сделать впрыскивание женщине, стучавшей зубами от малярийной лихорадки и курившей из-за этого; головой я стучался о подвешенные люльки, а между ног неожиданно пробегала свинья или испуганная курица. Но что меня всегда поражало (а я теперь побывал в большей части домов), это устремленные на меня со стены над кроватью взгляды двух неразделимых идиолов-покровителей. С одной стороны черное хмурое лицо и большие нечеловеческие глаза Мадонны ди Виджано; с другой, напротив, цветная картинка, на которой виднелись живые глаза за блестящими очками, широкий ряд зубов, открытых в приветливой улыбке. Это был портрет президента Рузвельта. Я никогда не видел ни в одном доме никаких других изображений: ни короля, ни Муссолини, ни тем более Гарибальди или какого-нибудь другого знаменитого итальянца, каких-нибудь святых, которые тоже могли бы с некоторым основанием висеть здесь; но Рузвельт и Мадонна ди Виджано присутствовали всегда. Когда смотришь на эти лубочные картинки, висящие друг против друга, кажется, что это два вида власти, между которыми поделена вселенная, но стороны действительно переменились ролями. Мадонна была здесь свирепая, безжалостная, темная архаическая богиня земли, владычица сатурналий этого мира; президент — нечто вроде Зевса, благосклонно улыбающегося божка, хозяин другого мира. Иногда третье изображение составляло с этими двумя нечто вроде троицы: бумажный доллар, последний из привезенных оттуда или присланный в письме мужем или родственником, был приколот гвоздиком к стене под изображением Мадонны или президента или между ними, как некий святой дух, посланец неба в мир мертвецов.

Для жителей Лукании Рим — это ничто, это столица синьоров, столица чужого и злонамеренного государства. Неаполь мог бы быть их столицей — и в какой-то мере является ею, — столицей нищеты, бледных лиц, лихорадочных глаз обитателей его подвалов, двери которых открыты летом в жару, полураздетых женщин, спящих на ступеньках

Толедо *. В Неаполе уже давно нет больше никакого короля, и если он появляется здесь, то только для того, чтобы погрузиться на пароход. Королевство кончилось; королевство этих людей, не знающих надежды, находится не на этой земле. Другой мир — это Америка. Но и Америка для крестьян имеет двойную природу. Это земля, куда едут работать, где обливаются потом и изнывают от труда, где немного денег сберегается ценой тысячи усилий и лишений, где люди иногда умирают и никто о них не вспоминает; но в то же время это, бесспорно, рай, обетованная земля.

Не Рим или Неаполь, а Нью-Йорк мог бы быть для Лукании настоящей столицей, если эти люди, не имеющие государства, могли бы обрести его. И так оно и есть — в единственном смысле, который существует для них, в смысле мифологическом. В силу своей двойной природы Америка как место для работы их не интересует: там живут, как и везде, как животные, впряженные в повозку, и совершенно безразлично, по каким дорогам ее тянуть; но как рай, как небесный Иерусалим, она недостижима, ее можно только созерцать из-за моря, не участвуя в ее жизни. Крестьяне уезжают в Америку и остаются такими, какими были; многие поселяются там навсегда и их дети становятся американцами; другие же, те, что возвращаются двадцать лет спустя, приезжают точно такими, какими уезжали. Спустя три месяца немногие английские слова забыты, немногие внешние привычки отброшены, и крестьянин становится прежним, подобно камню, по которому долгое время текли воды реки в разливе и который при первом луче солнца высох в несколько минут. В Америке они живут обособленно, поддерживают отношения только с земляками, не участвуют в американской жизни, годами едят один хлеб, как в Гальяно, чтобы отложить несколько долларов; они рядом с раем, но даже не пытаются войти в него. Потом, через какое-то время, возвращаются в Италию, думая побыть там немного, отдохнуть, повидаться с кумовьями и родными; но вот кто-нибудь предложит вам купить клочок земли, найдется девушка, которую вы знали еще девочкой, вы женитесь на ней, и так проходит шесть месяцев, после чего истекает срок разрешения вернуться назад, и приходится оставаться на родине. Купленная земля дорога, пришлось заплатить за нее сбережениями многих лет работы в

* Толедо — здесь улочка нищеты в Неаполе.— *Прим. перев.*

Америке, но нет на ней ничего, кроме глины и камней, а надо платить налоги, урожай не окупает расходов, рождаются дети, заболевает жена, и очень скоро возвращается нищета, та самая нищета, от которой вы бежали много лет назад. И вместе с нищетой возвращаются покорность, терпение и все старые крестьянские обычаи; вскоре эти «американцы» уже ничем не отличаются от других крестьян, разве что они более печальные да время от времени вздыхают об утраченных благах. В Гальяно много этих бывших эмигрантов; день возвращения рассматривается ими всеми как день траура. Тысяча девятьсот двадцать девятый год был страшным годом, и о нем все говорят как о катастрофе. Это был год кризиса в Америке, курс доллара упал, банки лопались; но это в общем не затрагивало наших эмигрантов, которые обычно помещали свои сбережения в итальянские банки и тотчас обменивали их на лиры. Но в Нью-Йорке была паника, некоторые агитаторы нашего правительства неизвестно почему заявляли, что в Италии всех ждет работа, богатство и процветание и они должны вернуться. Так очень многие в этот год траура дали убедить себя, бросили работу, сели на пароход, вернулись на родину и остались здесь, словно мухи, попавшие в паутину. И вот они опять крестьяне, у них есть осел и коза, вот они опять отправляются каждое утро к далеким малярийным окраинам. Некоторые сохранили ремесло, с помощью которого существовали в Америке; но здесь, в поселке, нет работы и царит голод.

— Будь проклят двадцать девятый год, будь проклят тот, кто уговорил меня вернуться,— говорил мне Джованни Пицилли, портной, измеряя в дюймах покатошь моих плеч по сложной, оригинальной современной американской системе, для того чтобы сшить мне охотничий костюм. Он был хороший ремесленник, очень опытный в своем деле, каких мало можно найти даже в самых знаменитых мастерских города, и он сшил мне за пятьдесят лир самый красивый бархатный костюм, какой я когда-либо носил. В Америке он зарабатывал хорошо, а теперь жил в нищете, у него было уже четверо или пятеро детей, он не надеялся больше подняться, и с его еще молодого лица исчезли всякие следы энергии и веры, оставив только безнадежное выражение тоски.

— Там у меня была мастерская и четыре работника. В двадцать девятом году я приехал сюда на шесть месяцев, женился и больше уже не выбрался; а теперь кроме этой

жалкой лавчонки у меня ничего нет, и я еле перебиваюсь, живу в нищете,— говорил мне цирюльник, человек с уже седыми волосами на висках, с серьезным и печальным лицом.

В Гальяно было три парикмахерских, но только одна из них, принадлежащая «американцу»; расположенная рядом с церковью, чуть ниже дома вдовы, была всегда открыта; в ней брились синьоры. Парикмахерская Нижнего Гальяно, содержавшаяся альбиносом, любовником Джулии, обслуживала бедных крестьян и была почти всегда закрыта: белобрысому надо было еще обрабатывать землю, и он брал в руки бритву по утрам в дни праздников, а на неделе только в редких случаях. Посреди поселка, недалеко от площади, была третья парикмахерская, но и она была постоянно закрыта, потому что ее хозяин без конца отлучался по делам. В эту парикмахерскую люди входили с таинственным видом и звали хозяина шопотом. У него были белокурые волосы, хитрое лисье лицо, ловкие движенья, блестящие очки; он был умен, деятелен и всегда в движении; во время первой мировой войны был на военной службе капралом санитарной службы и таким образом обучился медицине. Его официальное ремесло было цирюльничество, но бороды и волосы крестьян меньше всего его занимали. Кроме уменья стричь коз, лечить животных, давать слабительное ослам, осматривать свиней, он еще был мастер дергать зубы. За две лиры вытаскивал коренной зуб без большой боли и неприятностей. Это счастье, что он был в поселке, потому что у меня не было ни малейшего понятия об искусстве дантиста, а оба врача знали еще меньше. Цирюльник делал впрыскивания, а иногда и внутривенные вливания, о которых наши два врача даже не слыхали; он умел вправлять вывихи, залечивать переломы, пускать кровь, разрезать нарывы и сверх того знал травы, пластыри и мази; одним словом этот фигаро знал все и был настоящим кладом. Оба врача ненавидели его, в особенности потому, что он при случае открыто говорил об их невежестве и был любим крестьянами; всякий раз, когда доктора проходили мимо его цирюльни, они грозили донести на него за нелегальную медицинскую практику. Так как они не ограничивались одними угрозами, а время от времени действительно отправляли анонимные письма и его вызывали к бригадиру, чтобы сделать предупреждение, цирюльнику приходилось пускаться на тысячи хитростей, находить всякие поводы, чтобы тайно выполнять свою работу и не попадаться. Сначала он не доверял и мне, но когда убедился, что я его не

выдам, стал моим приятелем. У него действительно были какие-то способности, и я обращался к нему за помощью в маленьких хирургических операциях или поручал ему делать впрыскивания. Какое это имело значение, что у него не было прав? Он прекрасно делал вливания, но должен был действовать потихоньку, потому что Италия — это страна дипломов, ученых степеней, культуры, сводящейся только к захвату и лихорадочной защите от других претендентов своего места. Много в Гальяно крестьян были бы хромыми на всю жизнь, если бы прибегли к помощи официальной науки, и ходят они только благодаря этому фигуро, контрабандисту с лукавым лицом, полуколдуну, полуврачу, легкому на подъем и ловкому в борьбе с властью и карабинерами.

Лавочка «американца», цирюльника синьоров, единственная из трех походила на настоящую парикмахерскую. Там было зеркало, засиженное мухами, несколько соломенных стульев, а стены украшены вырезками из американских журналов с фотографиями Рузвельта, политических деятелей и актрис и косметическими рекламами. Это было все, что сохранилось от великолепного салона на одной из улиц Нью-Йорка; цирюльник, вспоминая об этом, мрачнел и становился печальным. Что оставалось у него от той прекрасной жизни, когда он был синьором? Домик на высоком месте поселка с претенциозно украшенной резьбой дверью и несколькими горшками герани на балконе, болезненная жена, нищета. «И зачем я только вернулся!» Этих «американцев» двадцать девятого года легко узнать по разочарованному виду побитой собаки и золотым зубам.

Золотые зубы, роскошные анахронические зубы блестя в широком крестьянском рту Фаччалорда *, толстого крепкого человека с упрямым и хитрым лицом. Фаччалорда, которого все так звали, быть может из-за цвета кожи, вышел, в противоположность другим, победителем из борьбы в эмиграции и жил в лучах собственной славы. Он вернулся из Америки с полным кошельком, и хотя позже истратил значительную часть сбережений, чтобы купить себе клочок бесплодной земли, он все же мог скромно жить; но Фаччалорда особенно ценил эти деньги не потому, что заработал их трудом, а потому, что добыл их ловкостью. Вечером, вернувшись с поля и стоя у дверей своего дома или гуляя по площади, он, навсегда осчастливленный своей победой,

* Грязная рожа (итал.).

любил рассказывать мне об одной аванюре, на которую он как-то пустился в Америке. Он был крестьянин, а в Америке стал каменщиком.

— Однажды мне дали вычистить забитую землей железную трубку, из тех, что употребляют для мин. Я начал чистить трубку, а вместо земли там оказался порох, и она взорвалась у меня в руках. Мне поцарапало вот здесь руку, я оглох — лопнула барабанная перепонка. Там, в Америке, существует страхование, и мне должны были заплатить. Врач осмотрел меня и велел прийти через три месяца. Через три месяца я чувствовал себя снова хорошо, но раз со мной произошел несчастный случай, они должны были заплатить мне, если есть справедливость. Они должны были дать мне три тысячи долларов. Я притворялся глухим: говорили, стреляли — ничего не слышу. Заставляли меня закрывать глаза, я качался и падал на землю. Их профессора говорили, что у меня ничего нет, и они не хотели дать мне пособие. Меня снова и снова направляли на осмотр. И я попрежнему ничего не слышал и падал на землю — должны же они были все-таки заплатить мне! Прошло два года, а я все не работал, а профессора все говорили «нет», а я говорил, что не могу ничего делать, что я искалечен. Потом профессора, лучшие профессора Америки, согласились, и через два года отдали мне мои три тысячи долларов. Они достались мне по праву. Я сейчас же вернулся в Гальяно и чувствую себя превосходно.

Фаччалорда был горд, что, сражаясь один на один против всей науки, всей Америки, он, несчастный крестьянин из Гальяно, вооруженный только упрямством и терпением, победил американских профессоров. Он был убежден, что справедливость на его стороне, что симуляция — вполне законный акт. Если бы кто-нибудь ему сказал, что он получил обманом эти три тысячи долларов, он бы искренне удивился. Я не считал нужным говорить ему это, так как в глубине души не осуждал его; и он с гордостью снова рассказывал мне свою аванюру и чувствовал себя немного героем бедных людей, вознагражденным богом за защиту их против враждебных сил государства. Когда Фаччалорда рассказывал мне свои истории, мне вспоминались другие итальянцы, которых я встречал, путешествуя по миру, гордившиеся тем, что боролись против организованной мощи государства, и тем, что спасли свою личность от его абсурдной воли. В особенности запомнился мне один старичок,

встреченный в Англии, в Стратфорд-на-Эйвоне, на родине Шекспира; его тележку с мороженым тащил разряженный бантиками и колокольчиками пони. Старичка звали Сарачино (на повозочке написано Сарасайн — на английский лад), он был из Фрозиноне, носил еще кольца в ушах и плохо говорил на римском диалекте. Как только он обнаружил, что я итальянец, он тотчас же рассказал мне, что бежал из Италии пятьдесят лет назад, чтобы не быть солдатом и не служить итальянскому королю, и что в Италию больше не возвращался. Он нажил себе состояние, торгуя мороженым; все тележки в этой провинции принадлежали ему. Его сыновья — ученые, один адвокат, другой врач. Когда началась война четырнадцатого года, он отправил их в Италию, чтобы им не пришлось служить английскому королю, а когда через год и итальянский король мог бы их забрать... «Не беспокойтесь, мы устроились, но королю не служили». И для старого Сарачино, как и для Фаччалорда, это было не позором его жизни, а гордостью. На его лице сияло счастье, когда он рассказывал мне об этом; затем, хлестнув лошадку, он уехал дальше.

Фаччалорда победил, но и он вернулся и вскоре, несмотря на его золотые зубы, его нельзя было уже отличить от других крестьян. Эта авантюра помогала ему сохранить точное, хотя и ограниченное и чисто субъективное представление об Америке; но другие очень быстро забывали ее; она была для них такой же, какой они представляли ее до отъезда и даже, быть может, когда находились там, — американским раем. Некоторые были более практичны и более американизированы, часть из них остались там. Я видел таких в Грассано. Но эти уже не были крестьянами и всячески старались, чтобы крестьянская жизнь их не затянула. В Грассано один из них каждый день сидел на стуле у дверей дома, выходявшего на площадь, и наблюдал за людьми. Это был человек средних лет, высокий, худой, сильный, темнокожий, с соколиным взглядом и орлиным носом. Он был всегда весь в черном и носил панаму с широкими полями. У него были золотые не только зубы, но и булавка на галстук, запонки, цепочка для часов, брелоки, приносящие счастье амулеты, кольца и портсигар. Он нажил себе в Америке состояние, был маклером и коммерсантом, а может быть, как я подозреваю, до некоторой степени торговцем бедных крестьян-рабов; он привык командовать и смотрел отчужденно и презрительно на своих земляков. Все же раз в три-четыре

года он приезжал на родину и с наслаждением щеголял своими долларами, своим варварским английским и еще более варварским итальянским языком. Но он очень ревниво следил, чтобы его не затянуло в Италии.

— Я мог бы остаться здесь,— говорил он мне,— денег у меня достаточно. Может быть меня сделали бы подестой, в поселке хватило бы работы, чтобы все переделать на американский лад. Но это было бы банкротством и я все потерял бы. Меня ждут мои дела.

Он читал каждый день газету, слушал радио и, когда убедился, что скоро разразится война в Африке, собрал свои чемоданы, сел на первый пароход, чтобы не оказаться заблокированным в Италии, и удрал.

После двадцать девятого года, страшного года, немногие вернулись из Нью-Йорка и немногие туда уехали. Поселки Лукании оказались расколотыми пополам: половина здесь, а половина за океаном. Семьи разделились, женщины остались одни; для тех, кто жил здесь, Америка еще больше отдалась, а вместе с нею отдалась и всякая возможность спасения. Только почта постоянно доставляет оттуда всякие предметы, посылаемые удачливыми земляками в подарок. Дону Козимино было много хлопот с этими посылками: прибывали ножницы, ножи, бритвы, сельскохозяйственные инструменты, садовые ножи, молотки, клещи — всё мелкие предметы обыденной жизни. Гальяно. Что касается орудий труда, все в Гальяно было американизировано, так же как и меры: крестьяне пользуются дюймами и фунтами, а не сантиметрами и килограммами. Женщины прядут шерсть на старых веретенах, но отрезают нитки великолепными большими ножницами из Питтсбурга; бритвы цирюльника более совершенные, чем я когда-либо видел в Италии, и голубая сталь топориков, которые крестьяне всегда носят с собой, — американская сталь. Они не чувствуют никакого предубеждения против этих современных инструментов, не видят никакого противоречия между ними и своими старыми обычаями. Они охотно принимают то, что прибывает из Нью-Йорка, как принимали бы и то, что пришло бы из Рима. Но из Рима не приходит ничего. И никогда ничего не приходило, кроме налогового инспектора и речей по радио.



Речей в эти дни произносилось много, и дон Луиджино суетился, устраивая собрания. Был уже октябрь, наши войска прошли Мареб, война в Абиссинии началась. Народ Италии, поднимайся! А Америка все больше удалялась в туманы Атлантики, как остров на небесах, кто знает на сколько времени, быть может навсегда.

Эта война не интересовала крестьян. Радио гремело, дон Луиджино уже не курил на террасе во время школьных занятий, а тратил все часы на то, что произносил громовым голосом (его было слышно повсюду) речи перед учениками, заставлял их петь «Черное личико прекрасной абиссинки» и рассказывал всем на площади, что Маркони открыл невидимые лучи, и что весь английский флот вскоре взлетит на воздух. Дон Луиджино и другой старший учитель школы, его коллега по радио, говорили также, что эта война ведется именно для них, для крестьян Гальяно, у которых теперь будет сколько угодно земли для обработки и к тому же хорошей земли, такой, что достаточно посеять что-нибудь, и оно вырастет само. Увы, оба учителя так много говорили о величии Рима, что крестьяне не могли верить всему остальному. Они качали головой недоверчиво, молчаливо и покорно. «Те из Рима» хотели воевать и хотели заставить крестьян воевать для них. Ну что же! Умереть на абиссинских амбах не хуже, чем умереть от малярии на собственном поле, на берегу Сауро. Казалось, что студенты, юноши из ДЖИЛ, учителя, дамы из Красного Креста, «Миланские матери и вдовы павших в бою», флорентийские синьоры, продавцы, торговцы, пенсионеры, журналисты, полицейские, служащие министерств в Риме — словом, все те, кого принято называть итальянским народом, были в те дни захвачены блаженной волной энтузиазма и славы. В Гальяно я не имел возможности проверить это. Крестьяне были еще

молчаливее, печальнее и мрачнее, чем обычно. В эту обетованную землю, которую надо было прежде отнять у тех, кто владел ею (и инстинктивно они чувствовали, что это несправедливо и не может принести счастья), они не верили. «Те из Рима» не имели привычки делать что-нибудь для крестьян; и это предприятие, хотя о нем много говорили, должно таить в себе другую, не имеющую ничего общего с интересами крестьян цель. Если у «тех из Рима» есть деньги, чтобы тратить на войну, почему они не починят сначала мост через Агри, который обвалился четыре года назад и никто не думает восстанавливать его. Надо было бы также запрудить реку, провести несколько новых источников, посадить в лесах деревья, вместо того чтобы вырубать те немногие, что остались. Земли хватает и здесь; зато всего остального у нас нет.

Поэтому они думали о войне как об одном из обычных неотвратимых несчастий, как о подати или о налоге на коз. Они не боялись идти в солдаты.

— Жить здесь по-собачьи, — говорили они, — или умереть там по-собачьи — не все ли равно?

Но никто, за исключением мужа донны Катерины, не записался добровольцем. В конце концов вскоре всем стало ясно, что не только цели войны, но и ведение ее касались той, другой Италии, по ту сторону гор, и имели очень слабое отношение к крестьянам. В армию взяли немногих: двоих-троих из всего поселка да несколько призывников и юношу, дона Никола, сына священника, воспитанного монахами Мельфи, унтер-офицера действительной службы, который должен был отправиться одним из первых. Несколько самых несчастных безземельных крестьян, которым нечего было есть, соблазненные речами дона Луиджино и обещаниями высокой оплаты, попросились поехать в качестве рабочих; но их просьба все еще оставалась без ответа.

— Не знают, что делать с нами, — говорили мне эти бедные крестьяне. — Нас не хотят даже взять работать. Война — для северян. А мы должны дохнуть с голоду в собственном доме. И в Америку больше никто никогда не поедет.

Третье октября был мрачный день. Собравшиеся на площади десятка два крестьян, с трудом согнанные карабинами и авангардистами подесты, слушали рассеянно исторические слова по радио. Дон Луиджино заставил украсить флагами муниципалитет, школу, дома синьоров; трехцветные знамена развевались на ветру в солнечных лучах, и их

причудливые яркие цвета смешивались с похоронными флагами на домах крестьян. Приказано было также звонить в колокола, и они, как обычно, вызванивали заунывную песню смерти. Веселая война началась среди этой равнодушной печали. Дон Луиджино вышел на балкон муниципалитета и начал речь. Он говорил о бессмертном величии Рима, о семи холмах, о волчице, о римских легионах, о цивилизации Рима, о Римской империи, которая будет воссоздана заново. Сказал, что все нас ненавидят, завидуя нашему величию, что мы с триумфом вновь прошли по консульским дорогам Рима, что враги Рима падут во прах, потому что Рим вечен и непобедим. Он сказал своим пронзительным голосом еще много вещей о Риме, которых я не запомнил; потом открыл рот и запел «Джовинецца»*, делая школьникам на площади повелительные жесты руками, чтобы они подпевали ему хором. Вокруг него на балконе стояли бригадир и синьоры, и все пели, за исключением доктора Милилло, который не был согласен с этим. Внизу, у стены, загораживаясь рукой от светившего в глаза солнца, молча стояло несколько крестьян, мрачных и черных, как ночные птицы. Около подесты, рядом с балконом, на стене фасада муниципалитета выделялась белая мраморная мемориальная доска с именами погибших в большую войну. Для такого маленького поселка их было много, почти пятьдесят; имена всех семейств гальянцев были здесь: Рубилотто, Карбоне, Гуарини, Бонелли, Карновале, Рачоппи, Гуеррини — не было пропущено ни одного. Действительно, в каждой семье кто-нибудь погиб — или из членов семьи, или двоюродные братья, или кумовья Сан-Джованни; а еще больше было раненых, больных и таких, кто сражался, но остался невредимым.

Почему при моих разговорах с крестьянами ни один никогда не говорил и даже не упоминал ни об этой войне, ни о походах тех лет, ни об увиденных странах, ни о перенесенных лишениях? Единственно, кто кое-что говорил мне об этом, был цирюльник-зубодер; и упомянул он об этом только для того, чтобы сообщить мне, как и где он научился своему искусству, — когда был санитаром на Карсо. И большая война, такая кровавая и еще такая близкая, не интересовала крестьян: они пережили ее и теперь как будто забыли. Никто не хвастал собственной славой, не рассказывал своим детям о сражениях, в которых они участвовали, не показывал ран, не жаловался

* Гимн итальянских фашистов. — *Прим. перев.*

на перенесенные страдания. Если я их спрашивал, они отвечали коротко и равнодушно. Это была большая беда, но ее перенесли, как и другие беды. Эта война тоже была войной «тех из Рима». И тогда чередовались три цвета, казавшиеся такими странными здесь, геральдические цвета другой Италии, непонятной, своевольной и жестокой; красный, весело-наглый, зеленый, особенно нелепый здесь, где даже деревья серые, а трава не растет, потому что кругом одна только глина. Эти, да и все прочие цвета — это дворянские выдумки, они годятся для щитов синьоров или для знамен городов. Какое дело крестьянам до всего этого? Крестьяне знают только один цвет, цвет своих грустных глаз и одежд, и это даже не цвет, это тьма земли и смерти. Их флаги так же черны, как лик Мадонны. Другие знамена и другие цвета принадлежат другой цивилизации, стремящейся к движению и завоеваниям на дорогах Истории; и к ней они не имеют отношения. Но так как она сильнее, организованнее, могущественнее, они должны подчиняться ей — сегодня умирают не за нас в Абиссинии, как и вчера на Изонцо и на Пиаве, как и раньше, из века в век, под разнообразными цветами на всех землях мира. Я читал в эти дни старинную историю Мельфи, написанную дель Цюо, которую нашел, роюсь в старых книгах в доме доктора Милилло, куда я ходил почти каждый день пить кофе и болтать с Маргеритой и Марией, двумя девицами, становившимися все более усатыми, болтливыми и неугомонными. Книга написана во второй половине прошлого столетия, и там рассказывается, что среди прочих местных знаменитостей еще жил в те годы в Мельфи старый крестьянин с деревянной ногой. Он поступил добровольцем в войска Наполеона и потерял ногу при переправе через Березину. Более полувека хромал крестьянин по мостовым Мельфи, неся на себе нелепую печать чуждой ему цивилизации, навечно отметившей его. Какое дело крестьянину из Мельфи до России и до французского императора? История, — витиевато сказал бы Виктор Гюго, — отняла у него ногу, а он даже не знал, что значит История. История — в конечном счете, чужая История, — с которой эти селения всегда должны были безропотно мириться, оставила землякам хромого следы еще более печальные, ибо своим разрушением Мельфи, когда-то цветущий и густо населенный город, был обязан тому, что один французский всеначальник, воюя с испанцами Карла V в этих горах, случайно решил запереться в нем со своими солдатами. Испанцы

Педро Наваррского по приказу Лотрека осадили Мельфи, взяли его, убили всех граждан, каких могли найти, даже тех, кто понятие не имел, что такое Франция и Испания, Франциск I и Карл V, смели с лица земли дома и подарили то немногое, что осталось, Филиппу Оранскому, а вскоре, в вознаграждение за морские победы, генуэзцу Андреа Дориа, о которых крестьяне знали еще меньше. Генуэзец никогда не беспокоил себя посещением своих вассалов, так же поступали и его наследники, довольствуясь тем, что посылали сборщиков налогов, которые выкачивали денег сколько могли. Так, по неисповедимой воле Истории, которая к ним не имела отношения, крестьяне Мельфи из века в век все более погружались в беспросветную нищету. Сколько людей, побуждаемых неизвестными причинами, как французы и испанцы, прошли по этим землям. Вполне естественно, что крестьяне после тысячелетиями повторяющихся подобных опытов не приходят в энтузиазм от войны, не чувствуют доверия ни к каким знаменам и молчат, когда дон Луиджино воспеваает с балкона славу Рима.

Государства, теократия, регулярные войска, конечно, сильнее разрозненного мира крестьян; поэтому крестьяне должны мириться с необходимостью быть подчиненными; но они не могут считать своими славу и подвиги этой бесконечно чуждой им цивилизации. Единственными войнами, трогавшими их сердца, были войны, в которых они сражались против этой цивилизации, против Истории, Государства, теократии и регулярных войск. В этих войнах они сражались под своими черными знаменами, не соблюдая воинских порядков, не обладая достаточными навыками, не имея надежды; эти несчастные войны всегда обречены на неудачу, жестокие и отчаянные войны, непонятные историкам.

Крестьян Гальяно не волновало завоевание Абиссинии, они не помнили о мировой войне, не вспоминали о своих погибших; но в глубине всех сердец, на устах у всех была одна война, уже превращенная в легенду, в сказку, в эпический рассказ, в миф: война разбойников. Война разбойников фактически кончилась в тысяча восемьсот шестьдесят пятом году; прошло, следовательно, семьдесят лет, а значит, только совсем немногие из принимавших в ней участие или бывших свидетелями ее могли жить еще и были в состоянии помнить о тех событиях. Это могли быть лишь очень древние старики. Но все, старые и молодые, мужчины и женщины, говорили

о ней, как о делах вчерашнего дня, с живой, волнующей страстью. Когда я беседовал с крестьянами, я мог быть уверен, что на какую бы тему мы ни заговорили, мы непременно каким-нибудь образом скоро перейдем на разговор о разбойниках. Все напоминает о них: нет ни горы, ни пропасти, ни рощи, ни камня, ни источника, ни пещеры, которые не были бы связаны с каким-нибудь памятным подвигом или не являлись бы для них убежищем или тайником; нет такого укромного уголка, которое не служило бы им местом сборищ; нет такой часовенки в поселке, где бы они не оставляли своих угрожающих писем или не ждали бы выкупа. Некоторые места, например Обрыв стрелка, получили свое название в честь какого-нибудь разбойника или события из их жизни. Нет семьи, которая бы в те времена не боролась на стороне разбойников или против них, семьи, у которой не было бы кого-нибудь в их числе или которая не укрывала бы их тайно, или не имела бы убитого ими родственника или сожженной ими жатвы. К тому времени восходит ненависть, разделяющая сейчас поселок, попрежнему острая, передаваемая из поколения в поколение. За немногими исключениями, все крестьяне были на стороне разбойников, и с течением времени подвиги, так живо поразившие их воображение, неразрывно связанные с жизнью каждой семьи поселка, вошли в повседневные разговоры так же естественно, как тема о животных и духах, выросли в легенду и приобрели непререкаемую истинность мифа. Я не собираюсь здесь восхвалять разбой, как с некоторого времени, кажется, стало в моде у некоторых эстетствующих литераторов или не пользующихся доверием политиков. Рассматривая его с исторической точки зрения, во всем комплексе итальянского ренессанса*, разбой нельзя защищать. С точек зрения либеральной и прогрессивной это последняя судорога прошлого, которое безжалостно выкорчевывалось, движение гибельное и жестокое, враждебное единению, свободе и цивилизованной жизни. И так оно и было; эта война разжигалась и питалась Бурбонами, Испанией, папой в их собственных интересах. Но разбой крестьян носил иной характер; если смотреть на него с этой, исторической точки зрения, его нельзя не только оправдать, но даже понять. В конце кон-

* Национально-освободительное движение итальянской буржуазии за воссоединение Италии и освобождение ее от иноземного ига (XIX век).— *Прим. перев.*

цов сами крестьяне не осуждают и не защищают его и хотя и говорят о нем с такой страстностью, но не гордятся им. Они не знают ни его исторических мотивов, ни интересов Бурбонов, папы или феодалов. Для них это тоже печальная, тяжкая, вызывающая ужас история. Но только она заключена в их сердце, составляет часть их жизни, является поэтическим источником их фантазии; это их мрачная, безнадежная, черная эпопея. Даже их облик сейчас вызывает образ старинного разбойника: темные, замкнутые, нелюдские, хмурые, в черных шапках и черной одежде, а зимой в плаще, вооруженные ружьем и топором, даже когда идут в поле. У них доброе сердце и терпеливая душа. Века покорности давят на их спины, так же как сознание тщеты всех земных деяний и могущества судьбы. Но когда после бесчисленных, покорно снесенных ими тягот коснутся глубины их существа и разбудят элементарное чувство справедливости и самозащиты, тогда их возмущение не знает ни меры, ни границ. Это — не человеческое возмущение, оно возникает в смерти и знает только смерть; в нем жестокость рождается от отчаяния. Разбойники защищали безрассудно и безнадежно свободу и жизнь крестьян от государства, боролись против всяких государств. К их несчастью, они оказались бессознательным орудием той Истории, которая совершалась помимо них и против них; они защищали неправо дело и были уничтожены. Но с помощью разбоя крестьянская цивилизация защищала собственную природу от другой, враждебной цивилизации, которая, не понимая крестьян, всегда обращает их в рабство; поэтому они инстинктивно видят в разбойниках своих героев. Крестьянская цивилизация — это цивилизация без государства и без армии; ее войны могут быть только взрывами возмущения и поэтому всегда кончаются безнадежным поражением: но она все же продолжает существовать вечно и дает победителям плоды земли и устанавливает свои границы, своих земных богов, свой язык.

Я говорил с крестьянами и смотрел на их лица и фигуры: маленькие, черные, с круглыми головами, большими глазами и тонкими губами, они сохраняли архаический облик, в котором не было ничего от римлян, или греков, или этрусков, или норманнов, или от других народов-завоевателей, прошедших по их земле; они напоминали мне очень древних италийцев. Я думал о том, что их жизнь, в тех же формах, что теперь, текла однообразно с незапамятных времен и что

вся история прошла над ними, не затронув их. Из двух Италий, живущих вместе на той же земле, Италия крестьян, конечно, более древняя, и неизвестно, откуда она явилась, а может быть, она существовала вечно. *Humilemque vidimus Italiam* *, это была смиренная Италия, какой она казалась азиатским завоевателям, когда они на кораблях Энея ** огибали мыс Калабрии. И я думал о том, что надо бы написать историю этой Италии, если возможно написать историю того, что не развивается во времени, единственную историю вечного и неподвижного — мифологию. Эта Италия растилается в своем черном безмолвии, просто как земля в постоянной смене повторяющихся времен года и повторяющихся несчастий; то вечное, что прошло над ней, не оставило следа и не имеет значения. Только изредка она поднималась, чтобы спасти себя от смертельной опасности, и это были единственные и, конечно, проигранные национальные войны. Первая из них была война с Энеем. Мифологическая история должна иметь мифологические источники; и в этом смысле Вергилий великий историк. Единственные в своем роде завоеватели, явившиеся из Трои, принесли с собой все свои достижения, противоречившие старинной крестьянской цивилизации. Они принесли религию и государство и религию государства. *Pietas* *** Энея не могла быть понята древними итальянцами, жившими в полях вместе с животными. И спутники Энея привезли с собой войско, оружие, щиты, геральдику и войну. Их религия была свирепой и требовала человеческих жертв; над костром Палланта **** благочестивый Эней зарезал пленников в жертву богам государства. Но эти древнейшие итальянцы были крестьяне и не знали ни религии, ни жертв. Когда троянцы оказались в Италии, они встретили в жителях этой земли неугасимую враждебность, проистекающую из коренного различия цивилизаций. И действительно, Эней нашел союзников только в некрестьянских народах, в этрусках, пришедших, как и он, с востока, и, быть может, как и он, семитов и приверженцев военной теократии. И с помощью этих союзников он начал войну. С одной сто-

* Мы видим смиренную Италию (из поэмы Вергилия «Энеида», ст. 522).

** Легендарный троянский герой — воин, главный герой поэмы Вергилия «Энеида». — *Прим. перев.*

*** Благочестие (*лат.*).

**** Итальянский герой, сын аркадского царя в поэме Вергилия «Энеида». — *Прим. перев.*

роны было войско с блестящим оружием, выкованным богами, с другой, как это описывает Вергилий, были отряды крестьян, которым никакой бог не приготовил оружия и которые употребляли для собственной защиты обычные орудия ежедневного труда: топоры, серпы и ножи. Они тоже, как разбойники, были полны мужества, но, увы, не могли победить. Италия была покорена, та смиренная Италия,

за честь которой умерла Камилла,
погибли Низ, и Турн, и Эвриал *

Потом приходит Рим и усовершенствует государственную и военную теократию своих троянских основателей, но победителям пришлось все же усвоить язык и обычай побежденных. И Рим также натолкнулся на крестьянское сопротивление, и длинный ряд италийских войн был самым большим препятствием на его пути. И опять итальянцы были обречены на военное поражение, но сохранили свою природу и не смешались с победителями. После этой второй национальной войны крестьянская цивилизация, замкнутая в римские порядки, как бы застыла в покорности. Феодалная культура с ее различными деятелями и событиями, которая с течением веков последовала за римской, тоже, конечно, не была крестьянской культурой; но все же она была связана с землей, с границами феодалного надела и потому меньше противоречила взглядам крестьянства на государство, то есть его отрицанию. Можно, следовательно, понять, почему швабы еще и теперь так популярны среди крестьян, которые говорят о Коррадино ** как о своем национальном герое и оплакивают его смерть. Конечно, после его падения этот край, процветавший при нем, пошел по пути самого печального разрушения.

Четвертая национальная война крестьян — это разбой. И здесь смиренная Италия делала историческую ошибку и должна была потерпеть поражение. У нее не было ни оружия, какое сковал Вулкан ***, ни пушек, как у другой Италии. И у нее не было богов; что могла сделать бедная черноликая Мадонна против цивилизованного государства неа-

* Герои «Энеиды» Вергилия.— *Прим. перев.*

** Коррадино или Конрадин (1252—1268), сын Конрада IV швабского. Совершил поход в Италию, потерпел поражение в битве при Тальякоццо в 1268 году, был взят в плен и казнен в Неаполе.— *Прим. перев.*

*** Римский бог — кузнец, сковавший оружие Энею.— *Прим. перев.*

политанских гегельянцев? Разбой был только вспышкой героического безумия и безутешной жесточенности, желанием смерти и разрушения, без надежды на победу.

— Я бы хотел, чтобы у мира было одно только сердце, я бы его вырвал,— сказал однажды Карузо, один из самых страшных атаманов разбойников.

Это слепое желание разрушения, это кровавое и самоубийственное стремление к уничтожению веками накапливаются под кротким терпением ежедневного труда. Всякое крестьянское восстание принимает эту форму, возникает из элементарной жажды справедливости, рождается в черном тайнике сердца. С разгромом разбойников эти земли обрели свой могильный покой; но время от времени в какой-нибудь деревне крестьяне, которые не могут найти никакого сочувствия в государстве и никакой защиты в законах, идут на смерть, сжигают муниципалитет или казарму карабинеров, убивают синьоров, а потом покорно отправляются в тюрьму.

Из настоящих разбойников, разбойников шестидесятого года, почти никого не осталось. Джулия рассказывала мне, что один из них живет здесь, недалеко, в Миссанелло. Это девяностолетний старик с большой белой бородой, теперь он стал святым. Он был одним из самых страшных атаманов, а сейчас живет в поселке, уважаемый крестьянами, как патриарх; к нему обращаются за советами во всех трудных случаях жизни. Мне очень жаль, что я никак не мог познакомиться с ним. Другого я встретил однажды в Грассано. Я был в лавочке Антонино Розелли, моего секретаря, цирюльника-флейтиста, и брился, когда вошел крепкий старик с цветущим лицом, пышными белыми усами, гордой осанкой, смелыми голубыми глазами, одетый в бархатный охотничий костюм; я его никогда раньше не видел в поселке. Дождавшись своей очереди, он курил трубку. Старик спросил меня, кто я.

— Изгнанник,— сказал он мне, как и другие, когда я ответил на его вопрос.— Кто-то в Риме пожелал тебе зла.

Я спросил его, сколько ему лет.

— Много,— ответил он,— я был молодым во времена разбойников. Мне было пятнадцать лет, когда мы с братом убили карабинера. Ты видел старый дуб на дороге метров за двести до въезда в поселок? Вот там мы его встретили. Он хотел задержать нас, и мы вынуждены были убить его. Мы зарыли его тело во рву, но его быстро нашли. Моего брата забрали сразу же, и он умер через несколько лет в

тюрьме в Неаполе. А я спрятался в поселке. Семь месяцев я жил, переодетый женщиной, как раз здесь, в комнате, что над лавочкой Антонино. Потом меня нашли, но так как я был очень молод, то отделался четырьмя годами.

Старый разбойник был доволен и жил в мире с самим собой; это давнее убийство не отягощало его совесть, он рассказывал о нем как о чем-то естественном и неизбежном. Ведь тогда была война.

— Видите этого синьора, который проходит по улице? — спросил меня цирюльник, показывая через открытую дверь. — Это дон Паскуале, помещик. У его деда была большая ферма, и когда пришли разбойники, он не захотел им ничего дать: ни зерна, ни скота. Тогда разбойники сожгли его дом в деревне, а он, еще хуже того, стал караулить их с карабинерами. Разбойники захватили его и послали человека сказать его жене, что если она желает получить назад мужа, то должна заплатить выкуп в пять тысяч лир в течение двух дней. Но семья не хотела давать денег, надеясь освободить его с помощью солдат. На третий день жене прислали конверт. В конверте было ухо ее мужа.

Разбойники отрезали синьорам уши, нос, язык, чтобы заставить заплатить выкуп. Солдаты отрубали головы разбойникам, которых удавалось поймать, и в назидание другим втыкали их на колья в деревнях. Так продолжалась эта война разрушения. Земля под этими горами глины вся изъедена естественными ямами и пещерами; здесь укрывались разбойники, и здесь в лесах, в дуплах деревьев они прятали полученные выкупы и деньги, награбленные в домах богатей. Но шайки были рассеяны и разбойники убиты или посажены в тюрьмы, и эти сокровища навсегда остались в земле и в лесах. Это один из моментов, когда история разбойников становится легендой и сплетается со старинными повериями. Разбойники прятали свои сокровища там, где фантазия крестьян всегда предполагала их существование; так разбойники слились с темными подземными силами,



Столько людей прошло по этим землям, что действительно всюду, где ни копнет плуг, что-нибудь находят. Античные вазы, статуэтки и монеты какой-нибудь старинной могилы появляются на свет под лопатой. Кое-что нашел и дон Луиджино на своем поле в направлении Сауро: изъеденные монеты — я не мог установить, греческие или римские — и несколько неразрисованных черных вазочек изящной формы. Из сокровищ разбойников я видел только одно, и весьма скромное. Его случайно нашел столяр Ласала и показал мне. Раз он положил в камин толстый ствол и при свете пламени заметил в дереве что-то блестящее. Это было несколько серебряных монет эпохи Бурбонов, спрятанных в дупле старого ствола.

Но для крестьян это только крохи огромных сокровищ, скрытых в недрах земли. Для них склоны гор, глубины пещер, чащи лесов полны сверкающего золота, ожидающего удачливого искателя. Но поиски сокровищ сопряжены с опасностями, потому что это дьявольская работа, здесь приходится иметь дело с темными и ужасными силами. Напрасно копать землю наугад — сокровища появятся только перед тем, кто должен их найти. И чтобы узнать, где они, нельзя обойтись без пророческого сна, если, конечно, монакиккио, один из духов земли, охраняющий их, сам не поведет счастливица.

Сокровище во всем своем блеске является во сне спящему крестьянину. Он видит его, целую кучу золота, точное место там в лесу, около каменного дуба с отметкой на стволе, под квадратным камнем. Нужно только пойти и взять его. Но надо идти ночью — днем сокровище исчезает. Нужно идти одному и не доверяться ни одной живой душе — если вырвется хоть одно слово, сокровище пропадет. Опасности ждут страшные, в лесу бродят души умерших; не многие осмеливаются подвергнуться испытанию и довести

его, не колеблясь, до благополучного конца. Один крестьянин из Гальяно, живший недалеко от меня, видел во сне сокровище. Оно было скрыто в лесу Аччетуры, немного ниже Стильяно. Крестьянин набрался мужества и отправился с наступлением ночи в лес; но когда в непроглядной тьме его окружили духи, сердце крестьянина затрепетало. Он увидел между деревьями далекий свет: это угольщик, человек, не знающий страха, как все угольщики, калабриец, ночью в соседнем лесу расположился около своих угольных ям. Для бедного испуганного крестьянина соблазн был слишком велик; он не мог не рассказать угольщику свой сон и попросил его помочь в поисках. И они вместе пошли искать увиденный во сне камень — крестьянин, несколько оправившийся от страха, и мужественный калабриец, вооруженный кривым ножом. Они нашли камень; все было точно так, как во сне. К счастью, они были вдвоем. Камень оказался так велик, что они с трудом сдвинули его. Когда им наконец удалось приподнять камень, они увидели в земле большую дыру; крестьянин наклонился; на дне блестело золото, фантастическое количество золота. Сдвинутые с поверхности камешки падали на монеты с металлическим звоном, наполнившим восторгом сердце крестьянина. Оставалось только спуститься в глубокую яму и взять сокровище, но у него снова нехватило мужества, и он сказал своему товарищу, чтобы тот спустился и передал ему деньги, а он положит их в мешок; потом они их разделят. Угольщик, не боявшийся ни чертей, ни духов, спустился в яму; но тут вся эта сверкающая желтизна стала черной и тусклой — все золото внезапно превратилось в уголь.

Гораздо легче найти сокровище не благодаря пророческому сну, а с помощью маленьких существ, знающих тайны земли, — монакиккио, духов детей, умерших некрещеными; здесь таких немало, потому что крестьяне часто на много лет откладывают крещение своих детей. Когда меня звали лечить какого-нибудь ребенка, иногда уже десяти или двенадцати лет, мать прежде всего задавала вопрос, угрожает ли ему смерть? Потому что в таком случае надо сейчас же позвать священника, чтобы окрестить ребенка.

— До сих пор мы еще этого не сделали, но если он должен умереть... конечно, дай бог, чтобы этого не было.

Монакиккио — крохотные существа, веселые, легкие; они быстро бегают взад-вперед, их любимое развлечение — причинять людям всякие неприятности: они щекочут ноги спя-

шим, стаскивают простыни с кровати, бросают песок в глаза, опрокидывают стаканы с вином, прячась в порывах ветра, сдувают деньги и срывают развешанное белье так, чтобы оно перепачкалось, вытаскивают стулья из-под сидящих женщин, прячут вещи в самые неожиданные места, заставляют свертываться молоко, щиплют, дергают за волосы, колют и жужжат, как комары. Но они невинны, их проказы никогда не бывают серьезными, а скорее походят на игру, и хотя они надоедают, но не приносят большого вреда. Они почти неуловимы, эти странные, вечно скачущие и играющие существа. Они носят на голове красный колпачок величиной больше их самих, и горе им, если они его потеряют: вся их веселость исчезает, и они не перестают плакать и печалиться, пока опять не найдут его. Единственный способ спастись от их шуток — это попытаться схватить за колпачок: если тебе удастся завладеть им, бедный, лишенный колпачка монакиккио бросится к твоим ногам и будет слезно молить тебя вернуть его. Но под капризами и детской веселостью монакиккио скрыты большие знания: они знают, что находится под землей, знают тайники, где спрятаны сокровища. Чтобы получить назад свой красный колпачок, без которого он не может жить, монакиккио пообещает тебе открыть тайник с сокровищами. Но ты не должен удовлетворять его просьбу, пока он не пойдет с тобой; если колпачок в твоих руках, монакиккио будет служить тебе, но как только он получит назад свою драгоценную шапочку, он увернется большим прыжком, делая гримасы, скача как сумасшедший от радости, и не сдержит своего обещания.

Этих гномов или домовых можно видеть часто, но поймать их очень трудно. Джулия их видела, и ее подруга Парроккола тоже, и многие крестьяне в Гальяно; но никто из них не смог схватить колпачок и заставить монакиккио показать сокровище.

В Грассано жил юноша лет двадцати, чернорабочий Кармело Коиро, крепыш с квадратным, обожженным солнцем лицом, который часто приходил по вечерам выпить стакан вина в гостинице Приско. Он работал поденно в полях или занимался на дорожные работы; но его страстью, его идеалом было стать велосипедистом-гонщиком. Он читал о подвигах Бинда и Гуэрра*, его фантазия разгорелась, и он

* Известные в Италии гонщики-велосипедисты.— *Прим. перев.*

проводил все воскресенья и все свободные часы, тренируясь на своем старом, расхлябанном велосипеде на самых страшных подъемах и поворотах вокруг поселка; он доезжал иногда, несмотря на пыль и жару, до Матеры или до Потенцы и действительно не ощущал недостатка ни сил, ни терпения, ни выносливости. Он хотел поехать на велосипеде на север и там стать гонщиком. Как-то я ему сказал, что, если он решится, я мог бы направить его к одному знакомому журналисту, пишущему о спорте, личному другу и биографу великого Альфреда Бинда; Кармело казалось, что он достиг вершины счастья; и когда я встречался с ним в кухне Приско, лицо его сияло надеждой. В эти дни Кармело работал с отрядом рабочих на починке дороги, ведущей в Ирсину вдоль малярийного потока Бильозо, который бежит между камнями и потом, после Гроттоле, впадает в Базенто. Землекопы обычно в часы самой сильной жары, когда невозможно работать, уходили поспать в естественную пещеру, одну из многих в этой долине, бывших когда-то любимым убежищем разбойников. Но в пещере был монакиккио; странный маленький дух начал досажать Кармело и его товарищам — только они задремлют, полумертвые от усталости и жары, он дергает их за нос, щекочет соломинками, бросает камешки, обрызгивает холодной водой, прячет их куртки и сапоги, не дает спать, свистит, прыгает повсюду; это была настоящая пытка. Рабочие видели, как он молниеносно появлялся то тут, то там в пещере со своим большим красным колпачком, и старались всеми способами поймать его; но он был увертливее кошки и хитрее лисицы, и скоро они убедились, что украсть у него колпачок невозможно. Тогда решили дежурить по очереди, чтобы, по крайней мере, если не удастся поймать его, отгонять монакиккио, защищаться от его надоедливых шуток и немного отдохнуть. Все было напрасно: неуловимый дух продолжал приставать, как и раньше, весело смеясь над бессильным гневом рабочих. В отчаянии они обратились к инженеру, который руководил работой; это был ученый синьор, и, быть может, ему удастся обуздать неистового монакиккио. Инженер явился в сопровождении своего помощника, бригадира, оба они были вооружены охотничьими двустволками. Когда они появились, монакиккио стал гримасничать, хихикать и прыгать, как козлик, в глубине пещеры, где его всем было отлично видно. Инженер вскинул ружье и выстрелил. Пуля попала в монакиккио, отскочила с ужасным

свистом назад в того, кто стрелял, оцарапав ему голову, а маленький дух продолжал подпрыгивать все выше в припадке сумасшедшего веселья. Инженер не выстрелил вторично, ружье выпало у него из рук; и он, и бригадир, и рабочие, и Кармело, не дожидаясь дальнейшего, в ужасе убежали. С той поры землекопы отдыхают на воздухе, под солнцем, покрывая лицо шапкой; все другие пещеры разбойников в окрестностях Ирсини также полны монакиккио, и рабочие не смеют даже ступить туда ногой.

С Кармело, кстати сказать, несмотря на его атлетическое сложение и внушительный вид, не раз бывали такие странные встречи. Он рассказывал мне, что несколько месяцев назад он возвращался поздно ночью из Бильозо домой, в верхнюю часть поселка. С ним был его дядя, сержант таможенной охраны. Я тоже познакомился с этим славным унтер-офицером, когда он приехал в отпуск. Дядя и племянник шли вверх ложиной, по крутой тропинке, куда я часто ходил гулять и рисовать свои картины. Был зимний вечер, тучи покрывали все небо, было холодно и совершенно темно. Они ходили ловить рыбу в Бильозо, далеко, к Ирине, запоздали и их застала ночь. Но у дяди был с собой автоматический пистолет, двадцатичетырехзарядный маузер, и поэтому они шли спокойно, не боясь дурных встреч. Когда дошли до середины подъема, где около дома поселенца стоят два дуба, они увидели, что навстречу им по тропинке бежит большая собака. Они ее узнали: это была собака одного крестьянина, их приятеля, который жил тут же на хуторе. Собака угрожающе лаяла и не давала им пройти. Они звали ее по имени, пытались приласкать, потом стали угрожать ей — ничто не помогало; животное, казалось, взбесилось и бросалось на них с открытой пастью, стараясь укусить. Они увидели, что собака бешеная, и так как не было никакого другого способа спастись, то дядя вытащил маузер и выпустил в нее все двадцать четыре заряда. Собака при каждом выстреле невероятно широко разевала свою красную пасть и глотала пули одну за другой, как булочки. И после каждого выстрела росла, напухала, становилась все огромнее, все с большей яростью бросалась на них. Они решили, что погибли, но в этот момент вспомнили о святом Рокко и о Мадонне де Виджано; они призвали их на помощь и широко перекрестились. Собака, которая стала к тому моменту величиной с дом, сразу утихомирилась; двадцать четыре пули у нее в животе разорвались одна за

другой с ужасающим треском, и она наконец лопнула, как мыльный пузырь, и растворилась в воздухе. Дорога была свободна, и дядя с племянником быстро дошли до дома матери Кармело. Старуха была ведьмой, и ей часто доводилось беседовать с душами умерших, встречаться с монахишкой и разговаривать с настоящими дьяволами на кладбище. Это была сухощавая чистоплотная и приветливая крестьянка.

Воздух над этими пустынными землями и между лачугами полон духов. Но не все они такие лукавые и странные, как монахишка, или злые, как демоны. Есть духи добрые и покровительствующие людям — это ангелы.

Однажды вечером, в конце октября, пришел ко мне крестьянин и попросил сделать перевязку после вскрытия нарыва. Я бросил на землю в моей комнате грязную вату и бинты и позвал Джулию, чтобы она их вымела. Джулия в этом отношении не отличалась от других гальянцев: она бросала отбросы через дверь на середину улицы. Так здесь поступают все, и потом уже свиньи наводят чистоту. Но в этот вечер я заметил, что она собрала мусор в кучку и оставила в доме, недалеко от входа. Я спросил ее, почему она его не выбрасывает, так как это явно не могло быть вызвано гигиеническими соображениями.

— Уже настал вечер, — ответила мне Джулия, — я не могу его выбросить. Ангел (пусть этого никогда не случится!) обидится. — И она, удивившись, что я этого не знаю, объяснила мне:

— В сумерки в каждый дом спускаются с неба три ангела. Один стоит у двери, другой у стола, а третий в головах постели. Они смотрят за домом и оберегают его. Ни волки, ни злые духи не могут войти ночью. Если я выброшу через дверь мусор, я могу попасть в лицо ангелу, ведь его не видно; и ангел обидится и больше никогда не вернется. Я вынесу мусор завтра, на восходе солнца, когда ангел улетит.



В этом живом окружении я проводил часы, охраняемый ночью ангелами, а днем колдовством Джулии. Я лечил больных, рисовал, читал, писал, и мое одиночество разделяли духи и животные. Я старался держаться по возможности дальше от интриг и страстей синьоров, оставаясь почти весь день дома. Но я встречал их всегда по утрам, когда ходил отмечаться в муниципалитет и проходил под балконом школы, где сидел дон Луиджино, дымя папиросой и держа палки в руке, и после завтрака, когда шел пить кофе к доктору Милилло, и непременно вечером на общем собрании, когда прибывали письма и газеты. Так, однообразно, прошел октябрь; пришли первые холода и дожди. Но пейзаж не стал зеленее, он был все тот же мертвенный, беловато-желтоватый. В хорошие дни я нередко выходил рисовать, но больше работал дома, в студии или на террасе. Я нарисовал много натюрмортов и заставлял позировать мальчишек, которые стали частенько навещать меня и целыми днями бродили по моему дому. Мне хотелось написать еще портреты крестьян, но мужчинам надо было работать в поле, а женщины избегали позировать, хотя и были польщены моими просьбами. Даже Джулия, когда я просил ее позировать мне, никогда не находила времени; и я понял, что была какая-то тайная причина, запрещающая ей это. Джулия смотрела на меня как на своего хозяина и не отказывала мне ни в чем, часто даже с крайней непосредственностью старалась оказывать мне услуги, которых я никогда не думал просить у нее. Я выписал из Бари ушат из оцинкованного железа, чтобы принимать ванну; по утрам я вносил его к себе в комнату и купался в нем, закрыв дверь в кухню, где Джулия со своим ребенком занималась хозяйством. Это казалось ей очень странным, и однажды утром она открыла дверь и, ничуть не смущаясь тем, что я голый, спросила, как это я могу мыться и никто

не намыливает мне спину и не помогает вытереться. Не знаю, привыкла ли она помогать священнику, или это была старинная традиция, восходившая к гомеровским временам, когда женщины обмывали воинов и натирали их благовонными маслами, но, во всяком случае, с этого момента я уже не мог избежать того, чтобы ее грубые, крепкие пальцы не намылили и не растерли мою спину. Ведьма удивлялась также, что я не пытаюсь вступить с ней в любовные отношения.

— Ты хорошо сложен,— говорила она мне,— у тебя нет никаких недостатков.

Но привыкшая в этом отношении держаться с животной пассивностью, она не настаивала, ничего больше не говорила, проявляя уважение к моей холодности, которая, конечно, должна была иметь свои таинственные причины. Самое большее, что она себе позволяла, это хвалить мои достоинства.

— Какой ты красивый,— говорила она,— какой толстый, красивый.

Полнота — это здесь первый признак красоты, как в странах Востока, может быть потому, что истощенные крестьяне не могут стать полными, для этого нужно быть синьором и власть имущим.

Джулия, следовательно, была готова служить мне любым способом, и все же, когда я просил ее позировать, она отказывалась. Тогда я понял, что за этим скрывалось какое-то тайное поверье, и она сама подтвердила мне это. Портрет отнимает у того, кто нарисован, изображение, и, взяв его, художник приобретает абсолютную власть над тем, кто позировал для него. Это та подсознательная причина, по которой многие не хотят даже фотографироваться. Джулия, жившая в мире магии, боялась моей живописи; и даже не столько потому, что я мог сделать по портрету восковую статуэтку и использовать ее как средство колдовства, сколько именно из-за влияния и власти, которые я бы возымел, взяв ее изображение; эту власть я, конечно, приобретал над вещами, деревьями, людьми и целыми селениями с помощью картин, которые я теперь рисовал каждый день. Я понял также, что, если я хочу преодолеть ее мистический страх, я должен употребить силу, превышающую его. А эта сила могла быть только прямой и внешней — насилием. Я пригрозил, что побью ее, и принял угрожающий вид, даже, может быть, не только вид — руки Джулии,

в конце концов, были, конечно, не слабее моих. Как только Джулия почувствовала и увидела, что я поднял на нее руку, лицо ее засияло от блаженства, счастливая улыбка обнажила ее волчьи зубы. Как я и предвидел, для нее не было ничего более желанного, как быть побежденной абсолютной силой. Сделавшись внезапно покорной, как ягненок, Джулия терпеливо позировала и перед лицом явных проявлений власти забыла свои вполне оправданные и естественные страхи. Так я смог нарисовать ее в черной шали, обрамлявшей желтое, похожее на античное, змеиное лицо. Я изобразил ее также на большой картине лежащей с ребенком; если существует материнство без капли нежного чувства, то это именно оно и было: физическая, земная привязанность, горькое и смиренное сочувствие; она напоминала гору, разбитую ветрами, источенную водой, и на этой горе вырисовывается один зеленый и ласковый холмик. Ребенок Джулии был круглый, толстенький, ласковый и добродушный; говорил он еще мало, и я очень плохо понимал его лепет, когда малыш бегал у меня по комнатам, преследуя Барона. С Бароном он делил сухие фиги, ломтики хлеба и сладости, которыми я его угощал; Нино вставал на цыпочки и поднимал руку как можно выше, зажав в пальцах свое сокровище, чтобы собака не достала. Но Барон был больше его и, играя, весело прыгая, осторожно, чтобы не сделать больно ребенку, выкрадывал фиги из его рук. Когда Барон ложился на пол, Нино забирался на него и они играли вместе; потом, устав от игры, ребенок засыпал, и пес неподвижно лежал под ним, как подушка, не смея даже вздохнуть, чтобы не разбудить его. Так они лежали часами на полу в кухне.

Мои занятия и работа не могли нарушить мертвящее однообразие этого мира смерти, мира без времени, без любви, без свободы. Присутствие одного реального существа в тысячу раз больше оживило бы атмосферу, чем все эти кишашие бесплотные духи, которые смотрят на тебя, преследуют и делают твое одиночество еще тяжелее. Непрерывное воздействие животных и вещей тяготит сердце, как мрачное очарование. И у тебя нет других способов освободиться от этого, как самому прибегнуть к колдовству. Джулия учила меня любовной ворожбе и составлению зелий. Но что может быть более враждебно любви, выражению свободы, чем колдовство, выражение чьей-то власти? Существовали заговоры для привораживания близко живущих людей и другие, чтобы привязать живущих далеко. Один из заговоров, который

Джулия мне рекомендовала как особо действенный и предназначенный для людей, живущих далеко, за горами и морями, притягивал их так, что они бросали все и, охваченные любовным порывом, шли на зов. Для этого нужно было прочесть стихотворение, в котором, согласно правилам заговора, строки, имевшие определенный смысл, чередовались с таинственными заклинаниями. Оно звучало так:

Звезда, издалека смотрю, вблизи я привет тебе шлю,
навстречу иду, в уста плюю.

Звезда, пусть не умрет,
пусть скорей придет
и всегда со мной живет.

Нужно произносить его, стоя у входа в дом, ночью и смотреть при этом на ту звезду, к которой обращаешься. Я пробовал этот заговор несколько раз, но он мне не помог. Я стоял, прислонившись к дверному косяку, и смотрел на небо; Барон лежал у моих ног. Октябрь прошел, и в черном воздухе блестели мои родные звезды, холодные, сверкающие звезды созвездия Стрельца.



В один из тех дней, когда чувства мои притупились и я, измученный безответными мольбами, погрузился в одиночество южной тоски, совершенно неожиданно пришло письмо из квестуры Матеры. Мне было разрешено отправиться на несколько дней в Грассано, чтобы закончить начатые картины, при условии, что я сам оплачу проезд туда и обратно за себя и за карабинеров, которые должны будут сопровождать меня. Это был ответ на мою просьбу, о которой я уже совершенно забыл. Когда я получил приказ в течение суток перебраться в Гальяно, я послал в Матеру телеграмму с просьбой о разрешении задержаться дней на десять, чтобы закончить начатые мной картины. Это был предлог: я надеялся, что, получив отсрочку, сумею затем остаться в Грассано на все время ссылки. Ответа на телеграмму не пришло, и я вынужден был уехать. Но, видимо, искусство оказывает определенное воздействие на души полицейских, и после более чем трех месяцев размышлений мне, к моей великой радости, совершенно неожиданно дали каникулы, на которые я не смел даже надеяться.

Я не знал занимавшихся нами, ссыльными, чиновников квестуры Матеры, но, должно быть, они были не такие уж плохие люди. В этот несчастный край посылали, вероятно, только старую, уже изношенную упряжь квестуры — ворчливых скептиков, погрязших в рутине, но отнюдь не молодых энтузиастов. В старые чиновничьи мозги не вошла еще, к счастью, культура новых школьных учителей, идеализм народного университета, направлявший куда угодно необузданное рвение молодежи и создававший в их воображении государство, которое в своей непререкаемой этике является как бы личностью, похожей на них самих, со своей собственной особой моралью, подобной их морали, которое может стоять над всеми людьми с их мелким честолюбием, мелким садизмом и изощренностью, но в то же время является

непостижимым для несведущих, священным и необъятным. В этом слиянии с идолом они испытывали то же физическое наслаждение, что и в половом акте. Таков, в частности, дон Луиджино; но полицейские Матеры, может быть, понимали только одно,—что нужно задерживать хотя бы на три месяца всякое решение. Дон Луиджино сообщил мне о письме из Матеры с благосклонной улыбкой короля, который оказывает милость одному из своих подданных; он был государством, и поэтому запоздалая щедрость полиции была также и его делом, и он был счастлив в этот день ощутить себя отечески добрым государством. Но к этому счастью примешивалась доля ревности за муниципалитет и, быть может, еще какое-нибудь другое смутное неприятное чувство, которое его омрачало. Почему я так радуюсь отъезду, пусть даже на несколько дней? Может быть, в Грассано мне нравится больше, чем в Гальяно? Дело в том, что дон Луиджино, как воплощение государства, полагал, что со ссыльными надо обращаться наихудшим образом и что они вовсе не должны быть довольны своим существованием, но как гальянец и первый гражданин Гальяно он хотел бы, чтобы ссыльные чувствовали себя или, по крайней мере, говорили, что чувствуют себя здесь лучше, чем в любом другом месте провинции. Так в силу ревностных противоречивых ощущений нашла себе место и в его душе первая и стариннейшая добродетель этих мест: гостеприимство; повинувшись этой добродетели, крестьяне открывают двери неведомому пришельцу, не спрашивая его имени, и приглашают его разделить с ними их скудную пищу; поселки соперничают между собой, стараясь быть как можно дружелюбней и щедрее к неизвестному путнику, который может оказаться переодетым богом. Дон Луиджино считал, что поездка не должна меня радовать. И потом, разве не было опасности, что я буду дурно говорить о нем тамошним синьорам, которые гораздо ближе к всемогущему сердцу главного города провинции? А если я не вернусь, если найду способ перевестись в другое место, кто вылечит дона Луиджино от воображаемых болезней? И кто отнимет клиентов у его врага Джибилиско, кто сумеет сделать так, чтобы этот враг умер от гнева? В общем дон Луиджино по-своему любил меня, насколько была способна на это его пустая инфантильная душонка, и жалел, что я уезжаю. Я должен был успокоить его, сказав, что меня радует в этом только перспектива прогулки, какой я давно не совершал, что в Грассано меня вле-

кли только мои работы и что я буду очень счастлив вернуться под его опеку, как только закончу мои картины. Итак, на следующий день ранним утром я выехал с большим свертком холстов, с портативным мольбертом, с ящиком красок, с Бароном и с двумя карабинерами. Путь был мне известен; это было как бы путешествие по собственной комнате. Обычно я не люблю возвращаться в места, где я когда-то жил, но от Грассано у меня сохранились приятные впечатления, я приехал туда после нескольких месяцев абсолютного одиночества; там я опять увидел звезды, луну, растения, животных, людей. Грассано остался в моей памяти как бы краем свободы. Долгое заключение ведет к притуплению всех чувств; некоторым это состояние может показаться чем-то вроде ухода в мир религии. Возвращение к нормальной жизни всегда сопровождается чем-то остроболезненным, как при выздоровлении. Нищета и тяжкая духота Грассано, пейзаж без мягких, ласкающих глаз линий, однообразная печаль — все это было едва ли не самым лучшим, безобиднейшим местом для такого возвращения. Я любил Грассано и чувствовал себя там хорошо.

С каким наслаждением проехал я в это утро на автомобиле «американца» и наблюдал, как за поворотом после кладбища открывались передо мной запрещенные земли, спуск к Сауро, гора Стильяно. И как весело скакал Барон, пока мы ждали на разъезде, на берегу реки, почтовый автобус, который привез много неизвестных мне людей. Вот один за другим, как в фильме, пущенном наоборот, мелькают поселки, через которые я проехал когда-то: Стильяно, Аччетура, Сан-Мауро-Форте, и остановки автобуса, и входящие и выходящие крестьяне и крестьянки, и лес, и дома, населенные воображаемыми людьми. И вот наконец там, в глубине, показалось широкое, белое русло Базенто и домик станции Грассано. Отсюда автобус направился к Гроттоле и Матере, а мы остались ждать какого-нибудь транспорта, чтобы проехать восемнадцать километров крутой, неровной пыльной дороги к поселку. Мы ждали долго, так как автомобиль из Грассано приходил позже, к прибытию поезда из Таранто, чтобы забрать как можно больше пассажиров. Я смотрел на каменистое русло, на мост, один пролет которого был разрушен во время наводнения и тщетно ждал, вот уже кто знает сколько лет, восстановления. Передо мной поднималась, как гигантская волна однообразной голой земли, гора Грассано, и на вершине ее, на

фоне неба, виднелся призрачный, как мираж, поселок. Он казался еще более призрачным, парящим в воздухе, чем когда я видел его в последний раз, потому что дома за время моего отсутствия были выбелены заново и теперь, собравшись вместе, как овцы испуганного стада, едва касались желтовато-серой вершины горы.

Наконец издали послышался гудок автомобиля, мы увидели облако пыли, поднимавшееся над склоном, и вскоре машина, подпрыгивая на бревнах, положенных через реку, рядом со сломанным мостом, подъехала к станции. Водитель, тот самый, что отвозил меня в Гальяно три месяца назад, узнал меня и Барона и первый поздравил с приездом. Поезд, свистя, подъехал и уехал, и ни один человек не сошел и не вошел в него. Нужно было ждать другого поезда, из Неаполя, который должен был вскоре прийти, но сильно запаздывал. Я не торопился, не досадовал, что задержусь еще в глубине долины, куда, быть может, я уже никогда не вернусь; погуляю в полуденной тишине, посижу на белых камнях широкой высохшей реки, то теряющейся внизу, то исчезающей высоко в горах. Я съел свой завтрак и ждал. Спустя час пришел и поезд из Неаполя, тоже пустой; мы забрались в автомобиль, и начался подъем. Во время восемнадцатикилометрового пути нужно проехать сотни извилин среди бесконечных холмов вырытой из пещер земли, сухого жнивья, по которому ветер гонит тучи пыли. В течение всего переезда не встречается ни одного дерева. Подъем идет медленно и кончается за пятьсот метров до поселка. Поднимаемся постепенно, зигзагами, и во всех направлениях вид почти всегда замыкается горбами выжженных солнцем полей. Вот мы около большой трещины, похожей на рану, нанесенную земле; чтобы объехать ее, дорога делает большую петлю. Это Долина падали; ее называют так потому, что туда сбрасывают трупы животных, умерших от болезней и негодных в пищу; кости их белеют в глубине. Теперь мы совсем близко от поселка: вот кладбище на крутом склоне, совершенно открытое, похожее на платок в белую крапинку, который положили сушить на склоне горы; вот кончается дорожка, по бокам которой высокой изгородью разросся розмарин; здесь я раньше обычно сидел один и читал целыми часами, пока какая-нибудь коза не выскакивала внезапно, загадочно поглядывая на меня; вот дерево, возле которого старый разбойник убил карабинера семьдесят лет тому назад. Еще один, последний поворот — и большой деревянный крест с

фигурой Христа показался на земляном холмике; последний короткий подъем — и дорога уже идет, суживаясь, между домами. Долгий гудок, люди сторонятся, прижимаясь к дверям, и вот мы наконец у двери гостиницы Приско. Меня встретил громовой голос хозяина, который начал звать жену и детей: «Сюда! Смотрите! Вернулся дон Карло!» И вот все они, взволнованные, оживленные, шумные, вокруг меня. Очень славная семья! Приско был человек лет пятидесяти, крепкий, ловкий, вечно в движении, в делах; он ни минуты не молчал. У него была круглая голова с коротко остриженными волосами, с черной четырехдневной бородой и круглыми хитрыми глазами; он вел дела с бродячими торговцами, торговал с соседними поселками, был полон инициативы и веселой энергии. Синьора Приско была столь спокойна и мягка, сколь шумен и резок был ее муж. Высокая, красивая, одетая в черное, по-матерински заботливая и невозмутимая в этом вечном гаме, она поджаривала мне хлеб на оливковом масле; ее голоса никогда не было слышно. Старший сын лет тринадцати-четырнадцати по прозвищу Капитан, признанный главарем всех мальчишек поселка благодаря своей храбрости и развитию не по возрасту, был маленького роста, хромым, с блестящими глазами, чувственными и одновременно очень лукавыми, с худым бледным лицом, на котором появились уже первые признаки растительности. Он все схватывал налету, говорил очень быстро, отрывисто или жестами, подчиняя своей воле всех своих сверстников. Я никогда не видел мальчика его возраста, который бы так мгновенно схватывал мысль, как он, в особенности если речь шла о торговых или каких-либо других делах, который бы так быстро производил в уме сложение и деление, в таком темпе играл в скопу*, что карты не успевали опуститься на стол. Всюду в поселке только и слышалось имя Капитана, всюду появлялась его худенькая, проворная фигурка, слышались его прихрамывающие шаги. Младший сын был полной противоположностью Капитана: он был высокий, тонкий, томный, молчаливый, с огромными глазами на нежном лице; он вышел весь в мать, так же как и его младшие сестры. Не успел я еще поздороваться с семьей Приско, как прибежал цирюльник Антонино Розелли со своим зятем Риккардо; они уже послали сообщить о моем приезде друзьям, которые не замедлят явиться. Антонино, черноволосый юноша с чер-

* Карточная игра, очень распространенная в Италии.— *Прим. перев.*

пыми усиками, цирюльник и флейтист, мечтал, как и все в Грассано, уехать куда-нибудь подальше. Он надеялся последовать за мной в качестве секретаря в путешествии по Европе. Он брался брить меня, подготавливать холсты, краски, кисти для рисования, искать для меня натурщиц, заниматься продажей моих картин, играть на флейте, чтобы развеять меня в часы тоски, ухаживать за мной во время болезни — одним словом, делать для меня больше, чем верный Илья для Витторио Альфьери* в его путешествиях по плоскогорьям древней Кастилии. Может быть, мне следовало бы воспользоваться его предложением, но, увы, и эту, как и тысячи других возможностей, я не использовал из-за лени, глупости и безразличия. Он был действительно славный парень, пожалуй, на мой взгляд, немного слишком цирюльник и слишком флейтист. Но он был очень мил и по-настоящему привязан ко мне. Когда в первые дни моего приезда из Рима я остался один, после одного тайного визита, Антонино вообразил, что я загрустил, явился со своими друзьями под мои окна и, чтобы утешить меня, сыграл серенаду. Флейта, скрипка и гитара печально звучали в великом безмолвии ночи.

Риккардо был моряк из Венеции, сосланный, как и все другие члены экипажа корабля, совершавшего рейсы в Одессу, за то, что по приезде в Триест на борту была найдена русская пропагандистская литература. Он был высокий, белокурый, атлетического сложения, чемпион по плаванию на четыреста метров. У него были светлые, широко расставленные глаза, почти на висках, как у птиц. Я сразу узнал его, потому что видел его портрет, выполненный де Пизисом**. Риккардо довольно хорошо устроился в Грассано, женился на сестре Антонино Маддалене, и они ждали ребенка. Он был теперь семейный человек и ничем не отличался от грассановцев. Кроме того, ссыльные в Грассано были почти что свободны: они могли ходить сколько им вздумается по обширнейшим землям коммуны; только раз в неделю они были обязаны отмечаться в муниципалитете; и правило гасить огонь соблюдалось без всякой

* Итальянский писатель-драматург (1749—1803). Путешествовал по Европе в сопровождении своего слуги Ильи, помогавшего ему во всех затруднениях.— *Прим. перев.*

** Луиджи Филиппо Тибертелли де Пизис (Филиппо де Пизис, род. в 1896 году) — известный итальянский художник-импрессионист и критик.— *Прим. перев.*

строгости. Риккардо был славный, добрый парень, и мне очень нравился его венецианский выговор.

Вскоре после Антонино и Риккардо пришли их друзья: мастеровые, столяры, портной, несколько крестьян.

В Грассано я знал крестьян гораздо меньше, чем в Гальяно, не только потому, что я там жил недолго и не занимался врачебной практикой, но и потому, что крестьяне в Грассано, быть может, еще более загадочные и замкнутые. В Гальяно они в большинстве имеют клочок земли; Грассано же — поселок крупных помещичьих владений, и крестьяне работают на чужих землях. Но условия, в которых они живут, мало чем отличаются, потому что трудно представить себе более страшную нищету, чем та, в которой живут и те и другие. Крестьяне Грассано существуют займами под будущий урожай, но когда наступает время жатвы, то им редко удается заплатить долг, и он увеличивается из года в год, все больше запутывая их в сети самой убогой нищеты. Крестьяне Гальяно работают на своем поле, но никогда не могут собрать столько, чтобы прокормиться и заплатить налоговому инспектору; несколько лир, случайно отложенные в урожайные годы, уходят на врачей и лекарства, главным образом против малярии; поэтому и они обречены на нищету и ничего не могут сделать, чтобы изменить свое положение. Нет никакой ощутимой разницы в жизни тех и других. Но если в Гальяно имеются только крестьяне и немного синьоров, то в Грассано, гораздо более крупном селении, есть еще нечто вроде многочисленного среднего класса, состоящего из ремесленников, главным образом из столяров. Я не раз спрашивал себя, для кого работают все эти столярные мастерские; и действительно, у них мало работы и они с трудом перебиваются. Наличие этого среднего класса придавало поселку особый «колорит»; мастеровые стояли целыми днями у входа в свои мастерские, почти все без работы, но зато в изобилии снабженные великолепными американскими инструментами. Крестьян можно было увидеть только на восходе и на закате солнца, отчего они казались еще более далекими и замкнутыми в своем таинственном мире.

Антонино, хороший цырюльник и разносчик вестей, сообщил мне новости Грассано. Их было немного: несколько «американцев» последовали примеру того, с золотыми пепочками, о котором я рассказывал, и сбежали в Нью-Йорк; начальник фашистской милиции уехал в Африку — единственный доброволец во всем поселке; тех, кто хотел поехать

в качестве рабочих, как и тех из Гальяно, не взяли, и они сокрушались по этому поводу; приехал новый ссыльный, словенец из Долмации, который умел делать все: модели кораблей и восковые статуэтки. Мое внезапное переселение три месяца назад долго еще служило предметом пылких дискуссий; оно было перенесено, как и все события, в зону борьбы местных партий; оппозиционеры обвиняли членов правящей партии в том, будто они донесли в Матеру, что я бывал у некоторых из их противников, как, например, у синьора Орlando или столяра Ласала; другие же утверждали, что это оппозиционеры писали анонимные письма, заставившие меня уехать,— писали только для того, чтобы в этом можно было обвинить партию, стоящую у власти; в глазах обеих борющихся партий это было тяжким нарушением традиционного гостеприимства Грассано. На самом же деле в моем переводе, я думаю, не были повинны ни те, ни другие. Но споры разгорелись и еще больше переполнили чашу извечной ненависти и обиды.

Меня все это не интересовало; я хотел воспользоваться оставшимся до конца дня временем, чтобы немного погулять и снова увидеть те места, которые я так любил. Я вышел в сопровождении группы молодых парней. Так как я приехал из Гальяно, то Грассано, в сущности такой же нищенский, показался мне чуть ли не краем изобилия, и большая живость грассанцев, их быстрый апулийский говор создавали впечатление, что я нахожусь почти что в городе, полном жизни. Наконец-то я снова увидел магазины, хотя это были всего-навсего жалкие лавчонки, скудно снабженные товаром; были здесь на площади перед дворцом барона Коллефуско и лотки бродячих торговцев, где продавались материи, лезвия для бритв, амфоры из глины, кухонная утварь. Стояла даже тележка с книгами— теми же самыми книгами, какие я видел в руках у Капитана, у мальчиков, у здешних крестьян: «Королевская династия Франции», жития разбойников, история Коррадино, альманахи, календари. Было еще в Грассано кафе— настоящее кафе, с бильярдом, с поставленными в ряд на шкафу старыми бутылками различной формы из литого стекла, которые сейчас так разыскивают коллекционеры, с портретами короля Виктора-Эммануила II, Гарибальди, королевы Маргариты, с изображениями держащих шар нагих женщин или просто руки, поднимающей пистолет.

На площади длиной в двести шагов, между гостиницей Приско и кафе, протекает вся светская жизнь Грассано. Справа и слева, вверху и внизу ничего больше не увидишь, кроме переулочков, лесенок и тропинок, проходящих между рядами крестьянских хижин. Эти хижины еще более бедны и убоги, чем хижины Гальяно, комнаты еще меньше, не видно огороδικов около домов, теснящихся друг к другу, как бы в испуге перед смертельной опасностью. И здесь овцы и козы, более многочисленные, чем в Гальяно, скачут по улицам, засоренным отбросами; и здесь полуголые, бледные, опухшие дети роются в обедках. Женщины здесь не носят ни вуали, ни местного костюма; но и у них лица землистые, замкнутые, дикие. И здесь то же терпение и покорность и в людях и в унылом пейзаже. Только здесь, в Грассано, больше соприкасающемся с внешним миром, еще сильнее ощущается желание убежать; но оно так и остается желанием, потому что осуществить его невозможно.

Я поднимался и спускался один по знакомым улочкам, пока не достиг церкви, и оттуда, с самого высокого места поселка, открытого ветру, я вновь окинул взглядом весь бесконечный горизонт, расстилающийся за пределы Лукании. Я увидел у моих ног хижины Грассано с желтоватыми крышами, дальше сероватый неровный склон горы, спускающийся к Базенто, и прямо перед собой горы Аччетуры, а еще дальше за ними долину, где прячется Феррандина, до самого Доломити ди Пьетра Пертоза, за которым теряется русло реки. Кругом огромное море бесформенной земли — за Бильозо, за пещерами разбойников и монакиккио, за Ирсиной, вздымающейся на щетинистом холме. Повсюду видны далекие деревушки, как паруса, затерявшиеся в море, и вдали можно разглядеть Саландру и Банци, где (это трудно представить себе в такой суши) действительно когда-то существовал прохладный источник, прозрачней стекла, достойный вина и козленка*; другие, более близкие, кажется, плывут по направлению к порту до Гроттоле, там, напротив, за часовней святого Антония, за двумя деревьями, затерявшимися в пустыне. На этой бесконечной, однообразной, волнистой равнине несколько лет назад начали выращивать пшеницу, жалкую пшеницу, которая не окупает ни семян, ни расходов, ни трудов. Когда я ее видел первый раз, было уже время

* Древние греки и римляне приносили в жертву нимфам источников вино и козлят.— *Прим. перев.*

жатвы. Вся земля вокруг была желтая от солнца; и только далекая песня молотилок нарушала тишину. Теперь все было серым, ничто не скрашивало это пустынное однообразие.

Я долго оставался там, пока не начало темнеть и не упало несколько капель дождя. Я торопливо спустился в гостиницу. Там уже собрался народ, ожидавший ужина,— проезжие возчики, бродячие торговцы и Паппоне. Еще с улицы услышал я заглушающий все голоса апулийский рев Приско и неаполитанские крики Паппоне; они как всегда, шутки ради, разыгрывали ссору. Паппоне был торговец фруктами в Баньоли; он часто заезжал по делам в Грасано, где можно найти превосходные груши; я познакомился с ним летом. Это был большой друг Приско, и они обычно, в знак взаимной симпатии, не переставая обменивались бранными словами. Паппоне кричал ему: «Ну, плавающее дерьмо!» — а Приско отвечал ему: «Дрянь в шелухе! Вонючка!» — и, начав с этого, они продолжали в том же духе, громко крича, бросая угрожающие взгляды и смеясь. Паппоне, бывший монах, был толстый, кругленький, прожорливый и в своем роде очень остроумный мужчина. Он был на редкость искусным поваром и, отстранив от печки синьору Приско, сам готовил к макаронам соус по-матросски, которым он всегда угощал меня; действительно, этот соус был самый вкусный из всех, какие мне когда-либо доводилось пробовать. Однако еще лучше он рассказывал самые необычайные истории, сопровождая их выразительнейшей мимикой. Но, увы, его рассказы были до такой степени непристойны, по-монашески порнографичны, что я не могу передать здесь ни одного из них, даже рассказанный за столом в этот вечер, хотя он был, может быть, самым невинным из всех, которые я от него слышал.

Наконец, я мог поужинать в компании. Это меня радовало, мне казалось, что я снова свободный человек. В те времена я до такой степени не любил сидеть один за столом, что предпочитал одиночеству какого угодно незнакомого сотрапезника. Скромнейший ужин мне показался роскошным, а рассказ Паппоне гораздо более остроумным, чем самые знаменитые и скучнейшие новеллы Фиренцуолы*. Мы ели, а Приско со стаканом вина сидел, засучив рукава, положив локти на стол, шумный, подвижной, весь в поту. Вошел

* Итальянский писатель (1493—1543), автор «Бесед о любви». — Прим. перев.

новый посетитель — торговец материями из Бриндизи, с которым я уже был знаком. Это был огромный человек, очень толстый и очень высокий, с лицом сказочного чудовища, большим носом, большими глазами, большими ушами, большими губами, большими челюстями, которые громко стучали, когда он ел. Съедал он, по крайней мере, за четверых; правда, это была единственная его еда в течение дня, потому что до самого вечера он уговаривал женщин покупать у него материи. Несмотря на его ужасные челюсти, на ручьи пота, бороздившие лицо, на весь его вид наводящего страх уродливого великана, это был славный человек и почти такой же остроумный, как его друг Паппоне.

Таким образом, за столом все были шумно веселы.

Капитан, его брат, их друг Бочча, юноша, служивший в муниципалитете, немного недоразвитый из-за перенесенного в детстве менингита, стояли в углу комнаты, жадно читая старый номер «Спортивной газеты». Чудовище из Бриндизи терпеть не мог спортивных восторгов и тотчас же набросился на Капитана, провозглашая громовым голосом:

— Капитан! Теперь только и говорят, что о спорте! О войне в Африке и о спорте. Никто ни о чем другом не думает. Но какой толк в этом спорте?

Капитан попытался отразить атаку:

— Карнера,— ответил он,— чемпион мира.

Торговец начал так смеяться, что стаканы на столе зазвенели.

— Ваш Карнера,— сказал он,— вроде Гарибальди.

Определение было настолько метким, что Капитан не нашелся что ответить, а великан продолжал:

— Это все трюки. Карнера победил, потому что так было заранее условлено. Он того же сорта, что и Гарибальди; история не меняется. В ваших школьных учебниках написаны одни выдумки, а на самом деле все совсем не так. Когда король Францискьелло должен был покинуть Неаполь и удалился в Гаэту, Гарибальди и его друзья в красных рубахах двинулись в атаку, веселые, гордые, храбрые. Со стен Гаэты стреляли пушки, но осаждающие ни на что не обращали внимания. Можно было подумать, что они отправлялись на свадьбу со знаменем и фанфарами впереди. Король Францискьелло, который видел из Гаэты, что пушечные выстрелы не производят впечатления, подумал: «Или они сумасшедшие, или здесь что-то не то, попробую-ка я разочек выстрелить».

Сказано — сделано. Он взял хорошее ядро, зарядил им пушку и сам выстрелил. Бум! Когда Гарибальди и его краснорубашечники увидели, что взорвалось ядро, они не ждали ни минуты — и давай бог ноги. Потому что первые выстрелы были всего лишь вспышками пороха; Гарибальди сговорился, как и Карнера. Когда король дал настоящий выстрел, Гарибальди сказал: «Здесь, в Гаэте, дело не пойдет. Ребята, пойдем в Теано!» И пошел в Теано.

Паппоне, Приско, возчики, торговцы — все засмеялись; Гарибальди в этих краях не популярен; и слава Карнеры была окончательно похоронена. Даже Капитан должен был признать себя побежденным; только Бочча, который перенес в детстве менингит, не был способен так быстро понять смысл всего сказанного и остался невозмутимым. Именно благодаря этому своему недостатку он и получил место в муниципалитете, где требовалось только держать в порядке бумаги да отчасти служить рассыльным курьером. Ко всяким инвалидам народ относится здесь хорошо и даже покровительствует им. Кроме того, как это часто бывает в подобных случаях, Бочча, если и медленно соображал, то зато имел железную память; правда, она удерживала только то, что каким-либо образом было связано с владевшими им страстями. Их было две: спорт и суд. Он знал наизусть имена всех участников футбольных команд Италии за последние годы и перечислял мне их, как будто читал литании; глаза его при этом так и сверкали от удовольствия. Но другая его страсть была еще более пылкой. Законы, адвокаты, дела в трибунале преисполняли его восторгом и наслаждением. Он знал наизусть фамилии всех адвокатов провинции и отрывки из их наиболее знаменитых речей; и в этом он не был одинок, потому что почти все здесь очень высоко ценили красноречие адвокатов. Но один случай, происшедший два-три года назад, был самым важным и радостным событием в его жизни. По какому-то небольшому делу о ссыльных выездная сессия суда заседала здесь, в Грассано, и выступал самый знаменитый юрист Матеры, прославленный адвокат Латронико. Боччо знал всю речь Латронико наизусть, и не проходило дня, чтобы он не повторял ее, пылая от восхищения в самых волнующих местах. «Волки Аччетуры, собаки Сан-Мауро, вороны Трикарико, лисицы Гроттоле и жабы Гарагузо», — сказал Латронико в своей заключительной речи. Боччо казалось, что это самый

высокий взлет красноречия. Жабы Гарагузо! — повторял он умиленно или восторженно, в зависимости от настроения. — Именно так, жабы Гарагузо, потому что они живут около воды, над болотом. Какая речь!

На стол, кроме макарон с соусом Паппоне, была подана ветчина, постная, но сочная, нарезанная большими ломтями, совсем иного вкуса, чем наша северная ветчина, и она показалась мне великолепной. Я похвалил ее Приско, и тот сказал мне, что ветчина привезена с гор; он сам ездил закупать ее у крестьян самых высоких и далеких селений. Это были очень маленькие окорока, и стояли они четыре лиры килограмм. Когда я сказал Приско, что в городе она стоит по крайней мере в пять раз дороже, в его живом уме сразу созрел план предприятия. Он предложил мне, если у меня есть друзья, которые могли бы заняться торговлей, создать с ним компанию по продаже ветчины; он мог бы закупать ее в горах, а я через моих знакомых — продавать. Правда, сейчас много ее не купишь, но, может быть, в будущем удастся увеличить производство. У меня нет никакой коммерческой жилки, и, может быть, поэтому его предложение показалось мне блестящим. Я ответил, что, поскольку уже упоминался Гарибальди, я тоже позволю себе сказать, что могу поступить как он, потому что при обстоятельствах, сходных с моими, он начал продавать свечи, а между свечами и ветчиной я не вижу большой разницы. Охваченный пылом новизны, я написал одному приятелю, который вывозил и продавал самые разнообразные вещи в самые необычные места мира. Через некоторое время он сообщил мне, что ветчина его не интересует, что хотя она и очень хороша, но тамошние покупатели привыкли к другой, что для ее продажи пришлось бы создать предприятие, не соответствующее малому количеству товара; вместо этого он спрашивал меня, нельзя ли найти дрок, на который теперь, во времена автаркии, весьма большой спрос. Дрок — это единственный цветок здешних пустынь, он растет всюду на сухих кустарниках и служит пищей козам. Но мой коммерческий энтузиазм к тому времени остыл, и дело заглохло.

Быстро прошел этот первый вечер в компании, за деловыми проектами, веселыми историями, воспоминаниями о Гарибальди. Чудовище из Бриндизи пошел спать в свой грузовичок, чтобы самому охранять ночью от покражи свои материалы; возчики с наступлением темноты уехали в Трикарико, только Паппоне и я остались у Приско; поэтому каждый из

нас мог занять комнату, не деля ее ни с кем в эту ночь. Я хотел рано встать на другое утро и спуститься вниз, к Базенто, чтобы зарисовать Грассано таким, каким я видел его снизу, со станции, высоко поднятым к небу, как некий воздушный город. Антонино, узнав о моих намерениях, предложил себя в попутчики; на рассвете он ждал меня у дверей с мулом, который должен был везти холсты и мольберт, и группой друзей, пожелавших тоже отправиться со мной. Здесь были Риккардо, Кармело, чернорабочий-велосипедист, рассказывавший о монакиккио, столяр, портной, два крестьянина и двое-трое мальчишек. Погода хмурилась, дул ветер, но можно было надеяться, что дождя не будет. В холодном рассеянном свете все казалось рельефней и, может быть, менее печальным в своей монотонности, чем при немилосердно палящем солнце; была как раз такая погода, какую я предпочитал для своей новой картины. Младший сын Приско присоединился к нашей компании. Капитан попрощался с нами у дверей: дорога была слишком длинна для его хромой ноги. Мы начали спуск по крутой тропинке; впереди бежал наш вестовой — Барон; избегая изгибов и поворотов дороги, можно через восемь-десять километров дойти до глубины долины. По этой самой дороге и почти в той же компании я спустился однажды августовским полднем, чтобы выкупаться в Базенто, в уединенном месте, где река образует непроточную канаву, по берегам которой растет несколько топей, кажущихся перенесенными из другого пейзажа, по чьей-то причуде приплывшими и проросшими здесь. Раздевшись донага в полуденном августовском зное, мы погрузились в речку; мои товарищи ловили руками рыбу, притаившуюся в ямах илистых берегов; и они поймали нескольких рыбешек этим первобытным способом. Рыбачить в этих реках запрещено, потому что рыба должна уничтожать личинки комаров; но никто не обращает внимания на запрет; весь год у бедняков Грассано так мало еды, что рыбное блюдо кажется небесным даром. Потом мы обсохли на солнце под стрекот цикад и жужжание комаров на раскаленной, точно рефлектор, глине... Теперь же, напротив, воздух был свежий; но пейзаж не изменился; только из желтоватого стал сероватым. Мы дошли до места, которое мне казалось подходящим для работы, и я остановился. Со мной остался Антонино, который считал своей привилегией подавать мне тюбики краски, когда в них появлялась надобность, и мальчик, чтобы пасти мула, жевавшего солому. Остальные спу-

стились к реке, надеясь удачно половить рыбу, а я начал рисовать.

Отсюда пейзаж казался менее живописным, но мне он очень нравился. Не было отчетливого контура ни дерева, ни плетня, ни скалы. Не было никаких контуров, не было привычной риторики природы-созидательницы или труда человека. Только однообразное пространство покинутой земли да белая деревушка на возвышении. На сером небе маленькое, летящее над самыми домами облачко напоминало смутные силуэты ангелов.

Мои товарищи вернулись с реки с пустыми руками. Они окружили мой холст, пораженные тем, что Грассано родился вот так, из ничего. Я всегда замечал, что вообще крестьяне, не тронутые псевдокультурой, способны понимать живопись; и я часто спрашивал их мнения о том, что делал. Пока я продолжал работать, друзья разожгли огонь, чтобы согреть пищу, которую они принесли с собой, и поели тут же, сидя на земле, рассматривая мою картину на мольберте, к которому мы прислонили большие камни, чтобы ветер не смог его унести. Мы уже поели, когда пошел дождь, и нам оставалось только вернуться домой. Картина была почти закончена, мы накрыли ее, погрузили на мула и под мелким дождем отправились в путь.



В поселке нас ожидала необычайная новость: в фургоне, запряженном тощей лошастью, приехала труппа актеров. Они собирались остаться на некоторое время, дать несколько спектаклей. Фургон, крытый вощенным брезентом, стоял на площади со свернутыми декорациями и занавесом. Актеры хлопотали вокруг фургона, заходили в дома крестьян, ища там приюта, чтобы не тратиться в гостинице Приско. Труппа представляла собой одну семью. Отец — главный актер труппы, мать — примадонна, две дочери моложе двадцати лет с мужьями и еще несколько родственников. Они были сицильянцы. Отец тотчас же отправился к Приско, чтобы взять чего-нибудь горячего для жены, у которой была лихорадка. В этот вечер представление не могло состояться, завтра, вероятно, тоже, и они задержатся на несколько дней. Главный актер был человек средних лет, уже начинающий полнеть, с отвислыми щеками, с выразительной мимикой в манере Цаккони*. Когда он узнал, что я художник, он сказал, что для него было бы большим счастьем, если бы я нарисовал несколько декораций, которые ему были необходимы. Старые декорации пришли почти в полную негодность, так как их возили в фургоне под солнцем и дождями. Он рассказал, что играл раньше в хороших труппах, а потом, чтобы как-нибудь прожить, вынужден был начать бродячую жизнь с женой и дочерьми, очень хорошими актрисами. Они ездили по городам Сицилии; здесь, в Лукании, они еще никогда не были. Они останавливались в поселках покрупнее и побогаче, на более короткое или долгое время в зависимости от сборов; но сборы были небольшие, жизнь трудная, одна из дочерей беременна и скоро не сможет выступать. Я сказал ему, что охотно нарисую декора-

* Знаменитый итальянский актер, особенно прославившийся в роли Освальда в пьесе Ибсена «Привидения». — *Прим. перев.*

ции; но мы напрасно пытались найти в поселке бумагу или холст и необходимые краски, и я не смог, к великому моему огорчению, что-нибудь для них сделать. Тем не менее он пригласил меня на представление, состоявшееся через два дня, и познакомил со своей труппой. Из всей семьи только у отца была обычная внешность старого актера; мать и дочери, очень похожие, напоминали не актрис, а богинь. Казалось, они вышли из земли или спустились с неба; их огромные черные глаза были холодные и пустые, как у статуй. Их бесстрастные мраморные лица на белых крепких шеях были прорезаны густыми черными бровями и красными полными губами. Мать, высокая, тучная, напоминала архаическую лениво-чувственную Юнону; дочери, тонкие и гибкие, казались нимфами лесов, одетыми по странной причуде в цветные лохмотья.

Я поторопился пойти к карабинерам, чтобы получить позволение выйти вечером и присутствовать на спектакле. Доктор Цагарелла, подеста Грассано, не любил, в отличие от дона Луиджино, возиться с полицейскими делами и предоставлял карабинерам заниматься ссыльными. Это был серьезный, культурный врач; благодаря ему и другому врачу, доктору Гарагузо, слывшему особенно знающим, Грассано было единственным селением в провинции, где что-то делалось для борьбы с малярией и даже имелись некоторые достижения в этой области. Эти два врача были счастливым исключением, потому что во всех остальных поселках почти все их коллеги в какой-то мере напоминали двух врачешек Гальяно. Вот почему я наметил себе в числе обязательных задач моего путешествия побывать у этих исключительно опытных врачей и получить некоторые консультации.

Они дали мне ценные советы и ознакомили с некоторыми данными статистики, собранными ими. Вот уже несколько лет они регулярно проводили в Грассано профилактические мероприятия, осушали болота, и все это без всякой поддержки местных властей, без денежных субсидий. Смертельные случаи почти прекратились, а в последние два года резко сократилась заболеваемость. Малярия в этих местах гораздо худший бич, чем это можно себе представить; она поражает всех и, если ее плохо лечат, длится всю жизнь. Она не дает работать, ослабляет организм, ведет к вырождению целых поколений, уничтожает скудные сбережения, порождает самую беспросветную нищету, безнадежное рабство. Причина болезни — скудость глинистой земли, лишен-

ной лесов, загрязненность рек, низкие урожаи, что, в свою очередь, порождает нищету; таков этот порочный круг. Чтобы вырвать малярию с корнем, нужно очень многое: надо запрудить четыре больших реки Лукании — Брадано, Базенто, Агри, Зинни — и мелкие потоки; нужно покрыть лесами склоны гор, нужно послать всюду опытных врачей, построить больницы, создать условия для лечения и предупреждения болезней. И даже самые скромные меры могли бы дать эффект, утверждали Цагарелла и Гарагузо. Но никто этим не занимается, и крестьяне продолжают болеть и умирать.

Уже чувствовалось приближение осени. Шел дождь все три дня перед спектаклем, и я не мог рисовать на воздухе. Я гулял по поселку, посещал знакомых и работал у себя в комнате. Приско был на охоте, вернулся с тремя рыжими лисицами местной породы и с одной водяной птицей. Я нарисовал их и сделал портрет Капитана. Однажды, рисуя лисиц, я прервал на мгновение работу и посмотрел через окно на улицу. Был полуденный час, в гостинице все спали, все было погружено в абсолютную тишину. Вдруг я услышал чьи-то быстрые шаги на лестнице; это был Приско — босой, с засученными рукавами; он одним прыжком выскочил на улицу и стремглав вбежал в дверь напротив и затем бесшумно выбежал с ножом в руках. Я открыл окно и услышал крики нескольких голосов. Напротив был сарай, где останавливались проезжие возчики. Оказывается, дело было так. Приско, дремавший в своей комнате, — он всегда спал, прикрыв только один глаз, насторожив уши, — сразу же понял, что что-то происходит напротив, где возчики играли в пассателлу. Он увидел, как что-то сверкнуло и, не обувшись и не произнеся ни звука, прибежал с ловкостью кошки к месту происшествия, вырвал нож из рук того, кто уже собирался занести его.

Пассателла — самая распространенная игра в этих местах; это крестьянская игра. В праздничные дни, в длинные зимние вечера они играют в нее в винных погребках; но часто она кончается плохо: если не всегда доходит до ножей, как чуть не случилось в этот раз, то, во всяком случае, без споров и ссор не обходится. Пассателла это не столько игра, сколько «турнир крестьянского красноречия», где в бесконечных словесных излияниях находят себе исход все обиды, вся ненависть, вся затаенная месть. Быстро разыгранная партия определяет, во-первых, победителя, который стано-

вится королем пассателлы, и, во-вторых, его советника. Король — хозяин бутылки, за которую платят все, он наполняет стаканы кому хочет, по собственному выбору, и оставляет кого хочет без капли вина. Советник подносит стаканы и имеет право вето, то есть он может запретить человеку, уже готовящемуся выпить, поднести стакан ко рту. И король и его советник должны обосновать свой выбор и свое вето, и они делают это в споре, произнося длинные речи, в которых ирония смешивается с затаенными страстями. Иногда игра проходит невинно и заканчивается шуткой — например, заставляют все выпить одного, того, кто не переносит вина, или не дают вина как раз тому, кто больше всех любит выпить. Но чаще всего в доказательствах, приводимых королем и советником, в их длинных речах открываются ненависть, корыстность, коварство, недоверие и скрытые мысли крестьян. Пассателла и вино сменяют друг друга на протяжении многих часов, пока лица не разгорячатся от вина, жары и пробужденных страстей, обостряемых иронией и усиливаемыми алкоголем. Если даже не возникает ссора, то все чувствуют горечь сказанных слов, выслушанных оскорблений. Приско хорошо знал это единственное развлечение крестьян и был настороже.

Когда ссора возчиков, прервавшая мою работу, утихла и лисицы были нарисованы, я вышел немного прогуляться. Дождь кончился, воздух был полон запахом жженого мяса нъемуриелли, готовившихся на жаровнях посреди улицы и продававших по два сольди за кусок. Я поднялся немного по лесенке и дошел до дома, где жил последние дни перед моим отъездом в Гальяно после того как покинул гостиницу Приско и где думал обосноваться окончательно. Я разместился на втором этаже в большой комнате с двумя окнами; эту комнату мне сдавала вдова-неаполитанка. Внизу была мастерская столяра. Жена столяра Маргерита, убравшая мою комнату, очень хорошо ко мне относилась. И сейчас, увидев меня издали, она побежала навстречу, чтобы приветствовать меня.

— Вернулся? Останешься у нас?

Она очень жалела, что я снова должен был уехать. Маргерита была старушка с очень добрым лицом, с большим зубом, уродовавшим ее шею. Она считалась одной из самых умных и культурных женщин в поселке, потому что кончила пять классов начальной школы и великолепно помнила все, чему училась. Когда она приходила ко мне в

комнату, то даже декламировала наизусть стихи своих школьных лет: «Экспедиция Сапри», «Смерть Эрменгарды». Она произносила их нараспев, стоя посреди комнаты, неподвижно держа руки по бокам. Время от времени она останавливалась, чтобы объяснить мне какое-нибудь трудное слово. Маргерита была добрая и ласковая старушка. Она часто говорила мне:

— Не грусти, что твоя мать далеко. Ты потерял одну мать, но нашел другую. Я буду твоей матерью.

И хотя она была больная, она действительно по-матерински заботилась обо мне. У нее было два уже взрослых, женатых сына; один жил в Америке. О сыновьях она часто и охотно говорила, показывала мне фотографии внуков. Но когда я как-то раз спросил ее, не было ли у нее еще детей, она неожиданно заплакала. Оказывается, у нее был третий, самый любимый сын, но он рано умер. Она сквозь слезы рассказал мне его историю. Третий сын был самый красивый, у него были черные кудри и живые глаза, ему было полтора годика с небольшим, но он уже хорошо говорил и понимал все. Однажды в зимний день, когда снег покрывал все кругом, Маргерита поручила сына соседке-куме. Соседке понадобилось уйти за дровами, и она взяла мальчика с собой. Вечером соседка вернулась домой одна в полном отчаянии. Она оставила мальчика — он ведь еще плохо ходил — на несколько минут, пока собирала на лесной тропинке хворост; когда она вернулась, ребенка не было. Она обошла все вокруг, но ребенка и след простыл. Должно быть, его схватил волк или другой лесной зверь, и его уже никогда не удастся найти. Маргерита, ее муж, все крестьяне, карабинеры отправились тотчас же на поиски и всю ночь и следующие дни обыскивали окрестности метр за метром, но ребенок не был найден, и через три дня поиски прекратили. На четвертый день утром Маргерита, неутешно и одиноко бродившая по полям, встретила высокую красивую женщину с черным лицом. Это была Мадонна ди Виджано. Она сказала ей:

— Не плачь, Маргерита. Твой ребенок жив. Он там в лесу, в волчьей берлоге. Иди домой, позови спутников и ты найдешь его.

Маргерита побежала в поселок, позвала крестьян и карабинеров, и они все отправились к тому месту, которое указала Мадонна. В волчьей берлоге на снегу лежал ее мальчик. Он спокойно спал, розовый и теплый, несмотря

на ледяной холод. Мать обняла его и разбудила. Все плакали, даже карабинеры. Мальчик рассказал, что пришла женщина с черным лицом, взяла его и четыре дня держала около себя в этой волчьей берлоге, кормила грудью, согревала. Когда они вернулись домой, Маргерита сказала своему мужу:

— Он не такой, как все дети. Мадонна ди Виджано кормила его грудью в волчьей берлоге. Кто знает, что из него выйдет. Пойдем в Гроттоле, погадаем. В Гроттоле,— говорила Маргерита,— жил тогда предсказатель, который очень правильно гадал. Мы пошли к нему, заплатили лиру, и он передал нам все, что случилось, будто сам все видел. Но потом его лицо омрачилось и он сказал, что ребенок в шестилетнем возрасте упадет с лестницы и умрет. Так оно и вышло. В шесть лет мой бедный мальчик упал с лестницы и умер.— Маргерита плакала.

И другие дети были похищены и унесены по воздуху и потом найдены с помощью черноликой Мадонны. Однажды исчез ребенок всего нескольких месяцев, и нашли его на одном дереве, что стоит рядом с часовней святого Антония, в десяти километрах от поселка, на полдороге между Грасано и Гроттоле. Это дьявол унес его туда, а святой Антоний позаботился о нем. Но единственный из унесенных детей, с семьей которого мне удалось познакомиться, был сын Маргериты.

Наконец наступил вечер спектакля. Дождь перестал, звезды блестели, когда я отправился в конец селения. Во всем поселке не было ни одного зала, ни одной гостиной, которые могли бы быть использованы для театра; актеры выбрали какой-то винный погребок или пещеру, наполовину врытую в землю; туда принесли парты из школы и поставили на притоптанную землю. В глубине построили маленькую сцену, отделив ее ветхим занавесом. Помещение было битком набито крестьянами, которые восторженно ожидали начала представления. Была показана пьеса Габриэля д'Аннунцио «Факел над Моджо». Конечно, я думал, что буду скучать на этой риторической драме, разыгранной неопытными актерами, и не ждал в этот вечер ничего, кроме новизны впечатлений. Но все оказалось совсем иначе. Эти божественные женщины с громадными пустыми глазами, с жестами, полными сдержанной страсти, неподвижные, как статуи, играли великолепно; и на сцене, шириной в четыре шага, они казались огромными. Вся риторика, замыслова-

тость языка, чванная пустота трагедии исчезли, и осталось то, что должно было быть и чего не было в произведениях д'Аннунцио, — суровая жизнь, полная неугасимых страстей в мире земли, не знающем времени. Впервые произведение поэта из Абрुцц показалось мне прекрасным, освобожденным от всякого эстетизма. И я понял, что этим очищением произведение обязано не столько актрисам, сколько публике. Крестьяне следили за событиями с глубоким интересом. Деревни, реки, горы, о которых говорилось в пьесе, были недалеко отсюда. Крестьяне знали их, это были такие же земли, как и у них, и они громко выражали свое одобрение, слыша эти названия. Духи и демоны, которые появлялись в трагедии и влияние которых чувствовалось за событиями, были теми же духами и демонами, что живут в здешних пещерах и глинах. Присутствие крестьян делало все естественным, возвращенным в свою подлинную атмосферу, в их замкнутый, безнадежный, непередаваемый мир. В этот вечер трагедия предстала очищенной актерами и публикой от всего «даннунцианского», в ней сохранилось только основное, неприкрашенное содержание, которое крестьяне воспринимали как что-то очень близкое. Это была иллюзия, но она казалась правдой. Д'Аннунцио действительно вышел из крестьян; но он был итальянским литератором, а потому не мог не предать их. Он уехал отсюда, из непередаваемого мира, и захотел облечь его в сверкающую одежду современной поэзии, полной выразительности, чувственности, ощущения времени. Поэтому он низвел этот мир до простого орудия риторики, эту поэзию — до пустоты языкового формализма. Его попытка могла привести только к предательству и провалу. От этого гибридного союза могло возникнуть только чудовище. Сицилийские актрисы и крестьяне Грасано бессознательно проделали обратный путь; они отбросили эту фальшивую одежду, оставив свою, крестьянскую, сущность; и это растрогало и взволновало их. Два мира, дурно соединенные в эстетизирующей пустоте, вновь разединились, так как никакая связь между ними невозможна, и за этой волной ненужных слов крестьяне разглядели правдивые образы — Смерть и Судьбу.

На следующий день я был приглашен на завтрак к синьору Орландо, брату известного журналиста, жившего в Нью-Йорке. Это был высокий, серьезный и меланхоличный человек. Он жил замкнуто в своем маленьком особняке в уединенной части поселка; противник современных властей, он

старался держаться как можно дальше от всех местных дел. Я рисовал обложку для одной из книг его брата; это и послужило предлогом для нашего знакомства, и он был со мной очень любезен. Он еще соблюдал старинные обычаи Лукании: его жена не ела за столом с нами. Мы, сидя одни, говорили о крестьянах, о малярии, о сельском хозяйстве, о различных сторонах проблемы Юга. Я встретился в этот день с одним ссыльным туринским бухгалтером, мелким служащим профсоюза, сосланным сюда, по его словам, как козел отпущения, за скандальные хищения средств в профсоюзных кассах, произведенные его начальниками. Он нашел работу — вел конторские книги в одном из самых больших имений Грассано; он показывал мне их. В этом большом имении сеяли только пшеницу, согласно директивам властей. В урожайные годы, несмотря на весь уход и удобрения, удавалось собрать урожай лишь в девять раз больше потраченных семян, в другие годы и того меньше, а иногда урожай лишь в три-четыре раза превышал вес семян. Требование сеять пшеницу было безумием в экономическом отношении. На этих землях дают хороший урожай только миндаль и маслины; и особенно важно вновь покрыть землю лесами и пастбищами. Крестьяне получают голодную плату. Я вспомнил день моего приезда. Это было в разгар жатвы — длинные вереницы женщин поднимались с полей на берегах Базенто вверх по нескончаемой дороге, неся на голове мешки с зерном, как грешники в аду под палящим солнцем. За каждый принесенный в поселок мешок они получали лиру. А внизу, в полях, была малярия. Но многие считали, будто единственной причиной здешних бедствий является крупное землевладение и достаточно разбить большие хозяйства на мелкие — и земля будет, как говорится, спасена. Это утверждение не имеет основания. Условия жизни мелких владельцев земли в Гальяно не лучше, а даже, может быть, хуже, чем у здешних безземельных крестьян. Что же делать при таких условиях?

— Ничего, — говорил Орlando с глубокой грустью жителя Юга, повторяя это безутешное слово вслед за самым гуманным и выдающимся мыслителем этих краев — Джустино Фортунато, который любил называть себя «политиком отрицания». Я думал о том, сколько раз каждый день слышал я это слово в разговорах крестьян. Ничего, — говорят в Гальяно. Что ты ел? — Ничего. — Чего ждешь? — Ничего. — Что можно сделать? — Ничего. Все то же слово,

и глаза поднимаются с выражением отрицания к небу. Другое слово, которое всегда звучит в разговоре, это «сгаі», латинское «сгаз», что значит «завтра». Все, чего ждут, все, что должно случиться, что должно быть сделано или изменено, все это «сгаі». Но «сгаі» значит «никогда».

Пессимизм Орландо, свойственный всем южанам, серьезно размышляющим над проблемами своего края, проистекает, как и у всех, от прочно укоренившегося сознания своей неполноценности. Вероятно, они просто не могут понять свою землю и свои задачи, потому что исходят они, сами того не сознавая, от сравнения себя с «теми»; такое сравнение совершенно нельзя проводить, во всяком случае сейчас. Если рассматривать крестьянскую культуру как низшую, то сразу возникает чувство бессилия или жажда мести; но ни бессилие, ни мщение никогда не создавали ничего живого.

Так незаметно пролетели несколько дней в Грассано — в занятиях живописью, театром, в посещениях друзей, — и я должен был возвращаться. Однажды рано утром, в серый пасмурный день, автомобиль ждал меня у двери. Приско, его дети, Антонино и Риккардо, шумно простились со мной, и я послал последнее прощание поселку, куда я уже никогда больше не возвращался.

Гальяно принял меня снова и сомкнулся вокруг, как зеленая вода болота втягивает лягушку, задержавшуюся на берегу, чтобы посушиться на солнце. Мне казалось, что я еще более далек от всех и еще более одинок, чем прежде; ни один звук не долетал до меня из внешнего мира, сюда не заходили ни актеры, ни торговцы. Ведьма ждала меня у порога дома, заслонив, как обычно, вход своим большим черным телом, не знающим возраста. На площади меня ждал дон Луиджино, довольный тем, что я снова в его власти. В хижинах меня ждали больные, только их стало больше за неделю моего отсутствия. И я снова вошел в течение однообразных дней, как раньше.

Погода стояла холодная. Из глубины пропастей ветер поднимался ледяными вихрями, дул непрерывно, точно со всех сторон сразу, пронизывал до костей и прятался, рыча, в пастях каминов. По ночам, сидя один у себя в доме, я прислушивался к нему: это был непрерывный крик, вопль, стон, точно все духи земли в один голос жаловались на свое безутешное рабство. Пришли дожди, долгие, обильные, бесконечные, поселок окутал беловатый туман, затаившийся в долинах; вершины холмов поднимались из этой тусклой белизны, как острова над бесформенным морем тоски. Глина начала разжижаться и медленно стекать по склонам, скользя вниз серыми потоками расплавившегося мира. Металлический стук капель, падавших на террасу, звенел точно по натянутой коже и сливался с ворчанием и свистом ветра; я был как в палатке посреди пустыни. Через окна проникал неясный, сумрачный свет; холмы, казалось, скорбно дремали в этой мертвенной белизне. Только Барон бегал как сумасшедший по улице, бултыхался в воде, обнюхивал намокшую землю и возвращался, прыгая, отряхивая промокшую шерсть. Встречный ветер гнал дым из камина в комнаты — едкий, вонючий дым от стволов можжевельника и бурьяна,

вязанки которых привозила мне из лесу на осле одна крестьянка. Я должен был или сидеть в холоде или плакать от дыма. Глаза мои разъедало, и в этой сырой, точно растворяющейся атмосфере протекали часы. Потом пошел снег, руки женщин покраснели от мороза, поверх белых вуалей появились широкие плащи из черного сукна; и еще более застывшая неподвижность, еще более глубокое, чем обычно, безмолвие, казалось, сгустилось над пустынным пространством гор.

Однажды вечером, когда яростный ветер разогнал немного тучи, я услышал трубу глашатая и треск барабана; странный голос могильщика псвторял перед каждым домом на той же высокой визгливой ноте свой призыв:

— Женщины, приехал свинолекарь. Завтра в семь все на Тимбоне делла Фонтана со своими свиньями! Женщины, приехал свинолекарь!

Утром погода была ненадежная, но сквозь низкие тучи проскальзывал иногда клочок неба. Снег почти весь растаял, лишь кое-где оставались островки снега, наметенного ветром. Я спешно вышел из дома и отправился в путь.

Тимбоне делла Фонтана — широкая открытая, почти плоская площадка между холмиками глины, вблизи старого источника, немного поодаль от поселка, справа от церкви. Когда я пришел туда в еще сером свете утра, она уже была запружена толпой. Почти все женщины, молодые и старые, собрались там; многие держали на поводке, как собаку, свою свинью; другие просто пришли посмотреть на оскопление. Белые вуали и черные шали развевались на ветру. В режущем, холодном воздухе слышались шум голосов, крики, смех, хрюканье. Женщины раскраснелись, были возбуждены; страстное ожидание смешивалось со страхом. Бегали дети, лаяли собаки, все было в движении. Посреди Тимбоне стоял, вытянувшись, человек ростом почти в два метра, крепкий, рыжеволосый, с красным лицом, голубыми глазами, с большими висячими усами, которые делали его похожим на древнего варвара, на Верцингеторикса *, случайно попавшего в эту страну черных людей. Это и был свинолекарь. Лечить свиней, которых держат не для размножения, значило кастрировать их, чтобы они лучше жирели и чтобы мясо было нежнее. С боровом это

* Вождь галлов, живший в I веке до н. э. В 46 году до н. э. был казнен Цезарем после шестилетнего рабства.— *Прим. персв.*

проделать нетрудно, и крестьяне справляются сами, когда животное еще совсем маленькое. Но у свиньи приходится вырезать яичники, а это настоящая операция, требующая ловкого хирурга. Этот обряд и выполняют свинолекарки — полужрецы, полухирурги. Их очень мало, это редкое искусство, которое передается от отца к сыну. Тот, что приехал сюда, был знаменитый свинолекарка, сын и внук свинолекарки; два раза в год он обходил селения и делал свое дело. Он считался очень искусным: редко случалось, чтобы животное умирало после операции. Но женщины все равно трепетали от страха и от жалости к животному.

Рыжий человек стоял, как властитель, посреди площади и точил нож. Он держал во рту, для того чтобы освободить руки, толстую матрасную иглу; веревочка, продетая в ушко, спадала на грудь в ожидании первой жертвы. Женщины вокруг него стояли в нерешительности, каждая подбадривала восклицаниями соседку или подругу, просила, чтобы та первая дала свое животное. Свиньи тоже, казалось, знали, какая судьба их ожидает: они упирались ногами, тянули веревку, пытались убежать, и визжали, как испуганные девушки, почти человеческими голосами. Молодая женщина вышла вперед со своим животным, и два крестьянина, которые вызвались помогать, тотчас схватили розовую хрюшку, вырывавшуюся и кричавшую от ужаса. Крепко держа животное за ноги, они повернули его животом вверх и привязали к двум колышкам, вбитым в землю. Свинья визжала, а молодая женщина перекрестилась и призвала Мадонну ди Виджано под сочувственный шопот всех остальных женщин. Операция началась. Свинолекарка, быстрый, как ветер, сделал разрез своим кривым ножом на боку животного до впадины живота; разрез точный и глубокий. Кровь брызнула струей, смешиваясь с грязью и снегом; но рыжий человек не терял времени: он засунул руку по самую кисть в рану, захватил яичник и вытащил его. Яичники у свиньи скреплены связкой с кишечником; найдя левый яичник, надо было, не делая второго разреза, вытащить и правый. Свинолекарка, не отрезая первого яичника, приколот его своей толстой иглой к коже живота свиньи; и, удивившись, что он не выскользнет, начал двумя руками вытаскивать кишки, наматывая их, как клубок. Метр за метром выходили кишки из раны, розоватые, лиловые, серые, с синими венами и комками желтого жира при скреплении с сальником; они появлялись еще и еще, и, казалось, этому

не будет конца. Но вот в какой-то момент появился правый яичник, прикрепленный к кишкам. Тогда, не прибегая к ножу, лекарь одним рывком оторвал оба яичника и бросил их, не оборачиваясь, назад, своим собакам. Это были четыре громадных белых водолаза с большими пушистыми хвостами, со свирепыми красными глазами; на них были ошейники с железными шипами, которые защищают собак от волчьих укусов. Собаки ждали броска и хватали на лету окровавленные яичники, а затем, наклонившись, подлизывали разбрызганную по земле кровь. Человек не останавливался. Оторвав яичники, он тотчас же стал втискивать кишки кусок за куском назад в живот, заправляя их пальцами, проталкивая силой, когда они не входили, потому что воздух раздул живот, как шину. Но вот все было водворено на место, рыжий вынул изо рта, скрытого за большими усами, иглу и наложил шов на рану. Свинья, снятая с колышков, одно мгновение оставалась как бы в нерешимости, затем вскочила на ноги, встряхнулась и с визгом бросилась бежать, преследуемая женщинами, в то время как молодая хозяйка, оправившись от страха, искала в кармане под юбкой две лиры в вознаграждение свинолекарю. Вся операция длилась не более трех-четырёх минут; и вот уже следующая жертва привязана помощниками, положена на спину. И так все утро, без перерыва, кастрировали свиней. День просветлел, сильный холодный ветер гнал по небу обрывки туч. Запах крови отягощал воздух; собаки уже насытились этой еще живой плотью. Земля и снег были красны; голоса женщин звучали громче, кастрированные животные и те, что еще ожидали своей участи, всякий раз, как одну из свиней валили на землю, визжали все вместе, сочувственно перекликаясь, как хор плакальщиц. Но люди были веселы — ни одно животное, видимо, не погибнет. Был уже полдень; искусный свинолекарь поднялся во весь рост и сказал, что откладывает на послеполуденное время операции оставшимся животным. Женщины начали расходиться, ведя на поводке своих свиней. Лекарь, пересчитывая заработанные монеты, направился в сопровождении своих собак к дому вдовы, чтобы позавтракать; и я тоже пошел вслед за ним. Несколько дней в поселке только об этом и говорили; еще не прошли опасения, как бы не погибло какое-нибудь кастрированное животное; но все было хорошо, все успокоилось, всякие опасения исчезли. Свинолекарь со своими рыжими усами жреца-друида и жертвен-

ным ножом, сопровождаемый благословениями, в тот же вечер отправился в Стильяно.

Ночь наступала теперь очень быстро; вечера у очага, который трещал, шипел, вспыхивал и дымил, тянулись долго и грустно; Барон настораживал уши, вслушиваясь в вопли ветра и далекий вой волков. Работать крестьянам приходилось все меньше; в дурную погоду было бесполезно отправляться в поле; они оставались дома, у своих погасших очагов, или встречались в винном погребе и играли в бесконечные пассателлы. К счастью, дон Луиджино тоже увлекался этой народной, требующей красноречия игрой; он проводил в погребе все послеполуденные часы в обществе учителя, адвоката П., вечного студента из Болоньи, четырех или пяти помещиков и даже, чтобы показать свой демократизм и иметь необходимое число партнеров, приглашал караульного или цирюльника-«американца»; выходил он оттуда только поздно вечером с блестящими глазами, едва держась на ногах. Я мог теперь пройти через площадь, не опасаясь, что встречу его. Но ему нехватало с некоторых пор лучшего из игроков, его правой руки, необходимого и неразлучного соучастника его власти. Бригадир карабинеров, накопив, как говорили, тысяч сорок лир в этом поселке и выжав из него все что мог, попросил, чтобы его перевели в другое, более богатое место.

Новый бригадир был полной противоположностью своему предшественнику. Этот светлый блондин с голубыми глазами приехал из Бари; он был еще очень молод, совсем мальчик, только что окончил школу; это была его первая служба; он был преисполнен рвения, верил в правосудие и жаждал служить ему. Он был бескорыстен, полон идеализма, считал себя призванным быть покровителем вдов и сирот. Но скоро он убедился, что попал в отвратительное логово волков и лисиц. Когда через несколько дней он познакомился со всеми синьорами поселка и составил себе представление о их борьбе и страстях, о их ненависти к крестьянам, о нищете, когда он понял, что может сделать очень мало против этой паутины привычек, безнаказанности и покорности, его юное сердце наполнилось горечью. Встречаясь со мной на площади, он смотрел на меня и с отчаянием в голосе говорил:

— Боже мой! Доктор! Какой это край! Порядочных людей только двое: вы и я.

Я утешал его как мог:

— Нас больше, бригадир. Да ведь и двух честных людей оказалось бы достаточно, чтобы спасти Содом и Гоморру* от гнева небесного. Но здесь много честных людей среди крестьян, вы их понемногу узнаете. И потом есть дон Козимино.

Дон Козимино сидел у своего окошечка на почте, закутанный в тунику из черной материи, закрывавшую его горб, слушал разговоры, смотрел грустными пронизательными глазами и улыбался горькой и доброй улыбкой. Он завел привычку потихоньку вручать мне и другим ссыльным письма, прежде чем они пройдут через цензуру.

— Есть письмо, доктор,— шептал он мне из окошечка,— придите попозже, когда никого не будет.

И он передавал мне письмо, спрятав его из предосторожности под газетой. Он должен был выбирать всю нашу корреспонденцию и отсылать ее в Матеру для цензуры; оттуда через неделю письма возвращались для передачи по адресу. Но благодаря дону Козимино я тут же читал открытки и тотчас возвращал их, чтобы он мог отослать их в квестуру. Письма же я уносил домой, осторожно вскрывал их и, если операция удавалась — не оставалось следов и конверт не был порван, — относил его на другой день дону Козимино; таким образом, нечего было опасаться, что у цензуры не будет работы и это удивит ее. Никто не просил добрейшего горбуна об этой милости; он делал это сам, потому что был по-настоящему добр. Сначала мне даже было неприятно брать письма, я боялся подвести его; но он сам клал мне их в руку и с ласковым принуждением заставлял принимать их. Письма ссыльных тоже должны были проходить через цензуру Матеры; и там тоже досадно долго тянули. Но тут уж дон Козимино не мог, несмотря на добрую волю, хоть чем-нибудь помочь. В те дни в цензуре произошла перемена. Квестура, у которой, вероятно, было много работы, поручила контроль над отходящей почтой подесте; это увеличило вес и славу дона Луиджино. Вместо того чтобы передавать запечатанные письма дону Козимино, который пересылал бы их в Матеру, теперь надо было приносить их незапечатанными подесте, и он прочитывал их и прямо отправлял по назначению. Это нововведение уско-

* Согласно библейскому сказанию, два древних города Палестины — Содом и Гоморра — были разрушены небесным огнем в наказание за развращенность их обитателей.— *Прим. перев.*

ряло доставку писем, и, очевидно, именно это и имелось в виду; но все же удобства, которые от этого проистекали, не покрывали неприятности контроля на месте, необходимости ставить в известность о всех интимных личных делах любопытного и инфантильного человека, которого десять раз в день встречаешь на улице. Дон Луиджино мог бы пользоваться своим правом только для видимости — бросить взгляд на письмо и избавиться от него поскорее, но на это не приходилось рассчитывать. Почтовая цензура была для него новой почестью, новым и неожиданным способом удовлетворять свой тайный садизм и пристрастие к желтым романам. В эти дни приехал новый ссыльный, крупный торговец оливковым маслом из Генуи, сосланный сюда не по политическим мотивам, а скорее из-за соперничества и конкуренции в делах. Это был привыкший к удобствам старик с очень большим сердцем, честный человек, практичный и одновременно сентиментальный; первое время это несчастье и разлука с семьей приводили торговца в отчаяние. Он внезапно должен был бросить незаконченными все свои дела, а дел было много и все очень сложные, и поэтому ему необходимо было отдать ряд распоряжений. Он писал письма с обычными выражениями и обычными условными сокращениями коммерсантов (в отв. н/в п. от 7 т. м.), бесконечным количеством цифр, дат, номеров чеков и платежей.

Это были самые невинные письма на свете, но дон Луиджино не знал делового жаргона и к тому же еще весь пылал рвением к своим новым обязанностям. Он вообразил, что эти обрывочные фразы и эти цифры — тайный шифр, и решил, что напал на след серьезнейшего заговора. Он много дней не отправлял этих писем, тщетно пытаясь расшифровать их, отыскать в них несуществующий тайный смысл, а пока что приказал следить за торговцем оливковым маслом; наконец он переслал письма в квестуру Матеры, но не смог удержаться и устроил старому генуэзцу дикую сцену, полную таинственных угроз. Прошло много дней, прежде чем он успокоился, но не думаю, чтоб он совершенно убедился в необоснованности своих подозрений.

Со мной было совсем иначе. Я отдавал ему мои письма, дон Луиджино нес их домой и внимательно читал. В последующие дни он всякий раз, встречая меня, хвалил мои литературные способности:

— Как вы хорошо пишете, дон Карло! Вы же настоящий писатель. Я читаю ваши письма понемногу, это истинное наслаждение. То письмо, которое вы мне дали три дня назад, я переписываю для себя — это шедевр.

Дон Луиджино действительно переписывал все мои письма, не знаю, потому ли, что он восхищался стилем, или из полицейского рвения, а может быть, по той и другой причине вместе; но эта работа требовала немало времени, и моя корреспонденция не отправлялась.



Декабрь шел к концу, снова выпал снег, пустынные поля спали. Крестьяне не выходили из поселка, улицы были необычно оживлены. Когда вечерело и ветер гнал и разрывал серый дым из каминов, на темных улицах слышался шопот, шум шагов, переключка голосов и дети, пробегая гурьбой, разрезали тьму первыми хриплыми звуками купо-купо.

Купо-купо — это старинный инструмент, сделанный из горшка и жестянки; отверстие его затягивается кожей, натянутой, как на барабане. Посредине в кожу воткнута деревянная палочка. Когда двигаешь палочку рукой вверх и вниз, получается низкий, дрожащий, глухой звук, похожий на монотонное ворчанье. Все мальчишки в последние две недели перед рождеством делают себе купо-купо и ходят гурьбой, напевая под аккомпанемент этой единственной ноты какую-то заунывную песню на один и тот же мотив. Они пели длинные бессмысленные строфы, не лишённые некоторого очарования. И особенно часто у домов синьоров звучали серенады и импровизированные хвалебные куплеты. В награду люди, которых воспевала песня, должны были дать какие-нибудь подарки: книги, сухие фиги, яйца, лепешки или монеты. Как только спускались сумерки, начинались песни, всегда одинаковые. Воздух был полон жалобных заунывных звуков, детских голосов, поющих под ритмичный и гротескный стон купо-купо.

Я слышал издалека:

Далеким звездам пел я ночью ясной
о донне Катерине, о прекрасной.
Это купила вам * говорит.

Я вам пою все громче и сильнее,
профессор Милилло всех умнее.
Это купила вам говорит.

* То же, что купо-купо.

На вилке спел я слова такие:
королева-красотка донна Мария.
Это купила вам говорит.

И так у каждой двери, все с тем же меланхолическим попевом. Пришли и ко мне, и пели бесконечную песню, которая кончалась так:

О доне Карло пою у балкона,
лучше всякого он барона.
Это купила вам говорит.

Эти жалкие песни и звуки купо-купо звенели на темных улицах, как отзвук моря в глубине раковины; они поднимались к холодным зимним звездам, таяли в рождественском воздухе, полном запаха блинов и праздничной грусти.

— В один из таких дней пришли в поселок пастухи,— рассказывала мне Джулия.— Они играли в церкви на волынках в честь рождества: «Родился младенец Христос». Но уже много лет они ходят другой дорогой, а в этих местах не бывают.

Все же один пастух пришел незадолго до рождества с мальчиком и волынкой, но пробыл только один день, и то у своих друзей, а в церковь не зашел. Я повидал его в доме его друзей, у старухи Розано, матери каменщика, той самой крестьянки, которая пришла ко мне одна. У нее были гости в тот вечер, а так как я шел мимо по улице, то она пригласила меня войти, выпить вина и поесть лепешек. Они освободили комнату, и человек двадцать молодых крестьян и крестьянок, внуков и родственников старухи, танцевали под жалобные звуки волынки. Это было что-то вроде тарантеллы: танцующие касались друг друга только кончиками пальцев, двигались по кругу вдоль стен, точно разыгрывая ритмическую пантомиму ухаживания. Потом все остановились, и на середину комнаты вышел молодой крестьянин и его невеста, дочь старухи, высокая крепкая девушка с красноватым лицом. Я часто видел ее на улице, несущей в равновесии на голове чудовищные тяжести: мешки с цементом или кирпичом и даже длинные толстые балки для потолка, которые она несла так, словно это была солома, не поддерживая их руками; она работала у своего брата-каменщика. Все молча смотрели. Волынка заиграла новую гнусавую, рыдающую, блеющую животную тарантеллу. Жених и невеста танцевали очень естественно; казалось, они выполняли священный обряд; танец начинался осторожными шагами,

жених и невеста приближались и стыдливо отворачивались, не касаясь друг друга, притопывая ногами в такт, обмениваясь взорами и жестами отвращения и отказа; потом, убыстряя шаги, стали касаться друг друга на ходу, брались за руки и кружились волчком, ритм все ускорялся, круги суживались, танцующие сталкивались сразмаху боками, продолжая кружиться, наконец оказались лицом к лицу и танцевали теперь, держа друг друга за талию; казалось, пантомима любовной ссоры, притворных отказов была кончена и сейчас должен начаться танец любви. Но тут все захлопали в ладоши, вольтка замолчала и танцующие, тяжело дыша, с раскрасневшимися лицами и блестящими глазами подсели к гостям. По кругу пошли стаканы с вином, поговорили еще немного при колеблющемся свете камина, потом вольтник ушел. Это был единственный, насколько мне известно, бал в Гальяно за весь год, что я там пробывал.

Наступил канун рождества. Опустошенная земля была покрыта снегом. Ветер доносил похоронный колокольный звон, который, казалось, звучал с неба. Пожелания и благословения сыпались на меня из дверей домов, когда я проходил мимо. Дети ходили гурьбой, собирая последнюю дань купо-купо. Мужчины и женщины разносили подарки в дома синьоров. Здесь сохранился старинный обычай: бедняки поздравляют богатых и приносят им дары, которые принимаются как должное и ничем не отдариваются. И я должен был взять в этот день бутылки масла и вина, и яйца, и корзинки с сухими фигами. Дарящие удивлялись, что я не принимаю это как обязательную десятину, что я очень смущен и стараюсь как могу отдарить каким-нибудь подарком. Какой же я был синьор, если для меня не существовало традиции, повторявшей легенду о трех волхвах, и можно было входить в мой дом с пустыми руками! Когда могущественные волхвы пришли с востока, следуя за звездой, чтобы отнести свои дары сыну плотника, это было знамение близкого конца мира. Но здесь, куда Христос не заходил, никогда не видели и трех волхвов.

Дон Луиджино великодушно послал предупредить меня, что в этот вечер по случаю праздника мы можем находиться вне дома допоздна и присутствовать, если желаем, на полуночной мессе. Ровно в полночь я был у церкви, в толпе крестьян, женщин и синьоров, и мы топали ногами на поскрипывающем снегу. Небо прояснилось, блестели звезды,

младенец Христос должен был родиться. Но колокол не звонил, дверь церкви была замкнута на засов и о доне Трайелле не было ни слуху ни духу. Мы ждали с полчаса перед запертой дверью, все более теряя терпение. Что случилось? Священник заболел или, быть может, он, как кричал дон Луиджино, был пьян? Наконец подеста решил послать мальчика в дом настоятеля, чтобы позвать его. Через несколько минут из переулка появился дон Трайелла в огромных теплых сапогах, с большим ключом в руке; он подошел к входу, бормоча какие-то извинения за опоздание, повернул ключ, распахнул дверь и бросился зажигать на алтаре свечи. Все вошли в церковь, и началась месса, жалкая, торопливая месса без музыки и пения. Сказав «*Ite missa est*»*, дон Трайелла спустился с алтаря и, пройдя скамейки, на которых мы сидели, взошел на кафедру, чтобы произнести свою проповедь.

— Возлюбленные братья! — начал он. — Братья мои возлюбленные! Братья! — И тут вдруг внезапно остановился и начал искать что-то в карманах, бормоча сквозь зубы невнятные слова. Надел очки, снял их, снова нацепил на нос, вытащил платок, вытер пот, поднял глаза к небу, затем устремил взгляд на сидящих людей, вздохнул, почесал голову в знак величайшего затруднения, восклицал «ох» и «ах», сжал руки, разжал снова, пробормотал «Отче наш» и наконец замолчал с видом отчаявшегося человека. По толпе пробежал шопот. Что случилось? Дон Луиджино покраснел и начал кричать:

— Он пьян! В рождественский вечер!

— Возлюбленные братья! — снова начал дон Трайелла с кафедры. — Я пришел сюда как пастырь, чтобы немного побеседовать с вами, с моими любимейшими овцами, по случаю святого праздника, чтобы принести вам мое слово, слово доброго пастыря, *solliciti et benigni et studiosi pastoris*** . Я приготовил настоящую проповедь и позволю себе робко сказать, очень хорошую; я написал ее, чтобы прочесть вам, потому что память моя ослабела. Я положил ее в карман. И вот теперь, увы мне, не могу найти, я потерял ее; и я ничего не могу вспомнить. Что делать? Что я могу сказать вам, моим верующим, ждущим от меня слова? Увы мне! Я не нахожу слов!

* Идите, месса окончена! (лат.)

** Заботливого благочестивого и усердного пастыря (лат.).

И дон Трайелла снова замолчал и стоял неподвижно, устремив глаза к потолку, точно задумавшись. Внизу на скамейках крестьяне ждали с любопытством, не зная что делать; но дон Луиджино не мог больше сдерживаться и в гневе вскочил.

— Это скандал, это профанация дома божьего! Фашисты, ко мне!

Крестьяне не знали, на кого смотреть. Дон Трайелла, точно придя в себя после экстаза, встал на колени, обернувшись к деревянному кресту, прикрепленному к краю кафедры, молитвенно сложил руки и произнес:

— Иисус, Иисус мой, ты видишь, в каком я затруднении в наказание за мои грехи! Господи, помоги мне. Дай мне выйти на верную дорогу, о мой Иисус!

И вот, точно осененный благодатью, он вскочил на ноги, быстрым движением руки схватил листок бумаги, спрятанный под распятием, и воскликнул:

— Чудо! Чудо! Господь услышал меня. Господь помог мне! Я потерял свою проповедь, но я нашел нечто еще лучшее! Что значат мои бедные слова? Послушайте же слова, пришедшие издалека! — И он начал читать листок, взятый из-под распятия. Но дон Луиджино не слушал. Охваченный приступом страшного гнева и священным негодованием, он продолжал кричать:

— Фашисты, ко мне! Это кощунство! Пьяница в церкви в рождественскую ночь! Ко мне! — И, сделав знак семи или восьми балиловцам и авангардистам из его школы, чтобы они подпевали ему, начал петь «Черное личико, красotka-абиссинка».

Подеста и мальчики пели, но дон Трайелла, казалось, не слышал их и продолжал читать. Чудесный листок был письмом из Абиссинии того самого сержанта-гальянца, воспитанного монахами, которого все знали.

— Эти слова написаны одним из вас, сыном этого поселка, самой дорогой из моих овец. Моя бедная проповедь ничего не стоит по сравнению с этими словами. Господь сделал чудо, помог мне найти их здесь. Слушайте: «Приближается рождество, и мои мысли улетают в Гальяно, ко всем друзьям и товарищам, которых я представляю себе собравшимися сейчас в нашей маленькой церкви слушать святую мессу. Здесь мы сражаемся, чтобы нести нашу святую религию нехристианским народам, сражаемся, чтобы

обратить в истинную веру язычников, чтобы нести мир и вечное блаженство...»

И так далее и тому подобное.

Письмо продолжалось и дальше в том же тоне и заканчивалось приветом всем, и особенно названным по имени, которых было много. Крестьяне с удовольствием слушали африканское послание. Дон Трайелла сделал это письмо отправной точкой для своей проповеди, осторожно касаясь проблем войны и мира.

— Рождество — это праздник мира, а мы воюем; но, как хорошо сказано здесь в письме, эта война — не война, а борьба за мир, за победу святого креста, который только и несет настоящий мир людям... — И так далее. Проповедь заглушалась дьявольским шумом. Дон Луиджино и его мальчики от «Черного личика» перешли к «Джовинецца», а кончив «Джовинецца», опять запели «Черное личико». Увидев, что крестьяне не подпевают ему, что священник продолжает говорить, притворяясь, что не слышит шума, подеста направился к двери, крича: «Прочь отсюда! Церковь осквернена! Фашисты, за мной!» — и в сопровождении балилловцев, авангардистов и кое-кого из друзей вышел и стал ходить вместе со своей свитой вокруг церкви, распевая по очереди «Черное личико» и «Джовинецца». И так продолжалось в течение всей проповеди. Дон Трайелла упорно продолжал говорить; он единственный во всей церкви не обращал внимания на помехи; только у него против обыкновения выступили на страшно бледном лице красные пятна.

— *Pax in terra hominibus bonae voluntatis**, любезные дети мои. *Pax in terra* — это божественные слова, которые мы должны слушать с особой сосредоточенностью и благоговением в этот год войны. Божественное дитя родилось в этот час, чтобы принести это слово мира. *Pax in terra hominibus*, и поэтому мы должны очиститься, чтобы почувствовать себя достойными, должны обратиться к своей совести, должны спросить себя, исполняем ли мы свой долг, чтобы с чистым сердцем выслушать слово божие. Но вы злы, вы грешники, вы никогда не ходите в церковь, не исполняете обрядов, поете дурные песни, ругаетесь, не крестите ваших детей, не исповедуетесь, не причащаетесь, не уважаете священнослужителей, не даете богу то, что должны давать, и поэтому мира нет с вами. *Pax in terra hominibus*. Вы не

* Мир на земле людям доброй воли (лат.).

знаете латыни. Что это значит? *Pax in terra hominibus* — значит, что теперь, накануне рождества, вы должны, по обычаю, принести козленка в дар вашему пастырю. А вы этого не сделали, потому что вы неверующие; итак, вы люди не *bonae voluntatis*, нет у вас доброй воли, нет у вас мира, нет над вами и благословения божия. Подумайте же, принесите вашему священнику козленка, заплатите долги за землю, которые остались за вами еще с прошлого года, если хотите, чтобы бог милосердно взирал на вас, простер длани свои над головой вашей, вселил мир в сердца ваши, если хотите, чтобы мир вернулся на землю, чтобы кончилась война, заставляющая вас трепетать за дорогих вам людей, за нашу возлюбленную родину...

И дальше он продолжал так же, с шутками, упреками, с латинскими цитатами. «Черное личико» врывалось из-за дверей, оттеняя проповедь, а в это время мальчик-звонарь по знаку священника стал звонить в колокол, пытаясь похоронным звоном заглушить песни подесты. Но вот среди этого шума, среди всеобщего смятения проповедь наконец кончилась. Дон Трайелла сошел с кафедры и, не оборачиваясь, вышел из церкви. Мы все последовали за ним. А дон Луиджино продолжал петь на улице. Крестьянин в черном плаще стоял перед церковью, держа за узду оседланного мула. Он приехал из Гальянелло за священником, который должен был отслужить рождественскую службу и там. Дон Трайелла запер церковь, положил ключ в карман, вскарабкался с помощью крестьянина на мула и уехал. Ему предстояло проехать два часа по засыпанной снегом тропинке между пропастей. В Гальянелло в тот год младенец Иисус родился около четырех часов утра. И там повторилось то же чудо, но поскольку в этом глухом местечке не было ни подесты, ни синьоров, все прошло хорошо, и крестьяне были в восторге от проповеди и хоть один раз бедному священнику оказали должное уважение: он мог пить сколько хотел и напился по-настоящему, так что вернулся в Гальяно только через три дня.

Оказавшись в толпе около церкви, я постарался поскорее уйти от этого общества, горячо обсуждавшего событие. Все синьоры, за исключением доктора Милилло, качавшего головой, недовольного племянником, считали, что подеста прав, и решили донести властям на священника.

— Наконец-то мы от него отделаемся! — вопил дон Луиджино. — Это подходящий случай!

Трудно сказать, приготовил ли дон Трайелла это чудо заранее, по-стендалевски разыграв мизансцену запоздания, потери написанной проповеди, смущения на кафедре с благочестивой целью назидания, чтобы с помощью ораторской хитрости произвести большее впечатление на души слушателей, или же у него внезапно возникло желание едко посмеяться над своими врагами и даже над самим собой и развлечься за счет тех людей, которые его ненавидели и преследовали. Конечно, он не был пьян, а если и выпил больше обычного, это только прибавило, а не отняло у него ясности мысли и присутствия духа. Но дон Луиджино уверял, что священник был пьян, что проповедь он действительно потерял и что все это было ужасно скандально; и это погубило старого священника. На следующее утро, хотя это был праздник рождества, отправили доносы: письма к префекту, в квестуру и епископу. Потом, некоторое время спустя, приехали два священника из Трикарико, посланные епископом для ведения следствия. Думаю, что все, кого они опрашивали, говорили против Трайеллы; один я пытался оправдать его, но мои слова не имели никакого значения. И епископ решил заставить дону Трайеллу жить там, где ему было предназначено, в Гальянелло, и запретил ему подавать на конкурс в приход Гальяно. Но все это случилось позже.

В это утро небо было серое и холодное, крестьяне встали поздно. Каминны дымили дольше обычного, быть может, какой-нибудь кусок козлиного мяса варился в кастрюле над таганком. Был самый большой праздник года, день притворного умиротворения и предполагаемого богатства. Но главное — это был день, в который дозволено было говорить и делать вещи, невозможные в другие дни года. Джулия пришла ко мне приодевшаяся, в шали без пятен, в выглаженной вуали; ребенок ее был не такой оборванный как обычно; он еле тащил ноги в громадных сапогах, принадлежащих другому мальчику, на несколько лет старше его. Я ждал ее с нетерпением. Самые важные колдовские тайны она могла раскрыть мне только сегодня. Она научила меня всевозможным заклинаниям, сообщила магические формулы, с помощью которых можно было заставить кого-нибудь полюбить или исцелить болезнь, но никак не хотела поведать мне заговоры смерти, те, от которых заболевают и умирают.

— Только в день рождества можно сообщать их и то под большим секретом, взяв клятву, что они никому не будут открыты иначе, как в такой же день, в святой день рождества. Во все другие дни это смертный грех.

Но я должен был все равно просить, умолять, настаивать, потому что даже на рождество это не совсем безопасно. Я должен был торжественно поклясться, что она может рассчитывать на мою скромность и что дьявол не посмеется над нами; наконец она решилась открыть мне эти ужасные формулы, сами слова которых постепенно притягивают человека, каждый живой кусочек его тела, и убивают, и кромсают, и сжигают, пока не загонят в могилу. Не поведать ли мне здесь несколько таких страшных заклинаний, которые, быть может, в наше время очень нужны читателям? Увы, я не могу. Сегодня не день рождества, а я связан клятвой.

И вот пришел конец года. Я хотел дожидаться, согласно обычаю, полуночи. Я сидел один в кухне перед огнем, который неистовствовал, шипел и трещал, а снаружи выла буря ветра и снега. У меня был стакан вина, но за что я мог поднять тост? Часы остановились, и ни один звук извне не мог долететь до меня и указать время там, где оно недвижно. Так кончился в какое-то неопределенное мгновение год тысяча девятьсот тридцать пятый, тягостный год, закономерно полный тоски, и начался тысяча девятьсот тридцать шестой, похожий на предыдущий, и на столько других, прошедших раньше, и на те, которые еще будут проходить равнодушной, безжалостной чередой. Год начался с дурного предзнаменования — с солнечного затмения.

Затмение было знамением неба. Больное чумой солнце смотрело затуманенным оком на землю, начавшую разрушительную войну. За всем этим было преступление, и не только то, которое совершалось в эти дни — истребление с помощью отравляющих газов, что заставляло крестьян, знающих, что за всякий грех бывает кара, неодобрительно качать головами, но преступление еще более страшное, за которое расплачиваются все, невинные и виновные. Солнце потемнело, чтобы предупредить нас.

— Печальное будущее нас ожидает, — говорили все.

Дни были холодные и тусклые: бледное солнце как бы с трудом поднималось над белыми горами. Гонимые холодом и голодом волки подбирались к поселку. Барон своим таинственным чутьем слышал их издали, и им овладевало беспокойство и необыкновенное возбуждение. Он бегал по дому, оскалив зубы, шерсть на нем вставала дыбом, и он скреб дверь когтями, просясь на улицу. Я открывал ему, и он исчезал в ночи и не появлялся до утра. Я никак не мог понять, почему волки приводили его в такое волнение: были ли это ненависть и ужас, или скорее любовь и желание; охотился ли он во время своих ночных исчезновений, или он ходил на встречи со старыми друзьями в лесу? В такие ночи ветер приносил шум стаи, странный лай из долин. Барон возвращался утром, усталый от бог знает какого далекого путешествия, мокрый, весь в грязи. Он ложился у огня и косо смотрел на меня снизу вверх, одним чуть-чуть приоткрытым глазом.

Иногда волк пробежал по поселку; утром на снегу находили его следы. Как-то вечером я сам видел одного с террасы: большой худой пес вышел внезапно из мглы, остановился на мгновение при свете раскачиваемого ветром фонаря, поднял морду, нюхая воздух, медленным спокойным шагом пошел назад и исчез во тьме.

Это было хорошее время для охотников. Некоторые уехали, чтобы принять участие в охоте на кабанов за Аччатурой; говорили, что там их множество, но в Гальяно в тот год не убили ни одного. Многие, пользуясь перерывом в полевых работах, надевали бархатные куртки, брали начищенные ружья и уходили на охоту за волками и зайцами; часто они возвращались с полной охотничьей сумкой. Из кости правой задней ноги зайца, очищенной от мозга раскаленным железом, делают мундштуки для сигар, которые с религиозными предосторожностями курят старики, чтобы холодный воздух не дал им потрескаться, прежде чем они станут черными и полированными. Старый крестьянин, которого я лечил не помню от какой болезни, подарил мне свой мундштук, ставший уже совсем темным, потому что он курил его больше двадцати лет. Когда в поселке узнали, что я с удовольствием принял этот подарок, все наперебой стали дарить мне такие косточки, уже очищенные или еще необработанные; и я тоже начал осторожно чернить их, куря мои жалкие сигары «Рим» во время прогулок вверх и вниз по поселку.

Не приходили ни письма, ни газеты, потому что снег занес все дороги; остров, окруженный обрывами, потерял всякую связь с землей. Смена дней превратилась просто в смену облаков и солнца; новый год лежал неподвижно, как уснувший древесный ствол. В однообразии часов не было места ни для воспоминаний, ни для надежд: прошлое и будущее стали похожими на два мертвых пруда. Казалось, все впереди, до конца дней, стремилось стать и для меня туманным «сгаі» крестьянина, полным бессмысленного терпения, вне истории и вне времени. Как все же иногда язык со своими внутренними противоречиями вводит в заблуждение! В этой равнине, не знающей времени, наречие обладает более богатыми определениями времен, чем любой язык; кроме этого неподвижного вечного «сгаі», у каждого дня будущего есть свое собственное имя: «сгаі» — это завтра и всегда; послезавтра это — «prescraі», а следующий за ним день «prescrille», потом идет «prescruflo» и потом «maruflo» и «marufloне», а седьмой день — это «maruflicchio». Но в этой точности определений больше всего иронии. Эти слова употребляются не столько для того, чтобы указать тот или иной день, но чаще всего вместе, как простой перечень, и само звучание их смешно: они как бы посылают упрек тому, кто бесплодно хочет различить что-то в вечном тумане «сгаі».

И я тоже перестал ждать чего бы то ни было от будущих «*marufli*», «*marufioni*» или «*maruflicchi*». Ничто не нарушало одиночества моих вечеров в продымленной кухне, разве только иногда посещения патруля карабинеров, приходивших для формы проверить, здесь ли я, и выпить стакан вина. Хозяин дома предупредил, что меня часто будет беспокоить шум давилного камня, потому что пресс находится прямо под моими комнатами; туда проникали из огорода, через маленькую дверь рядом с лесенкой, ведущей в дом. Он сказал мне, что камень будет работать и ночью. Когда осел с завязанными глазами тащил по кругу жернов, весь дом дрожал и из-под пола доносился непрерывный грохот. Но урожай оливок в этом году был такой скудный, что жернов вертелся всего два или три дня, а потом стоял тихо и спокойно, как прежде, и тишина моих вечеров больше не нарушалась.

Только один раз, после ужина, пришли ко мне бригадир и адвокат П., чтобы поиграть в карты. Они сказали, что так как я живу один, то они решили, что я буду рад их посещению; они надеялись приходиться часто и проводить приятные часы. Я трепетал при мысли, что это может стать ежедневной привычкой, и я должен буду проводить часы за рамино — нелепой, скучной карточной игрой; в то время я предпочитал быть один и читать или работать.

To rede and dryve the night away.
For me thoughte it better play
Then plyen either at shesse or tables*.

Все же, ценя их добрые намерения, я попытался сделать хорошую мину при плохой игре, и мы провели вечер за бесконечным рамино. Они больше не приходили. Дон Луиджино сразу узнал об этом визите от кого-то из своих приспешников. Мне он ничего не сказал, но бригадиру устроил на площади ужасную сцену, обвиняя его в кумовстве с ссыльными и угрожая донести на него и потребовать его перевода. Так никто и не осмеливался приходиться ко мне за исключением больных и крестьян (они-то могли посещать меня, потому что их не считали за людей) да доктора Мирилло, который любил поступать независимо и, кроме того,

* Мечтать над книгой до утра —
вот, право, лучшая игра,
чем карты, шахматы или кости.

(Чосер, Книга герцогини, ст. 49—51)

пользовался правами старого дяди подесты и не опасался его.

Так я мог свободно располагать собой и своим временем. Если у меня не было посетителей из синьоров, зато меня посещали дети. Их было множество, самого разного возраста, они стучались ко мне в дверь во всякое время. Сначала их притягивал Барон, существо непосредственное и удивительное. Потом их поразила моя живопись, и они не могли надивиться тому, как на полотне, точно по волшебству, появлялись изображения домов, холмы, лица крестьян. Они стали моими друзьями, свободно входили в дом, позировали мне, гордились, видя себя нарисованными. Узнав, когда я пойду рисовать в поле, они целой гурьбой приходили за мной. Их было обычно человек двадцать, и каждый считал величайшей для себя честью нести ящик с красками, мольберт, холст; и из-за этой чести ссорились и дрались, пока я не вмешивался и, как не допускающее возражений божество, выбирал и судил. Выбранный шел с ящиком — самым тяжелым, а потому наиболее ценным и желанным предметом, гордый и счастливый, как паладин, выступая торжественным шагом. Один из них, Джованни Фанелли, мальчик восьми-десяти лет, бледный, с большими черными глазами, тонкой длинной шеей, с белой, точно женской кожей, особенно восхищался живописью. Все дети просили у меня в подарок старые пустые тюбики из-под красок, старые вылезшие кисточки и пользовались ими для своих игр. Джованни тоже получал свою долю, но употреблял все это совсем для другой цели; не говоря мне ни слова, потихоньку он начал рисовать. Джованни очень внимательно следил за всем, что я делаю: смотрел, как я загрунтовываю холст, натягиваю на раму; так как я проделывал все эти операции, они казались ему столь же существенными для искусства, как и сама живопись. Он нашел деревянные палки, сумел скрепить их и на эти неправильные рамы натянул куски старой, бог знает где найденной рубахи, смазал какой-то тюрей, которая должна была заменить грунт. Проделав все это, он счел, что выполнил главное. И вот, вооруженный вылезшими кистями, красками, оставшимися на дне тюбиков и на палитре, он начал рисовать на своих холстах, пытаясь повторять весь ход моей работы и все мои движения. Он был робкий мальчик, легко краснел и никогда бы не осмелился, хотя ему очень этого хотелось, показать мне свои труды. Предупрежденный другими, я их увидел.

Это были не обычные детские рисунки и не копии. Это было нечто бесформенное, пятна красок, не лишённые очарования. Не знаю, мог ли Джованни Фанелли стать художником и стал ли им, но поверьте, я ни в ком никогда не видел такой веры в откровение, которое должно прийти само по себе, от самой работы; такой абсолютной уверенности, что нужно только повторить технику, как повторяют непогрешимую магическую формулу или как вспахивают и засеивают землю, а она уже сама приносит плоды.

У мальчиков, которые толпами ходили перед рождеством под музыку купо-купо или бродили по дорогам, готовые вспорхнуть, как стайка птиц, не было главаря, каким в Грасано являлся Капитан. Они были живые, умные и печальные. Почти все были одеты в лохмотья, едва подштопанные, в старых пиджаках старших братьев, со слишком длинными, подвернутыми рукавами; они ходили босые или в больших дырявых мужских сапогах. Все они были бледные, желтые от малярии, худенькие, и у всех был тот же внимательный, мрачный, пустой и глубокий взгляд. Тут были самые разнообразные характеры, простые и хитрые, невинные и злые, но все они были очень подвижные, глаза их горели, как в лихорадке, в них была живая, преждевременно развивавшаяся жизнь, которая должна была погаснуть с годами в однообразной темнице времени. Они появлялись около меня со всех сторон, подвижные и молчаливые, полные взаимной привязанности и невыраженных желаний. Все, что у меня было, все, что я делал, приводило их в безмерное восхищение. Самые ничтожные, брошенные мною предметы, даже пустые коробки и клочки бумаги, были для них сокровищами, которые они оспаривали друг у друга в ожесточенной борьбе. Они оказывали мне без всякой просьбы много всяческих услуг: ходили в поля и приносили мне вечером пучки дикой спаржи, древесные грибы, безвкусные и волокнистые, которые там едят за неимением других. Они ходили далеко в направлении Гальянелло и приносили с единственного только там росшего дерева горькие плоды дикого апельсина, чтобы я мог нарисовать их. Они были моими друзьями, стыдливые, скромные, недоверчивые, с раннего возраста привыкшие молчать и скрывать свои мысли; они были замкнуты в том ускользающем, таинственном животном мире, словно маленькие стройные и пугливые козочки. Один из них, Джованнино, сын пастуха, белокожий брюнет с круглыми глазами и выражением постоянного удивления

на лице, в мужской шляпе, никогда не расставался со своей рыжей желтоглазой козочкой, следовавшей за ним повсюду, как собака. Когда он приходил ко мне с другими детьми, в кухню входила и козочка Ненелла, принюхиваясь и прося соли. Барон научился уважать ее. Когда мы отправлялись рисовать, Ненелла прыгала за цепочкой детей, а Барон бежал впереди, довольно лая, радуясь необузданной свободе. Когда мы останавливались, Джованнино смотрел, как я работаю, обняв Ненеллу за шею, пока козочка не освобождалась одним прыжком и не убегала пожевать можжевельника. Я потом отсылал прочь детей, чтобы они мне не мешали; они нехотя уходили, но к вечеру, когда тучи комаров пищали вокруг меня и последние лучи солнца делались длинными и розовыми, они возвращались, чтобы посмотреть на законченную картину и торжественно отнести ее домой. Теперь землю покрывал снег, и меня не сопровождала детская свита; но дети приходили ко мне домой, оставались погреться в кухне у очага или просили разрешения подняться поиграть на террасу. Трое или четверо почти постоянно были около меня. Самый маленький был сын Паррокколы, жившей в лачужке в нескольких метрах от меня. Ему было лет пять; у него была большая круглая голова, короткий нос, мясистый рот и худенькое тельце. Парроккола, его мать, прозванная так потому, что у нее тоже была большая голова и это делало ее похожей на посох священника, была ведьма, самая скромная из всех, самая безобразная и самая добродушная во всем поселке. Парроккола с ее большим лицом, широким плоским носом, большими открытыми ноздрями, вывернутыми губами, редкими волосами, грубой желтоватой кожей походила просто на чудовище; она была низенькая, коренастая, одевалась в лохмотья, прикрыв их сверху вуалью. Но это была хорошая женщина. Она зарабатывала на жизнь стиркой белья, но в тяжелые моменты не отказывала в своих милостях и на постели, огромной, как площадь, какому-нибудь крестьянскому парню или карабинеру. Я видел ее каждый день у двери напротив моего дома, и я говорил ей, шутя, что она мне нравится и я надеюсь, что она меня не отвергнет. Парроккола краснела от удовольствия, насколько могла покраснеть эта кожа, грубая, как скорлупа, и говорила мне: — Я не гожусь тебе, дон Карло. Я — *цамбра*.

Парроккола была *цамбра* — грубая, распутная женщина; но, хотя у нее было лицо людоедки, она была очень слав-

ная. Джованнино был единственным из ее детей, живущим с ней; остальные или далеко уехали, или умерли. И он походил на нее.

Другой из числа моих самых верных друзей был Микелино, мальчик лет десяти, жадный, лукавый и меланхоличный, с большими хмурыми черными глазами, словно вобравшими в себя слезы целых поколений, казавшимися истинным отражением этого горестного края. Но больше всех ко мне привязались сыновья портного, в особенности младший, Тонино, маленький, тоненький, остроумный и робкий мальчонка, с темной бритой головкой и острыми, как буравчики, глазками. Отец очень любил их и старался одевать лучше, чем остальные крестьяне, потому что гордился своим ремеслом и тем, что он был портным в Нью-Йорке. Но что поделаешь, если он вернулся на родину и все пошло прахом и если у него было не больше денег, чем у остальных крестьян? Его дети росли, как все другие, и он с горечью думал, продевая нитку, что теперь нет никакой надежды сделать из них порядочных людей и даже нехватает средств, чтобы лечить как следует их вечно опухшие гланды и остановить рост аденоидов. И даже в Тонино, который был резв, как монакиккио, уже вселились зачатки отцовского разочарования.

У всех этих детей было нечто особенное: что-то животное и что-то от взрослого человека, как если бы они при рождении получили уже приготовленную ношу терпения и мрачного познания скорби. Их игры не были похожи на обычные игры городских детей, одинаковые во всех странах; их друзьями были только животные. Они были замкнуты, умели молчать, и под их детской наивностью скрывалась непроницаемость крестьянина, презирающего утешения в безвыходных положениях, крестьянская стыдливость, которая, по крайней мере, защищает душу в горестном мире. Они вообще были гораздо умнее и развитее городских детей их возраста; они быстро все воспринимали, были полны желания познать, восхищались перед неведомыми явлениями окружающего мира. Однажды, увидев, что я пишу, они спросили, не могу ли я научить их этому; в школе они ничему не учились, так как там господствовала система палок. Учителя проводили время за сигарами, болтовней на балконе и патриотическими речами. Все дети ходили в школу, обучение было обязательное, но благодаря таким учителям выходили оттуда неграмотными. Так они по собственной инициа-

тиве стали иногда по вечерам приходиться ко мне в кухню и писать. Я очень жалею, что из-за своего природного отвращения ко всякого рода преподавательской деятельности я не отдал этому больше времени и внимания; хороший учитель никогда не нашел бы лучших учеников, более горящих почти непостижимой жаждой знания.

Пришли дни карнавала, неожиданные и несвоевременные. По этому случаю не было в Гальяно ни праздников, ни игр, так что я даже забыл о нем; я вспомнил об этом однажды, когда, гуляя по главной улице за площадью, увидел, как откуда-то снизу появились и быстро помчались вверх три призрака, одетые в белое. Они скакали большими прыжками и вопили, как одичавшие животные, возбуждаясь собственными криками. Это — крестьянские маски. Они все белые — на голове у них вязаные шапочки или белые чулки, свисавшие на бок, и белые султаны; лица вымазаны мукой; на них белые рубашки, и даже ботинки покрыты белым. В руках они несли скрученные наподобие палок сухие овечьи шкуры, которыми они угрожающе размахивали и били по спинам или по головам всех не успевавших убежать во-время. Они казались сорвавшимися с цепи демонами, полными дикого вдохновения. Они пользовались только одним этим мгновением безумия и безнаказанности, которое кажется особенно безумным и неожиданным в этой добродетельной атмосфере. Я вспомнил ночь накануне Сан-Джованни в Риме, когда юноши бродят по улицам и бьют всех большими головками чеснока. Но та ночь была ночью всеобщего счастья и разгула, кутежей у громадных блюд с устрицами, огней, песен, пляски, любви в благословенной теплоте летнего неба. Маски Гальяно бродили одиноко в своем мрачном, вынужденном безумии; они вознаграждали себя за воздержание и рабство призраком свободы, полным возбуждения и настоящей свирепости. Три белых призрака били беспощадно всех попадавшихся под руку, не разбирая, потому что один-единственный раз все было позволено в отношении синьоров и крестьян, и они занимали всю улицу, прыгая во все стороны, охваченные яростью, крича точно одержимые, сотрясая во время прыжков белые перья, как бескровные амок* или плясуны священной пляски ужаса. Так же быстро, как появились, они исчезли наверху за церковью. Но вот на улице

* Одержимый безумием.— *Прим. перев.*

вышли дети с выпачканными в черное лицами и нарисованными жженой пробкой усами. Однажды около двадцати ребят явились ко мне в таком виде; а когда я сказал им, что нетрудно сделать настоящие маски, они стали упрашивать меня. Я принялся за работу; взял белую бумагу и сделал на всех маски с отверстиями для глаз; маски были большие, так что лицо оставалось целиком закрытым. Не знаю почему, может быть вспомнив мертвые маски крестьян или побуждаемый, сам того не зная, гением этих мест, я сделал их все одинаковые, раскрасил белым и черным, как черепа с черными впадинами глаз и носа, с зубами без губ. Дети не испугались. Наоборот, они были очень довольны, тут же надели их, нацепили одну даже на морду Барона и убежали, рассеявшись по поселку. Был уже вечер, и два десятка призраков с криками входили в дома, едва освещенные красными отсветами каминов и колеблющимися огнями масляных светильен. Женщины убегали в ужасе, потому что здесь всякий символ реален, и двадцать мальчиков в этот вечер действительно изображали триумф смерти.



Дни, хотя и медленно, начали удлиняться. Течение года обратилось вспять; снег уступил дождям и ясным дням. Весна была не за горами, и я подумал о том, что следовало бы во-время, прежде чем солнце разбудит комаров, сделать все возможное для борьбы с малярией. Даже с ограниченными средствами, которыми располагали в поселке, можно было кое-чего добиться; нужно было обратиться к Красному Кресту, чтобы получить парижскую зелень для дезинфекции, по крайней мере, ближайших к жилью стоячих вод; прорыть канал для старого источника; запастись на летнее время хинином, атебрином, плазмокином и шоколадками для детей. Это все были самые простые вещи и, по закону, совершенно обязательные. Я говорил об этом с подестой; но очень скоро убедился, что дон Луиджино хотя и соглашался с моими советами, но не собирался ничего предпринимать. Тогда я решил, чтобы заставить его почувствовать всю ответственность, сообщить ему в письменном виде свои соображения. Я приготовил нечто вроде докладной записки на двадцати страницах, перечислив до самых мельчайших подробностей все, что нужно было сделать, что следовало потребовать от коммуны, от Рима, и вручил это Магалоне. Подеста прочел докладную записку, выразил удовлетворение, похвалил меня и с приятной улыбкой сообщил, что он на следующий день поедет в Матеру и покажет ее префекту, который может помочь. Дон Луиджино поехал в Матеру и, вернувшись, прибежал сказать мне, что его сиятельство был в восторге от моего труда, что все то, что я просил для борьбы с малярией, будет дано и что это принесет кое-что хорошее и для меня и для других ссыльных. Дон Луиджино сиял и был горд, что я нахожусь под его опекой. Казалось, все идет как нельзя лучше.

Через три или четыре дня после возвращения подесты пришла телеграмма из квестуры Матеры, в которой мне запрещалось заниматься медициной и лечить больных в

Гальяно под страхом тюремного заключения. Я так никогда и не узнал, было ли это неожиданное запрещение единственным практическим результатом моей докладной записки и моего чрезмерного рвения, как думали многие крестьяне.

— Мы должны болеть малярией, а если ты захочешь избавить нас от нее, то тебя отправят отсюда.

Или, как думали другие, это было следствием интриг врачей поселка. А может быть, квестура испугалась, что я могу стать слишком популярным, потому что моя слава врача-чудодея все росла; часто приезжали больные из далеких селений, чтобы посоветоваться со мной. Телеграмму мне принесли вечером карабинеры.

На следующий день, на рассвете, когда еще никто в поселке не знал о запрете, к моему дому подъехал верхом человек и постучал в дверь.

— Пойдем, доктор, скорее,— сказал он мне.— Мой брат болен. Мы живем там внизу, в Пантано, в трех часах езды отсюда. Я привел лошадь.

Пантано — это местечко в направлении к Агри, далекое и заброшенное; там есть хутор, единственный на всех этих землях, где крестьяне живут в поле, далеко от селения. Я ответил человеку, что не могу поехать, так как не имею права не только выезжать из поселка, но даже и лечить. Я посоветовал ему обратиться к докторам Милилло или Джигби-лиско.

— К этим врачикам! Лучше не звать никого.— Он покачал головой и уехал.

Шел мелкий снег с дождем. Я все утро сидел дома, сочиняя письмо в квестуру, в котором выражал свой протест против запрета, просил, чтобы его отменили и чтобы в ожидании новых распоряжений мне было разрешено не оставлять больных, которых я уже начал лечить, и чтобы в интересах населения я мог продолжать борьбу с малярией. Ответа на это письмо я не получил.

Около двух часов дня, когда я только что встал из-за стола, снова приехал всадник. Он уже побывал в Пантано; его брату стало хуже, даже совсем плохо, я любой ценой должен был попытаться спасти его. Мы пошли вместе к подесте, чтобы попросить специального разрешения. Дона Луиджино не было дома — он пошел к сестре на чашку кофе; там мы его и застали, развалившегося в кресле. Я сообщил ему о происшествии.

— Это невозможно. Приказы из Матеры нельзя нару-

шать. Я не могу взять на себя такую ответственность. Оставайтесь с нами, доктор, и выпейте чашку кофе.

Крестьянин, человек умный и решительный, не сдавался и продолжал настаивать. Моя покровительница донна Катерина встала на нашу сторону. Запрет Матеры разрушал все ее планы, развязывал руки ее врагу Джибилиско; и она не переставала бросать в его адрес всякие обвинения и восклицала:

— Это все анонимные письма, они их написали бог знает сколько! Джибилиско был на прошлой неделе в Матере. Там не знают, что вы благословение для поселка. Но я возьму это дело в свои руки. Мы тоже имеем влияние в префектуре, этот запрет скоро будет снят. Как досадно получается! — И она пыталась утешить меня кофе и сладостями. Но вопрос не терпел промедления, и хотя донна Катерина была на нашей стороне, дон Луиджино не желал ничего знать.

— Не могу, у меня слишком много врагов. Если узнают, я потеряю место. Я должен подчиняться распоряжениям квестуры.

Дон Андреа, старый учитель, соглашался с ним; он тихо подремывал, исподтишка проглатывая сладкий пирожок. Дискуссия продолжалась, но ни к какому решению не пришли. Подесте, любившему разыгрывать из себя друга народа, не хотелось отказывать мне в присутствии крестьянина. Однако страх победил все.

— И потом, существуют же другие врачи. Попробуй позвать кого-нибудь из них.

— Они никуда не годятся, — сказал крестьянин.

— Он прав, — кричала донна Катерина, — дядя слишком стар; а о другом не стоит и говорить. И потом в такую погоду, по такой дороге они не захотят ехать.

Крестьянин поднялся.

— Я пойду за ними, — сказал он и ушел.

Его не было почти два часа, и все это время семейный совет продолжался без всякого результата. Хотя меня и поддерживала донна Катерина, но мне не удавалось преодолеть страх подесты: слишком необычным и ответственным был для него этот случай. Вскоре крестьянин вернулся с двумя листками бумаги в руке; на лице его было написано полное удовлетворение результатом, которого он достиг в жестокой борьбе.

— Ни один врач не может поехать, они больны. Оба дали мне письменные подтверждения. Теперь вы должны

отпустить дона Карло. Посмотрите! — И он положил оба листочка перед доном Луиджино. Крестьянину удалось, пустив в ход все свое красноречие, а быть может, и угрозы, заставить обоих врачей написать, что из-за дурной погоды, преклонного возраста и плохого состояния здоровья они физически не могут отправиться в Пантано; в отношении старого доктора Милилло это была чистая правда. Теперь крестьянину казалось, что ничто уже не может помешать мне. Но подеста не был убежден и продолжал упорствовать. Он послал за канцеляристом муниципалитета, зятем вдовы, честным человеком; тот сказал, что нужно меня отпустить. Пришел доктор Милилло. Он был в дурном настроении, так как ему выразили недоверие, но он не противился моему отъезду.

— Только пусть заплатят вперед! Ехать в Пантано! Даже за двести лир не поехал бы.

Но время проходило, много чашек кофе было выпито, много печенья съедено, а мы не сдвинулись с мертвой точки. Я предложил позвать бригадира — может быть, он захочет взять на себя ответственность за мою поездку, и тогда подеста, не слишком себя компрометируя, мог бы согласиться. Так оно и случилось. Бригадир, узнав, в чем дело, дал разрешение ехать и сказал, что он доверяет мне и отпускает без сопровождения, что жизнь человека должна стоять выше всяких соображений. Наступил момент всеобщего подъема; даже дон Луиджино выразил удовлетворение этим решением и, чтобы показать мне свое доброе расположение, послал за плащом и высокими сапогами, которые, по его словам, будут мне необходимы в оврагах. Между тем наступил вечер. Они должны были разрешить мне провести ночь на хуторе и вернуться только на следующий день. И вот я, сопровождаемый приветствиями и советами, выехал из поселка в сопровождении крестьянина с лошадей и Барона.

Погода прояснилась. Снег и дождь прекратились. Ветер расчистил небо, и круглая светлая луна показалась между разорванных бегущих облаков. Как только мы спустились с крутой мостовой поселка, направляясь к Тимбоне делла Мадонна дельи Анджели, мой спутник, который вел все время лошадь на поводу, остановился, чтобы посадить меня в седло. Я уже много лет не ездил верхом, а ночью по таким обрывам я предпочитал идти пешком. Я сказал, чтобы он ехал на лошади, а я пойду быстрым шагом. Он посмотрел на меня так изумленно, как будто весь мир пере

вернулся. Он, крестьянин, поедет на лошади, а я, синьор, пойду пешком! Никогда этого не будет! Я измучился, убеждая его; наконец он с неудовольствием согласился последовать моему совету. Мы помчались по направлению к Пантано. Я спускался большими шагами по обрывистой тропинке, лошадь следовала за мной вплотную, так что я чувствовал на себе ее горячее дыхание и слышал цокот копыт по грязи. Я шел, как преследуемый, по неведомым местам, возбуждаемый ночным воздухом, тишиной, быстрой ходьбой, и у меня было легко на душе. Луна заполняла небо и, казалось, лилась на землю. Подо мной была земля, далекая, как луна, белая от ее молчаливого света, без единого растения или травинки, истерзанная, изрытая, изборожденная, продырявленная вечными водами. Глины устремлялись к Агри буграми, пещерами, извилинами, причудливо меняющимися в игре света и теней, и мы молча искали дорогу в этом лабиринте, созданном веками землетрясений. Мне казалось, что я лечу легко, как птица, над этим призрачным пейзажем.

После двух часов такого безмолвного пути до нас донесся протяжный лай собаки. Мы вышли из глин и оказались на наклонной лужайке, в глубине которой среди бугров белел хутор. В доме, удаленном от селений, жили только мой спутник, его больной брат, их жены и дети. Но у входа нас ждали три охотника из Пистиччи, приехавшие за день до этого, чтобы охотиться на волков около реки, и оставшихся, чтобы помочь другу. Обе женщины, тоже из Пистиччи, были сестры: высокие, с большими черными глазами, благородными лицами, очень красивые, в местных костюмах — в длинных юбках с белыми и черными оборками, в вуалях с черными и белыми лентами, — что делало их похожими на странных бабочек. Они приготовили для меня самые лучшие блюда, молоко, свежий сыр и подали на стол, как только я вошел, с тем старинным гостеприимством без всякого оттенка раболепия, которое делает людей равными. Они ждали меня весь день, как спасителя; но я тотчас же понял, что ничего нельзя было уже сделать. Это был перитонит с прободением, больной был в агонии, и даже операция, если бы я сумел и имел возможность сделать ее, не спасла бы его. Можно было только успокоить боль впрыскиванием морфия и ждать.

Дом состоял из двух комнат, соединенных широкой аркой. В дальней находился больной, его брат и женщины,

бодрствовавшие у постели. В первой комнате в большом камине горел огонь; у огня сидели три охотника. В противоположном углу мне была приготовлена очень высокая и мягкая постель. Время от времени я подходил к больному, а потом возвращался и шопотом разговаривал с охотниками у камина. В полночь я, не раздеваясь, вскарабкался на постель, чтобы отдохнуть, но заснуть не мог.

Я лежал, растянувшись на высокой постели, как на воздушном помосте. На стенах около постели висели туши только что убитых лисиц. Я слышал их звериный запах, видел их хищные морды в красноватых отблесках пламени и, чуть двинув рукой, дотрагивался до их шерсти, пахнувшей пещерой и лесом. Сквозь арку до меня долетали непрерывные жалобы умирающего:

— Иисус, помоги мне... Доктор, помоги мне... Иисус, помоги мне... Доктор, помоги мне... — непрерывная литания смертной тоски и шопот молящихся женщин. Пламя камина трепетало, я смотрел, как длинные тени колеблются, будто от ветра, видел три черные фигуры охотников со шляпами в руках, неподвижно сидящих у камина. Смерть была в доме. Я любил этих крестьян и чувствовал скорбь и унижение от собственного бессилия. Почему же такое великое спокойствие окутывало меня? Мне казалось, что я оторвался от всего, от всех мест, что я бесконечно далек от всего определенного, затерян вне времени, где-то в ином, бесконечном мире. Я чувствовал себя замкнутым, неведомым для людей, спрятанным, как росток под корой дерева; напряженно слушал ночь, и мне чудилось, что я в этот миг вошел в самое сердце мира. Бескрайнее, никогда не испытанное счастье было во мне, и я ощущал, как оно бесконечным потоком вливалось в меня и наполняло меня целиком.

К восходу солнца больной был при смерти, лишь изредка пробивались последние вспышки борьбы, жалобы и вздохи сменились хрипом, который постепенно слабел и оборвался. Едва он скончался, как женщины опустили веки его широко открытых глаз и начали погребальный плач. Эти две милые, сдержанные бело-черные бабочки внезапно превратились в двух фурий. Они срывали с себя вуали и ленты, раздирали одежды, ногтями царапали до крови лицо, металась по комнате, билась головой о стены и пели на одной высокой ноте песнь смерти. Время от времени они высовывались из окна, кричали все тем же голосом, точно сообщая о смерти полям и всему миру; и снова металась по комнате, и снова выли,

и так продолжалось без отдыха сорок восемь часов, до самых похорон. Они выли на одной и той же долгой, душераздирающей ноте. Нельзя было слушать это, не испытывая непреодолимой физической тоски, проникавшей до самой глубины души. От этого крика к горлу подступал комок. Чтобы не разрыдаться, я торопливо попрощался и ушел в сопровождении Барона при первом свете утра.

Утро было ясное. Луга и глина, казавшиеся вечером прозрачными, теперь, в еще сером воздухе, простирались передо мной голые и пустынные. Я был свободен среди этих молчаливых далей и еще чувствовал в себе счастье, которое наполняло меня ночью. Хотя я и должен был вернуться в поселок, но пока бродил по полям, весело помахивая палкой, посвистывая моему псу, который был возбужден, быть может какой-нибудь невидимой дичиной. Я решил чуть-чуть удлинить мой путь и пройти через Гальянелло — поселок, в котором до сих пор мне не удалось побывать.

Это большое скопление домов на выжженном холме не очень высоко над маляринной рекой, где живут четыреста человек. Здесь нет ни дорог, ни врача, ни акушерки, ни карабинеров, ни каких-либо чиновников. Но и туда является время от времени сборщик налогов в своей фуражке с красными буквами НИ. К моему удивлению, меня здесь ждали. Они знали, что я был в Пантано, и надеялись, что я пройду здесь на обратном пути. Крестьяне, мужчины и женщины, были уже на улице, чтобы приветствовать меня; самых необычных больных вынесли к дверям, чтобы я мог посмотреть их. Казалось, это «Двор чудес» *. Ни один врач не был здесь уже бог знает сколько лет; застарелые болезни, не лечившиеся ничем, кроме заклинаний, нагромоздились в этих телах и странно разрослись, словно грибы на гнилом дереве. Я провел почти все утро в лачугах, среди иссохших маляриков, больных с застарелыми фистулами, раковыми ранами, давая советы, поскольку не мог выписать рецептов, и пробуя гостеприимно предлагавшееся вино. Им хотелось удержать меня на весь день, но я должен был возвращаться. Они провожали меня некоторое время, прося прийти опять.

— Кто знает, если смогу — приду, — сказал я им.

* Квартал средневекового Парижа, населенный ворами, бандитами и проститутками.— *Прим. перев.*

Но я никогда больше там не был. Я оставил своих новых друзей из Гальянелло на тропинке и начал подниматься среди обрывов к дому.

Солнце стояло высоко и сверкало, воздух был теплый; вся равнина кругом была покрыта буграми и холмиками, между которыми змеилась бесконечная дорожка, то поднимаясь слегка, то опускаясь, так что далекий горизонт был закрыт для глаза.

На одном из поворотов передо мной появился бригадир с карабинером; они шли мне навстречу, и теперь я уже вместе с ними продолжал путь. Под кустами можжевельника прыгали птицы, большие черные дрозды, взлетавшие при нашем появлении.

— Хотите выстрелить, доктор? — спросил бригадир и протянул мне свой карабин.

От дрозда, в которого я выстрелил, остались только перья, медленно летевшие вниз, — птицу должно быть разорвало на кусочки, потому что пуля была слишком большая, и мы не стали разыскивать ее.

Как только я пришел в Гальяно, я заметил по лицам крестьян, что в поселке что-то назревало. За время моего отсутствия все узнали о запрете и о том, сколько времени было потеряно накануне, перед поездкой в Пантано. Весть о смерти крестьянина уже дошла сюда точно по какому-то таинственному телеграфу. Все в поселке знали покойного и любили его. Из всех, кого я лечил в течение стольких месяцев, умер он один. Все считали, что если бы я смог поехать сразу же, то, конечно, спас бы его, что причиной его смерти было только мое запоздание и колебания подесты. Когда я говорил, что, вероятно, даже если бы я приехал на несколько часов раньше, без лекарств, без инструментов, и не удалось бы во-время перевезти его хотя бы в Сангарканджело, я не смог бы ничего сделать, крестьяне недоверчиво качали головами. Они считали меня чудесным исцелителем, и для меня не было бы ничего невозможного, если бы только я прибыл во-время.

Этот эпизод был для них лишь трагическим подтверждением злонамеренности, побудившей наложить запрет, который не разрешал мне отныне помогать им. У крестьян были такие лица, каких я у них еще никогда не видел: мрачная решимость, сосредоточенное отчаяние, делавшее их глаза еще чернее. Они выходили из дома, вооруженные охотничьими ружьями и топорами.

— Нас считают собаками,— говорили они мне.— «Те из Рима» хотят, чтобы мы подышали, как собаки. Появился добрый человек, так «те из Рима» хотят отобрать его у нас. Мы сожжем муниципалитет и уьем подесту.

Ветер восстания несся по поселку. Задели глубоко скрытое чувство справедливости, и эти люди, кроткие, покорные и пассивные, стоявшие далеко от политики и партийных теорий, чувствовали, как в них возрождается душа разбойников. Так происходят всегда буйные и бесплодные вспышки среди этих угнетенных людей; возрождается древнейший и могущественный протест во имя человечности, и горят таможни, казармы карабинеров, и восставшие режут синьоров; внезапно рождается испанская свирепость, страшная, кровавая свобода. Потом они равнодушно идут в тюрьму, как люди, в одно мгновение совершившие то, к чему готовились веками.

Если бы я захотел в тот день, я бы мог (и такая идея на один миг возникла у меня, но тогда, в тридцать шестом году, еще не пришло время) во главе нескольких сотен разбойников захватить поселок или бежать в поля. Вместо этого я постарался успокоить их, и это удалось мне с большим трудом. Ружья и топоры были отнесены домой, но лица не просветлели. «Те из Рима», государство слишком глубоко задели их, довели до смерти одного из них; крестьяне чувствовали тяжесть несущей смерть далекой руки Рима и не хотели быть раздавленными. Первое движение их было немедленная месть символам и посланцам Рима. Но если я убеждал их не мстить, что еще могли они сделать? Увы, как и всегда, ничего! Ничего. Но с этим извечным «ничего» в этот раз они не примирились.

На следующий день, когда немного выкипели гнев и жажда крови, крестьяне группами стали заходить ко мне. Они удержались от разрушения: уж если эти мгновения свободы, мстительной ненависти не нашли исхода, то они гаснут. Но теперь крестьяне хотели добиться, чтобы я на законном основании остался у них врачом, и решили написать об этом петицию за всеми подписями. Их отвращение к чуждому и враждебному им государству сопровождается (хоть это на первый взгляд покажется странным, но по существу в этом совсем нет ничего странного) естественным сознанием права, внезапным пониманием того, чем должно было бы быть для них государство — единодушной волей, становящейся законом. Слово «законный» — одно из самых употребительных

здесь, но не в смысле чего-то санкционированного и записанного в кодексах, а в настоящем, первоначальном его смысле. Человек «законный», если он поступает хорошо; вино «законное», если оно не подмешано. Петиция, подписанная всеми, казалась им «законной» и поэтому должна была иметь действительную силу. Они были правы; но я вынужден был объяснить им то, что, в сущности, они знали не хуже меня,— что они будут иметь дело с силой абсолютно незаконной, и с ней нельзя сражаться ее же оружием; что если они слишком слабы, чтобы действовать силой, то они еще слабее в защите своих гражданских прав; что единственным результатом петиции будет мой немедленный перевод в другое место. Пусть напишут петицию, если уж они так этого хотят, но пусть не рассчитывают, что им удастся добиться чего-либо, кроме моего отъезда. Они это отлично поняли.

— Выходит, до тех пор, пока дела нашего поселка, наша жизнь и наша смерть будут в руках «тех из Рима», нас будут всегда считать за животных,— говорили они.

Мысль о петиции была оставлена. Но все это задело их слишком глубоко, чтобы могло пройти так, не вызвав протеста. И если уж они не могли прибегнуть ни к силе, ни к праву, они обратились к искусству.

Однажды пришли ко мне двое юношей и с таинственным видом попросили на время один из моих белых докторских халатов. Я не должен был спрашивать зачем: это была тайна; но завтра я все узнаю, а вечером они вернут мне халат. На следующий день, гуляя на площади, я увидел, что люди сбегаются к дому подесты, около которого уже собралась небольшая толпа. И я отправился туда. Люди расступились передо мной, и тогда я увидел, что среди вставших в круг мужчин, женщин и детей, жадных до зрелищ, на камнях улицы, без подмостков и сцены, началось театральное представление. Каждый год, как я узнал после, в первые дни поста крестьяне обычно разыгрывали импровизированную комедию. Иногда, правда очень редко, она была религиозного содержания, иногда напоминала о подвигах рыцарей и разбойников; но чаще всего это были комические и шутовские сцены, взятые из обывденной жизни. В этом году крестьяне, еще взволнованные недавними событиями, вылили свои переживания в сатирической драме.

Все актеры были мужчины, даже те, которые играли женские роли; моих друзей нельзя было узнать под их необы-

чайной гримировкой. Драма сводилась к простой сцене, которую актеры импровизировали. Хор мужчин и женщин возвестил о приходе больного; и вот больной принесен на носилках; его лицо выкрашено белым, под глазами черные круги, черные тени на щеках, впавших, как у мертвеца. Больного сопровождала плачущая мать, которая только и говорила: «Сын мой! Сын мой!», повторяя это непрерывно в течение всего представления, как монотонный, грустный аккомпанемент. Рядом с больным появился, призванный хором, человек, одетый в белое, который старался вылечить его (на нем я увидел мой халат); но вот является старик в черных одеждах, с козлиной бородкой и запрещает ему лечить. Оба врача, белый и черный, дух добра и дух зла, спорят, как ангел и демон, около тела, лежащего на носилках, и обмениваются острыми сатирическими репликами. Ангел уже был близок к победе и готов был заставить замолчать своего врага, когда вбежал римлянин со свирепым, уродливым лицом и приказал белому уйти. Черный человек, профессор Бестианелли (искажение имени Бастианелли, знаменитого даже среди крестьян), остался победителем. Он вытащил из сумки нож и начал операцию. Разрезал одежду больного и быстрым движением руки вытащил спрятанный там мочевой пузырь свиньи. С торжеством повернулся он к хору, бормотавшему слова ужаса и протеста, и, гордо размахивая пузырем, кричал:

— Вот сердце!

Большой иглой он проколол его, и оттуда брызнула струя крови; мать и женщины из хора начали выть над покойным. На этом и кончилась драма.

Я не мог узнать, кто был ее автор; быть может, это был не один, а несколько или все актеры вместе. Реплики, которые они бросали на ходу, касались проблемы, будоражившей их сердца в эти дни; но тонкость крестьянской мысли проявилась в том, что намеки никогда не были слишком прямыми и хотя были понятны и глубоко задевали, но никогда не становились опасными. И их волновали больше не сама сатира и протест; их увлекало искусство; каждый жил своей ролью — плачущая мать казалась скорбной героиней греческой трагедии или Марией Джакопоне*; больной действительно походил на мертвеца; черный шарлатан брызгал кровью сердца со свирепым наслаждением; римля-

* Джакопоне (1230—1306) — итальянский поэт.— *Прим. перев.*

нин был отвратительным чудовищем, государством-драконом; хор объяснял и сопровождал действия скорбной покорностью. Была ли это классическая схема, воспоминание о старинном искусстве, нашедшем слабый отголосок в народном творчестве, или это было внезапное, естественное возрождение языка, на котором говорили на этих землях, где сама жизнь — трагедия без театра?

Как только кончилось представление, мертвец встал с носилок, актеры быстро завернули за угол и отправились к дому доктора Джибилиско. Здесь представление было разыграно снова; и в течение дня было повторено много раз — перед домом доктора Милилло, перед церковью, перед казармой карабинеров, у муниципалитета, на площади, прямо на улице, в Верхнем и Нижнем Гальяно, пока не наступил вечер; халат ангела был мне торжественно возвращен, и все разошлись по домам.



Поэтическое излияние не успокоило душ, не уничтожило обиды. Крестьяне считали запрет абсурдным и не хотели признавать его. Как и прежде, они обращались ко мне за врачебной помощью, только приходили вечером в темноте и, прежде чем постучаться, оглядывались по сторонам, чтобы увериться, что на улице никого нет, никто за ними не шпионит. Отослать их, не оказав никакой помощи, было для меня практически невозможно, так как они настаивали, а необходимость является для меня решающим доводом. В том, что они не скажут никому об этом, я был абсолютно уверен: они скорее дали бы убить себя, чем предали бы меня. Но все же моя врачебная практика должна была резко сократиться; мне пришлось ограничиться тем, что я давал советы, снабжал самыми простыми лекарствами, запас которых у меня был; я не мог выписывать рецепты на другие лекарства или выписывал только тогда, когда больной мог переслать их какому-нибудь родственнику в Неаполь, чтобы он прислал оттуда лекарство. Я не делал больше перевязок и никаких операций, потому что это сразу открыло бы всем наш секрет. Необходимость держать все в тайне возбуждала умы. Скука исчезла из поселка. Запрет упал как волшебный камень в мертвую воду однообразной жизни синьоров. Доктор Джибилиско торжествовал. Был ли он или нет *deus ex machina* *, я так этого и не узнал, но он был полон ликования. Чувства старого доктора Милилло были сложнее и противоречивее. С одной стороны, он был доволен, что освободился от моей конкуренции, ибо его тщеславные профессиональные интересы были удовлетворены; но как бывший

* *Deus ex machina* — буквально, бог из машины (лат.). Неожиданно появляющаяся сила, обстоятельство, лицо, разрешающее казавшееся безвыходным положение. В античной трагедии обозначало неожиданную развязку действия вмешательством какого-нибудь бога, появляющегося на сцене при помощи механического приспособления.— *Прим. перев.*

верный ниттианец и старый либерал, он считал себя обязанным открыто осуждать действия квестуры. Он оказался, по существу, в самом выгодном положении, потому что извлекал одновременно двойную выгоду — материальную, с одной стороны, и моральную, с другой, ибо мог честно выразить свое сочувствие и свою дружбу. Для донны Катерины случившееся было крупным поражением: все ее планы взлетели на воздух; ее пылкая страсть была унижена в глазах ее врагов. Она рвала и метала.

— Если мой брат глупец, — говорила она, — слишком нерешителен и тяжел на подъем, я сама поеду в Матеру и поговорю с префектом.

Она была моей главной союзницей. Дон Луиджино не знал, как вести себя. Поведение сестры и общественное мнение побуждали его действовать, используя свои связи «для блага страны», но он боялся, приняв решение, посоветоваться с властями и поэтому ничего не делал, хотя на словах примыкал к партии донны Катерины. Синьоры, следовательно, разделились, как гвельфы и гибеллины*; одни вступали в союз с народом, другие оставались одни, но при могущественной поддержке священной Римской Империи Матеры. Дон Луиджино колебался между этими двумя противоположными течениями; он был подеста, хранитель закона, каков бы он ни был; но о законе у него было своеобразное понятие. Однажды вечером он прислал за мной свою служанку: у его дочери болело горло, у нее, несомненно, был дифтерит. Я ответил ему, что не пойду, так как мне это запрещено. Он снова послал за мной: к нему я мог пойти, потому что он, как подеста, стоит выше всех постановлений. Я сказал ему, что посмотрю девочку при условии, что точно так же, с его согласия, я смогу лечить всех крестьян, которым понадобится моя помощь. Он ответил, чтобы я пока полечил дочку, а дальше, мол, будет видно; дать мне формальное разрешение он не может, но он не будет препятствовать мне. У девочки ничего не было, а болезнь, как это часто бывает, существовала лишь в воображении отца. Так установился между нами продолжавшийся потом все время *modus vivendi*** , по которому я оставался

* Две партии, боровшиеся за господство в Италии в XII—XIII вв.; гвельфы отстаивали светскую власть папы в противоположность партии гибеллинов, стоявших за императорскую власть. — *Прим. перев.*

** Установить *modus vivendi* — определить взаимные отношения (лат.).

наполовину врачом, согласно неофициальному полусогласию и только при условии, что все будет содержаться в тайне. Я бы предпочел совсем все бросить и не думать ни о чем, кроме живописи; но это было невозможно, пока я оставался в Гальяно. Конечно, это нелегальное положение и необходимость соблюдения тайны имели свои неудобства; тем более, что произошли некоторые события, грозившие разжечь ярость, заглушенную с таким трудом.

Однажды вечером приехал из Гальянелло юноша с перевязанной рукой в сопровождении нескольких крестьян. Он поранил себя серпом между пальцами. Когда я снял повязку, кровь струей брызнула на стену — была перерезана артерия; нужно было найти концы пинцетом и связать их, но я сам не мог сделать даже эту маленькую операцию, потому что об этом стало бы известно. Я послал юношу к доктору Милилло и написал ему записку, предлагая себя в качестве ассистента при операции; я надеялся, что он прикроет меня своим именем и позволит мне делать то, на что, я боялся, он был не способен. Но старик почти обиделся и прислал мне сказать, что сделает все сам и не нуждается в помощи.

Рано утром на другой день старший брат юноши привез его ко мне на осле. Он был бледен как воск; всю ночь у него было кровотечение. Я посмотрел его руку: старый хирург ограничился тем, что сшил кожу, он даже не поискал перерезанную артерию. То, что было бы легко сделать накануне вечером, теперь было очень трудно, а запрет не допускал моего вмешательства в дела других врачей. Крестьянам, не желавшим обращаться ни к Милилло, ни к Джибилиско, не оставалось ничего, как только взять машину «509» «американца» и скорее отправиться в Стильяно или еще дальше в поисках лучшего хирурга. Так они и сделали; но прежде чем сесть в автомобиль, старший брат, человек смелый и решительный, собрал толпу крестьян и на площади перед муниципалитетом долго громко ругал современное положение дел, обвиняя и угрожая синьорам и подесте и «тем из Рима». Это была памятная сцена: крестьяне одобрительно встретили ее; так прошел еще один тревожный день.

Джулия не придавала никакого значения запрету.

— Поступай как хочешь,— говорила она мне.— Что они могут тебе сделать? И потом, если они тебе не позволяют быть врачом, ты будешь все равно лечить. Ты должен стать

колдуном. Ты же теперь все выучил, все знаешь. А это они тебе запретить не могут.

Действительно, за эти месяцы, благодаря советам Джулии и других женщин, приходивших ко мне, и благодаря тому, что я видел ежедневно в семьях крестьян и у постели больных, я сделался мастером народной магии в ее применении к медицине; и я действительно мог последовать совету Джулии; впрочем, она и давала мне его вполне серьезно, смотря на меня злыми, томными и холодными глазами:

— Ты должен стать колдуном.

С такой же серьезностью она говорила мне, когда я пел:

— Как жаль, что ты не стал священником; у тебя такой красивый голос.

Для нее священник это актер, который достойным образом поет за всех хвалы богу. Если бы я стал одновременно священником, врачом и магом, я тогда соединил бы в себе для Джулии все качества восточного Рофе, святого целителя.

Народная магия лечит все болезни, и почти всегда только с помощью заговоров и заклинаний. Среди них есть особые, предназначенные для определенных болезней, и общие. Некоторые из них, я думаю, местного происхождения; другие принадлежат к классическому *corpus* * магических списков, попавших сюда кто знает когда и какими путями; из этих классических талисманов самым распространенным является абракадабра **. Когда я посещал больных, мне доводилось видеть, чаще всего подвешенным на веревочке на шею, листок бумаги или маленькую металлическую пластинку, на которой была написана или вырезана треугольная формула:

А
А Б
А Б Р
А Б Р А
А Б Р А К
А Б Р А К А
А Б Р А К А Д
А Б Р А К А Д А
А Б Р А К А Д А Б
А Б Р А К А Д А Б Р
А Б Р А К А Д А Б Р А

* Свод (лат.).

** Бессмысленное слово, которому в древние времена приписывалась магическая сила.— *Прим. перев.*

Крестьяне сначала пытались прятать эти талисманы и как бы извинялись передо мной, что носят их; они знали, что врачи презрительно относятся к суевериям и грозно выступают против них во имя разума и науки. И хорошо делают там, где разум и наука могут принять тот же магический характер народной магии; но здесь они еще не являются и, может быть, никогда и не будут божествами, которым повинуются и перед которыми преклоняются.

Поэтому я проявлял уважение к абракадабрам, почитал в них древность и темную, таинственную наивность, предпочитая быть их союзником, а не врагом, и крестьяне были мне за это благодарны, и, возможно, талисманы приносили действительно им какую-то пользу. Да и, кроме того, магические обряды в этих краях совсем безвредны и крестьяне не видят в них никакого противоречия с официальной медициной. Привычка давать каждому больному против всякой болезни, даже когда в этом нет необходимости, рецепт — это магическая привычка, тем более если рецепт написан, как это было раньше, по-латыни или, по крайней мере, непонятным почерком. Большая часть рецептов могла бы исцелить больных, если бы их вместо того, чтобы отправлять в аптеку, вешали на веревочке на шею, как абракадабру.

Кроме абракадабры, было много других, самых разнообразных предметов, обладавших вообще целебными свойствами: кабалистические и астрологические знаки, изображения святых, Мадонны ди Виджано, монеты, волчьи зубы, жабьи кости и тому подобное — целый традиционный арсенал. Иные болезни лечат еще более оригинально. Глисты у детей заговариваются только словами. Говорят:

Понедельник святой,
Вторник святой,
Среда святая,
Четверг святой,
Пятница святая,
Суббота святая,
Пасха будет в воскресенье:
В землю, червь, без промедленья.

И после произносят наоборот:

Суббота святая,
Пятница святая,
Четверг святой,

Среда святая,
Вторник святой, |
Понедельник святой,
Пасха будет в воскресенье: |
В землю, червь, без промедленья.

Это двойное заклинание произносится над больным три раза подряд в восходящем и нисходящем порядке. И заговоренные глисты умирают, а ребенок выздоравливает. Это, несомненно, очень древнее заклинание, смешение архаического римского заговора, сохранившегося среди первых документов латинского языка, с элементами христианства.

Желтуха называется здесь «радужной болезнью»; она потому радужная, что заболевший ею человек меняет цвет и в нем, как в солнечном спектре, преобладает желтый. Как заболевают радужной болезнью? Радуга ходит по небу, упираясь в землю двумя ногами, двигаясь взад и вперед по полям. Если случится, что она наступит на развешанное на улице белье, то тот, кто наденет такое белье, становится цвета радуги и заболевает. Говорят также (но первая гипотеза о происхождении болезни более распространена и у нее больше сторонников), что нельзя мочиться, стоя против радуги, так как дугообразная струя, отражающая дугообразный спектр неба, делает всего человека чем-то вроде желтого спектра. Чтобы вылечить желтуху, надо отнести больного при первых лучах зари на холм за поселок. Ко лбу его надо приложить нож с черной ручкой, сначала вертикально, потом горизонтально, так чтобы получилось что-то вроде креста. Также крестообразно надо приложить нож ко всем суставам тела и при каждом осенении крестом произносить простое заклинание. Эту операцию надо повторить трижды, не пропуская ни одного сустава, и продельвать это три недели подряд. Тогда радуга уходит, цвет за цветом, и лицо больного снова делается белым. Заговор против рожи действует только при помощи серебра. Поэтому крестьяне хранят дома старую монету — скудо*. И я не видел ни одного больного рожей (а рожа очень частое заболевание в этих краях), у которого бы к распухшей красной коже не была приложена большая монета.

Существуют заговоры для срастания костей, от зубной боли, от болей живота и головы; есть заговоры, которые

* Скудо — итальянская монета в пять лир.— *Прим. перев.*

переносят боли на другого человека или на животное, на растение или предмет, освобождают от дурного глаза и колдовства. Так от исцеления здесь легко переходят к противоположному, к способам заставить заболеть и умереть, или к другой, тоже очень важной ветви народной магии, к искусству принудить любить или освободиться от любви. Этот вид колдовства, как я уже говорил, мне часто приходилось наблюдать и еще чаще быть его предметом и жертвой; и если тогда я ничего не заметил, разве не могло случиться, что от этих зелий и заговоров в меня внедрилась потом, гораздо позже, столь несчастная способность испытывать страсть? Пока что я должен был только защищаться от покушений некоторых ведьм, как, например, Марии С., которая послала за мной под предлогом, что ее девочка больна, когда ее муж (уже отсидевший в тюрьме за убийство в припадке ревности) находился в поле. Это была та самая ведьма, которая погубила с помощью таинственной болезни мужа вдовы; говорили, что девочка, красивая и хорошо воспитанная, была дочерью умершего. Мать же действительно могла внушить страх: очень маленькая и толстая, с очень низким лбом, так что ее иссиня-черные гладкие волосы, разделенные прямым пробором на две большие волны, росли почти от самых бровей, таких же густых и темных, как волосы. Из-под них выглядывала маленькая мордочка дикого зверька с коротким носом, открытыми ноздрями, маленьким мясистым ртом и белыми острыми зубами. На этом бледном лице в рамке черных волос и бровей были видны только огромные безумные, нездешние глаза, расширявшиеся к вискам, очень светлые, голубовато-зеленые, как озера с опасными берегами пловучих песков между гниющими тропическими деревьями.

— Ты должен стать колдуном; ты же теперь умеешь лечить и по-нашему.

Я продолжал тайно свою врачебную практику, стараясь не противоречить магическим действиям. Здесь, где все связи между вещами объясняются магией, даже и медицина оказывает действие только своей магической стороной, хотя остается правдивой, строго научной, не имеющей ничего общего с таинственными силами. Хинин, например, потерял здесь всякую силу, потому что для крестьян он был орудием дискредитированной, непонятной и хвастливой науки. Нужно было очень долго настаивать, чтобы больной принял его, и, принятый против воли, он помогал плохо; я предпочитал заменять его новыми, более сильными и более дей-

ственными лекарствами, вроде атебрина, плазмокина, которые мне великолепно служили, потому что действовали одновременно и как химические вещества, и как магические средства.

Крестьяне доверяют всем лекарствам, кроме хинина; только их трудно найти и стоят они дорого; они служат одним из способов обирания крестьян врачами и фармацевтами. Никогда нельзя быть уверенным, что лекарство в старой пыльной аптеке, если она есть в поселке, приготовлено согласно рецепту, а не является, в лучшем случае, смесью безвредных порошков. Лучше всего в таких обстоятельствах прибегать к патентованным средствам, а они дороги; но и здесь дело не обходится без затруднений. Однажды заболел сын Паррокколы. У него вскочил гнойный прыщ — карбункул, что часто случается там, где люди живут вместе с животными; мне их пришлось видеть множество. Я осмотрел мальчика к вечеру. Имевшийся у меня небольшой запас серума кончился. И в поселке его не было. Я сказал Паррокколе, чтобы она, не теряя времени, шла по кратчайшей дороге в Сантарканджело в аптеку за серумом.

— У тебя есть деньги? — спросил я ее.

— Есть, тридцать лир, мне карабинеры заплатили за стирку.

Я знал, что каждый пузырек стоит восемь лир семьдесят пять; следовательно, денег было достаточно.

— Возьми три пузырька, так будет спокойней.

Карбункул — плохая болезнь и вылечивается только сывороткой, которую надо давать не жалея. Был вечер. Парроккола боялась идти ночью:

— Там на тропинке духи, они меня не пропустят.

Но она все-таки пошла задолго до рассвета; она бежала на своих коротких ногах так быстро, как только может бежать испуганная мать. Десять километров туда, десять обратно: к утру она была уже дома. Парроккола принесла только два пузырька. Я удивился, но она мне сказала, что аптекарь спросил ее, сколько у нее денег. — Тридцать лир. — Тогда можешь взять два. Умеешь читать? Они стоят по пятнадцать лир. Там написано. — А написано было «8.75». Такими способами осуществляются феодальные права мелкой буржуазии в этих краях. К счастью, двух пузырьков оказалось достаточно.

Парроккола была очень бедна: у нее ничего не было, кроме большой постели и прелестей нищей цамбры. Она

должна была бы получать врачебную помощь и лекарства бесплатно, должна была бы значиться в списке бедняков. Такой список существовал, он был спрятан в каком-нибудь шкафу муниципалитета; но в этом поселке всеобщей нищеты он был очень короток: четыре-пять фамилий, не больше. Под разными предложениями никого не признавали бедняками, а иначе, кто бы вносил следуемую плату врачам и фармацевтам, бесконтрольным составителям этого списка. Это было одно из давнишних бедствий, санкционированных обычаем, неизбежное, связанное с государством, против которого не было защиты.

— Если бы мы умели читать и писать, нас бы не могли так обкрадывать. Теперь есть школы, но в них ничему не учат. «Те из Рима» предпочитают, чтобы мы оставались скотом.

И все же эти крестьяне, которые платят подати, которые прошли пешком до Сенизы, чтобы продать на две лиры веревки, и которые пронесли до Метапонта корзину чудесных апельсинов, стоивших этим садоводам нескольких смертей от злокачественной лихорадки морских берегов, отдали все золото в «день верности». Золота, правда, было очень мало в поселке — его постепенно обобрали торговцы золотом, которые каждый год обходят самые отдаленные деревни, особенно в мае и июне, незадолго до жатвы, когда крестьяне съели запасы, задолжали и не знают, как быть дальше. Всем было внушено, что сдавать золото обязательно, что бог знает, какие кары обрушатся на тех, кто не сдал его; что даже папа приказал отдать все золото из церквей. И они понесли его на алтарь отечества, покоровшись этому новому побору. И Джулия, и Парроккола отказались от своих обручальных колец, воспоминания об их давнем браке, о мужьях, исчезнувших по ту сторону океана.

Муж Джулии уехал с сыном, первым из семнадцати, которых она родила, в Аргентину, и о них с тех пор ничего не было известно. Но однажды Джулия получила письмо и принесла мне, чтобы я его прочел. Оно было написано наполовину по-итальянски, наполовину по-испански и пришло из Чивитавеккьи. Это писал ее первый сын, потерянный почти двадцать лет назад, выросший в Буэнос-Айресе; он сообщал, что завербовался и уезжает в Абиссинию. Сын вспомнил о матери, но ничего не сообщил ей об отце. Он надеялся перед отправкой из Италии получить отпуск и приехать познакомиться с ней и повидать ее. Отпуска он не получил,

но прислал свою фотографию и время от времени писал из Африки. Я отвечал ему под диктовку Джулии. Наконец, пришло письмо, где он сообщал, что война скоро кончится и просил мать найти ему в Гальяно невесту. Пусть она сама выберет ее. Как только он вернется, он сейчас же женится на ней. Даже для этого юноши, уехавшего раньше, чем могли запечатлеться детские воспоминания, Америка прошла, не оставив следа, как, впрочем, и для всех эмигрантов. И он хотел вернуться в поселок, которого никогда не видел, чтобы жениться на неизвестной девушке, выбранной матерью-ведьмой, знакомой ему только по имени. Джулия, зная все, самые сокровенные тайны о всех женщинах поселка, выбрала для своего сына крестьянку не красивую, но крепкую и очень волевою, жившую почти напротив моего дома, и стала ждать вместе с невестой возвращения сына и свадьбы.



Апрель был безумным месяцем, месяцем солнца, дождей и блуждающих облаков. Что-то вроде далекого трепета наполняло воздух, может быть, где-то начиналась весна; но сюда не доходили токи возрождающейся жизни, набухание счастливых северных земель, освобождавшихся от снега, чтобы наслаждаться влюбленным солнцем и зеленью. Холод кончился, дули веселые ветры, но ни трава, ни цветы, ни фиалки не росли на этой почве. Ничто не изменилось в пейзаже: серая глина простиралась вокруг, как всегда; чего-то не хватало самой жизни года; и ощущение этого отсутствия наполняло сердце печалью. Погода стала лучше, и поселок опустел: мужчины весь день были далеко, в невидимых полях. Дети вместе с козами плескались в грязных лужах. Я лениво бродил, одетый в бархатный костюм, или рисовал на открытом воздухе, сидя на террасе. Из домов до меня долетали, чередуясь, голоса женщин и визг поросят; когда женщины их намыливали и мыли, они визжали по своему обыкновению, как дети, раскрасневшиеся от купанья.

Однажды вечером я возвращался домой по знакомым спускам и подъемам улицы между Верхним и Нижним Гальяно, останавливаясь то тут то там, машинально смотря на горы, где мне были знакомы каждое пятно и каждая складка, как на лицах близких людей, которых почти не видишь, потому что очень давно их знаешь. Я смотрел, не задерживая взгляда ни на чем определенном, сквозь серый воздух и ветер, и мне казалось, что я потерял всякое ощущение, вышел за пределы времени, весь окутан морем пассивной вечности, из которого мне уже не выбраться. Я сел на мгновение около источника, у которого в этот момент никого не было, и прислушался, ни о чем не думая, к глухому шуму бушевавшего во мне моря, когда подошла почтальонша, больная, тощая старуха, истерзанная кашлем и лишениями, которая весь день бродила по поселку с мешком писем на

голове. Она принесла мне сильно запоздавшую из-за цензуры телеграмму, извещавшую меня о смерти близкого родственника. Я вернулся домой: немного спустя мне сообщили, что квестура, по настоятельной просьбе родных, разрешает мне, при условии хорошей охраны, поехать на несколько дней в мой родной город по важным семейным делам. Я мог уехать на рассвете, чтобы попасть на автобус, идущий в Матеру; туда меня мог сопровождать дон Дженнаро, охранник муниципалитета.

Так я был вырван из монотонного потока дней и снова оказался в движении, на дороге, в поезде, среди зеленых полей. Это путешествие было для меня таким печальным, что почти забылось. Я еще раз увидел издали гору Грассано и поселок, такой прозаически-невинный; потом попал на новые для меня земли, еще более выжженные, печальные и пустынные между Базенто, Брадано и Гравиной, за Гротоле и Мильонико, по направлению к Матере. В Матере я должен был задержаться на несколько часов, пока решился вопрос об охране. И вот я увидел этот город; до какой степени было оправдано ужасное впечатление моей сестры, к которому у меня присоединялось удивление перед его трагической красотой. Наконец я вместе с охранником сел в поезд и ночь и день ехал через всю Италию. Я пробыл несколько дней в моем городе, постоянно сопровождаемый двумя полицейскими; они должны были наблюдать за мной даже ночью, но вместо этого спали в комнатухе, выделенной для них у меня в доме. Мое пребывание там было грустным не только из-за горестной причины приезда. Я думал, что живая радость вернется ко мне, когда я вновь увижу город, поговорю со старыми друзьями и хотя бы на мгновение поживу многообразной, полной движения жизнью; но на самом деле я чувствовал в себе отрешенность, которую не мог преодолеть, бесконечную отдаленность, трудность принять участие в чем-либо, и это мешало мне наслаждаться вновь обретенными благами. Многие избегали меня из осторожности, других избегал я сам, чтобы не скомпрометировать их; некоторые, более мужественные или менее пугливые, приходили ко мне, не боясь моих стражей и их ежедневного вечернего рапорта. Но даже с ними мне было трудно найти полное взаимопонимание. Мне казалось, что какая-то частица моего «я» чужда этому миру с его интересами, честолюбием, деятельностью и надеждами. Их жизнь не была больше моей жизнью и не трогала моего

сердца. И вот несколько дней незаметно промелькнули, и я уехал без неудовольствия с двумя новыми сопровождающими. Это были два агента, которые долго добивались этого поручения, так как надеялись сэкономить несколько дней на путешествии, чтобы выбрать время посетить свои семьи. У одного из них, худощавого сицильянца, в Риме была жена. Когда мы туда приехали и должны были задержаться на несколько часов в ожидании следующего поезда, так как наш только что ушел, он попросил меня, чтобы я его не выдал — ему хотелось бы остаться и побыть с женой. Я успокоил его: пусть использует эти дни — достаточно одного его товарища, чтобы следить за мной. Сицильянец простился со мной и исчез.

Другой сопровождал меня до самого Гальяно. Это был смуглый стройный юноша, начавший чуть-чуть лысеть. Он сказал мне, ужасно стыдясь своей профессии, что принадлежит к очень известной семье города Монтемурро, в долине Агри; и я узнал потом в Гальяно, что все, что он мне рассказывал, было правдой. Его отец, слепой, известный во всей провинции, был очень богат. Он арендовал громадные земли в разных местах, далеко от Лукании; все его знали, так же как его знаменитую лошадь, которая возила его по всем дорогам, одного, без проводника, по всем этим владениям, расположенным более чем в пятидесяти километрах одно от другого. Их было восемь братьев, и все старшие закончили ученье и имели дипломы. Когда отец умер, семья разорилась. Братья были на хорошей службе, но мой полицейский Де Лука, самый младший, был в то время еще лицеистом. Ему пришлось бросить ученье и он не нашел ничего лучшего, как поступить на службу в полицию. Но эта профессия была ему противна; он хотел окончить лицей и найти другое занятие. Может быть я мог бы помочь ему? Так мой охранник поверял мне свои несчастья. В Риме жили его братья, его дяди, все — служащие каких-нибудь министерств. Он хотел побывать у них, но не мог меня оставить; он попросил меня пойти с ним. Так я увидел гостинные некоторых служащих; я был представлен как личный друг Де Луки и всюду был приглашен на чашку кофе и всюду давал уклончивые ответы на вопросы о своей особе. Де Лука стыдился и перед своими родными, никто из них не знал и не должен был знать, что он полицейский. Для них он был на хорошей должности в одном из северных городов, а я выдавался за его сослуживца.

И вот поезд уже увозил нас прочь от столицы к югу. Была ночь, но я не мог заснуть. Сидя на жесткой скамейке, я думал об ушедших днях, о владевшем мною чувстве отчужденности, о полном непонимании политиками тех краев, куда мы ехали. Все меня спрашивали о юге; всем я рассказывал то, что видел, и если все слушали меня с интересом, немногие, мне кажется, пытались действительно понять меня. Это были люди разных взглядов и разных темпераментов: от самых пламенных крайних до самых неумолимых консерваторов. Многие из них были по-настоящему одаренные и все говорили, что размышляли над «южной проблемой», и у них были готовы свои положения и свои схемы. Но как все эти положения и схемы и даже язык и слова, которыми они пользовались для объяснения, не были понятны крестьянам, так же жизнь и потребности крестьян были для них замкнутым миром, в который они даже не пытались проникнуть. Все они по существу (теперь, мне казалось, я видел это ясно) были более или менее бессознательными сторонниками государства, его поклонниками, не понимавшими самих себя. Неважно, было ли их государство таким, каким оно было сейчас, или таким, каким им хотелось его видеть в будущем; и в одном, и в другом случае оно было государством, стоящим как бы выше людей и жизни народа; тираническое или отечески заботливое, диктаторское или демократическое, но всегда унитарное, централизованное и далекое. Отсюда и невозможность для политиков и моих крестьян понять и быть понятыми. Отсюда упрощенность политиков, часто облеченная в философствующие выражения, и абстрактность их выводов, схематичных, пристрастных, очень быстро стареющих, не применимых к реальной жизни. Пятнадцать лет фашизма заставили всех забыть южную проблему; и если теперь некоторые хотели вновь поставить ее, то не могли рассматривать иначе, как в связи с чем-нибудь другим, с общими посредническими фикциями партии, класса или даже расы. Одни видели в этом чисто экономическую и техническую проблему, говорили об общественных работах, об осушении почвы, о необходимости индустриализации, о внутренней колонизации или обращались к старым социалистическим программам «перестройки Италии». Другие видели здесь только печальное историческое наследие, традицию рабства времен Бурбонов, которую либеральная демократия могла бы постепенно изжить. Третьи объявляли, что южная проблема — только частный случай капиталисти-

ческого угнетения, который мог бы быть решен диктатурой пролетариата. Четвертые думали еще, что здесь налицо ярко выраженная расовая неполноценность, говорили о юге, как о мертвом грузе для северной Италии, и изучали возможности предупреждать сверху такое скорбное положение вещей.

Для всех государство должно было что-то сделать, что-то очень полезное, благодетельное и предупреждающее; и они смотрели на меня с изумлением, когда я говорил, что государство, как они его понимали, является только самым главным препятствием для того, чтобы что-нибудь сделать. Не может государство, говорил я, решить южный вопрос, потому что так называемая южная проблема не что иное, как проблема государства. Между фашистской, либеральной или социалистической государственностью и всеми другими формами государственности, которые попытаются установить в нашей мелко-буржуазной стране, и антигосударственностью крестьян существует и всегда будет существовать пропасть; и можно будет попытаться уничтожить ее только тогда, когда нам удастся создать такую форму государства, в котором и крестьяне почувствуют себя составной частью. Общественные работы, мелиорация очень хороши, но не решают проблемы. Внутренняя колонизация может иметь некоторый, очень скромный материальный эффект, но это сделает всю Италию, а не только юг, колонией. Централизация может принести большие практические результаты, но все равно, в каком угодно виде останутся две враждебные друг другу Италии. Проблема, о которой мы говорим, гораздо сложнее, чем вы думаете. В ней три разных аспекта, три лика одной и той же реальности, которые не могут быть поняты и решены отдельно. Прежде всего мы стоим перед лицом существования двух различных цивилизаций, ни одна из которых не может ассимилировать другую. Деревня и город, культура дохристианская и культура уже не-христианская стоят лицом к лицу; и до тех пор, пока вторая будет навязывать первой свою государственную теократию, разлад будет продолжаться. Ведущая сейчас война и все будущие войны большей частью результат этого векового разлада, дошедшего сейчас до крайней остроты не только в Италии. Крестьянская цивилизация будет всегда побеждена, но не сможет быть полностью подавлена, а сохранится под покровом терпения, вспыхивая время от времени; и смертельный кризис будет продолжаться

вечно. Разбойничество, крестьянская война — живое этому свидетельство; и этот взрыв прошлого столетия отнюдь не последний. До тех пор, пока Рим будет управлять Матерой, Матера будет анархической и неисцелимой, а Рим неисцелимым и тираническим.

Второй аспект проблемы — экономический; это проблема нищеты. Земли становятся все более бесплодными, леса вырублены, реки превратились в ручейки, животных становится все меньше, на месте деревьев, лугов и лесов здесь упорно культивируют пшеницу, хотя земля непригодна для этого. Нет капиталов, нет промышленности, нет сбережений, нет школ, эмиграция стала невозможной, налоги невыносимы и непропорциональны; и повсюду царствует малярия. Все это, в основном, результат добрых намерений и усилий государства, которое никогда не будет государством крестьян и которое создало для них только нищету и пустыню.

И, наконец, есть социальная сторона проблемы. Принято говорить, что наибольший враг — это латифундия, это крупный землевладелец; и, конечно, крупное поместье это все что угодно, но не благотворное учреждение. Но если крупный землевладелец, живущий в Неаполе, в Риме или в Палермо, враг крестьян, все же он не самый большой и не самый злобный. Он, по крайней мере, далеко и не давит ежечасно жизнь других. Настоящий враг, отнимающий всякую свободу и всякую возможность существования для крестьян, — это мелкая буржуазия деревень, морально и физически выродившийся класс, incapable выполнять свои функции и живущий только мелким грабежом и вырождающимся традиционным феодальным правом. Пока этот класс не будет подавлен и заменен, нечего и думать о решении южной проблемы.

Эта проблема в своем тройном аспекте существовала до фашизма; но фашизм, хотя он и отрицал ее существование, довел ее до высшей остроты, потому что вместе с ним мелкобуржуазная государственность дошла до своего полного утверждения. Мы не можем сейчас предвидеть, какие политические формы готовятся для будущего; но в такой мелкобуржуазной стране, как Италия, где мелкобуржуазная идеология заразила и городские классы, возможно, что новые формы, которые последуют за фашизмом, путем медленной эволюции или путем насилия и даже самые крайние и внешне наиболее революционные из них, должны будут принять и утвердить разнообразными способами эту идеоло-

гию, воссоздав таким образом государство, может быть, еще более далекое от жизни, идолопоклонническое и абстрактное; они продолжают и ухудшат под новыми названиями и новыми знаменами вечный итальянский фашизм. Без крестьянской революции у нас никогда не будет настоящей итальянской революции, и наоборот. Эти оба момента сливаются. Южная проблема не решается ни внутри современного государства, ни внутри тех, которые будут следовать его традициям, не противореча ему в основном. Она решится только вне их, если мы сумеем создать новую политическую идею и новую форму государства, которое будет также и государством крестьян, которое освободит их от их насильственной анархии и от их неизбежного сейчас равнодушия. Ее нельзя решить также и одними силами юга: в последнем случае у нас начнется гражданская война, новое ужасное разбойничество, которое, как всегда, кончится поражением крестьян и всеобщим несчастьем. Коренное обновление произойдет только, если будет действовать вся Италия. Нужно, чтобы мы были способны задумать и создать новое государство, которое не должно быть ни фашистским, ни либеральным, ни коммунистическим, являющимися разными по форме и субстанциально одинаковыми в своей религиозной государственности. Мы должны подумать о самых основах идеи государства, о концепции индивидуума, составляющего его основу; и юридическую, и абстрактную концепцию индивидуума мы должны заменить новой концепцией, которая выражает живую реальность, которая уничтожает не поддающееся оценке превосходство индивидуума или государства. Индивидуум не есть замкнутое единство; это — отношение, даже связь всех отношений. Такая же концепция связи, за пределами которой индивидуума не существует, определяет и государство. Индивидуум и государство совпадают в своей сущности и должны совпасть в своей ежедневной практике, чтобы существовать совместно. Бессознательно назревающий поворот в политике заключен в крестьянской цивилизации, и это единственный путь, который позволит нам выбраться из порочного круга фашизма и антифашизма. Этот путь называется автономией. Государство не может быть не чем иным, как суммой бесчисленных автономий, органической федерацией. Для крестьян единственная государственная ячейка, с помощью которой они могут участвовать в многообразной коллективной жизни, — автономная сельская община. Это единственная государственная форма,

которая может привести к одновременному решению трех взаимосвязанных аспектов южной проблемы; эта форма делает возможным сосуществование двух разных цивилизаций без того, чтобы одна подавляла другую или эта другая обременяла первую; только она даст в пределах возможного лучшие условия для избавления от нищеты; и, наконец, через уничтожение всякой власти и всяких чиновных должностей, будь то крупных землевладельцев или местной мелкой буржуазии, возникнет возможность для крестьян жить для себя и для всех. Но автономия сельских общин не сможет существовать без автономии фабрик, школ, городов, всех форм социальной жизни. Вот к каким выводам я пришел за год подземной жизни.

Так я сказал моим друзьям и обдумывал это еще раз, пока поезд ночью въезжал в земли Лукании. Это были первые проблески идей, которые я развивал позже, в годы, последовавшие за испытанием ссылкой и войной. Поглощенный этими мыслями, я заснул.



Я проснулся, когда солнце уже стояло высоко, после Потенцы, среди обрывистых склонов Бриндази ди Монтанья. В воздухе было что-то необычное, но что именно, я не мог еще отдать себе отчета. Мы въехали в долину Базенто, проехали маленькие безлюдные станции Пьетра Пертоза, Гарагузо и Трикарико и вскоре достигли нашей цели: станции Грассано. Здесь мы должны были сойти и подождать, как всегда, несколько часов, пока появится почтовый автобус.

Станция была пустынная; я прогуливался взад и вперед по провинциальной улице, разговаривая с моим охранником. Грассано снова приветствовал меня с высоты горы, как постоянно возвращающееся дружеское видение; но его облик изменился. Тогда я понял, почему мне показался странным пейзаж, когда я увидел его утром из окна вагона. Холм был такой же, как всегда, те же ленивые изгибы и неожиданные трещины до самого кладбища и поселка; но земля, которую я всегда видел серой и желтоватой, стала теперь неожиданно и неестественно зеленой.

Весна внезапно началась даже здесь в те немногие дни, что я был в отсутствии; но тот цвет, который в других местах полон веселой гармонии и надежды, здесь приобретал характер искусственный и резкий; он выглядел фальшиво, как румяна на обожженном солнцем лице крестьянки. Такая же зелень с металлическим отливом сопровождала меня при подъеме к Сильяно, словно фальшивый звук трубы в похоронном марше. Горы снова замкнулись за моими плечами, как ворота тюрьмы, когда мы спускались к Сауро и начали подъем к Гальяно. На белых глинах маленькие пятна зелени, разбросанные тут и там, сверкали на солнце еще более назойливо и странно; они казались беспорядочно разбросанными кусками разорванной маски.

Приближался вечер, когда мы прибыли в поселок. Моего охранника Де Лука все сразу узнали. Здесь мне и стало известно, что все, что он мне рассказывал о себе и о своей семье, было правдой: сын слепого обладателя мудрой лошади был почти земляком и многие приглашали его зайти закусить, прежде чем ехать. Но он торопился: ему удалось занять лошадь, он вскочил в седло и уехал в Монтемурро, куда мог добраться, только проехав всю ночь.

Гальяно, после короткой отлучки в город, показался мне еще меньше и еще печальнее, чем всегда, в своей хмурой бурбонской неподвижности. Еще два года здесь! Тоска однообразных дней будущего неожиданно наполнила мое сердце.

Я пошел домой, а из дверей до меня доносились приветы и «добро пожаловать». Барон, порученный мною Джулии, стоял посреди площади, как важный синьор; увидев меня, он побежал мне навстречу радостно и шумно. Я думал, что найду дома Джулию; но дом был пуст, очаг погашен и ничего не было приготовлено к ужину. Я послал за ней мальчика; он вернулся сказать мне, что она не может прийти и чтобы я не ждал ее ни завтра, ни позже; но причину она не сообщила. Я должен был опять подняться к вдове, чтобы что-нибудь поесть.

После я узнал от донны Катерины, что во время моего отсутствия блондин-цирюльник, любовник Джулии, почувствовал приступ ревности, один бог знает насколько необоснованной, и пригрозил моей ведьме, что пере режет ей горло своей бритвой, если она опять вернется ко мне, и так перепугал ее, что она не посмела даже прийти повидаться со мной и поздороваться. Только много позже, когда ее страх прошел, она стала останавливаться, чтобы поговорить со мной, когда мы встречались, и смотрела на меня со странной таинственной сдержанной и чуть-чуть снизводительной улыбкой, но так и не рассказала мне о причине своего ухода.

Донна Катерина разбивалась в лепешку, чтобы найти мне новую служанку.

— Есть одна лучше Джулии. Эти дни она будет занята, но я думаю мне удастся уговорить ее и она придет.

В это время несколько ведьм поселка приходили ко мне, но я решил дожидаться женщину, предложенную донной Катериной. Среди тех, кто предлагал мне свои услуги, но кого я не взял, была одна старуха, которая особенно просила, чтобы

я взял ее к себе. Мне показалось, что ей было лет семьдесят. После я с удивлением узнал, что ей было почти девяносто, что она была любовницей старого восьмидесятидвухлетнего отца дона Луиджино и была влюблена в меня. Так, не заметив этого, я рисковал быть пожранным самой старой Паркой из всех, которых мне когда-либо приходилось видеть.

Наконец пришла Мария, женщина, посланная сестрой подесты. Она была ведьма, как Джулия, даже больше, чем Джулия, и у нее был вид классической ведьмы, из тех, что мажут себя мазью и летают по воздуху верхом на метле. В ней не было ничего от звериной величественности Джулии. Ей было лет сорок, она была довольно высокая, худая, с сухим морщинистым лицом с длинным тонким носом, выступающим заостренным подбородком. Она двигалась легко, ловко и быстро работала. Казалось, ее сжигает внутренний огонь, что-то вроде ненасытной жадности, бесовская нервная чувственность. Она бросала на меня взгляды, горящие мрачным огнем; я тотчас же понял, что не найду в ней пассивности Джулии и что должен держать ее на расстоянии. Поэтому все время, пока она была у меня, я очень мало общался с ней. В остальном же она была прекрасная женщина.

Кроме бегства Джулии и другие события произошли в мое отсутствие. Уехал дон Джузеппе Трайелла, его безвозвратно сослали умирать в малярийные трущобы Гальянелло. Рождественская ночь принесла свои плоды, дон Луиджино торжествовал. Епископ объявил конкурс на приход Гальяно, но запретил Трайелле участвовать в нем. Его преемник, дон Пьетро Лигуари, уже приехал из Мильоники. Он нашел удобный дом на главной улице, около площади, и поселился в нем с своей экономкой и невероятным запасом съедобного.

Я встретил его на площади на следующий день после моего приезда, и он пошел мне навстречу с сердечной улыбкой. Он уже все превосходно знал обо мне, сказал, что очень рад познакомиться со мной и пригласил к себе домой на чашку кофе. Если бы вы захотели найти человека противоположного по внешности, по манерам, по духу бедному человеконенавистнику-настоятелю, высланному в деревеньку у реки, то, конечно, нельзя было бы выбрать никого лучше дона Пьетро Лигуари. Ему было лет пятьдесят, он был среднего роста, толстый, даже жирный, бледножелтоватый; черные

испанские глаза, очень хитрые; большое полное лицо, слегка горбатый нос, тонкие губы, черные волосы. Мне казалось, что я его уже встречал, что он похож на какого-то знакомого. Поразмыслив, я сообразил, в чем дело. У настоятеля было типичное, очень типичное лицо итальянца тех лет. В нем были смешаны актер, прелат, цирюльник, помесь Муссолини и Руджери Руджери *. Дон Пьетро Лигуари был из этих мест, вероятно выходец из крестьян; у него были вкрадчивые манеры, а на лице выражение хитрости и тонкости. Он шествовал с важностью, всегда был чисто одет, на его шляпе горела красная кисть, а на пальце он носил перстень с рубином.

Когда я вошел к нему в дом, я был поражен большим количеством колбас, сосисок, ветчины, сырков, сыров, связок сухих фиг, перца, лука и чеснока, которые свисали с балок на потолке, банок консервов и мармелада, бутылок с оливковым маслом и вином, загромождавших кладовые. Ни один из господских домов Гальяно не был так великолепно снабжен продовольственными запасами. Нам открыла экономка, женщина лет сорока, высокая и худая, с суровым непроницаемым лицом, одетая во все черное, с белым воротничком и без вуали на голове. Эта суровая женщина, как я узнал позже, была крестьянкой из Монтемулло, великолепной кухаркой и, как болтали злые языки, матерью четырех предполагаемых детей настоятеля, которые были отданы в разные колледжи провинции.

Дон Лигуари заставил меня обойти комнаты, полюбоваться его запасами.

— Приходите иногда попоститься со мной,— сказал он мне, показывая свежее масло, которого не было в Гальяно и которого мне не довелось пробовать с момента приезда.— Моя экономка умеет хорошо печь. Увидите. Но сядем пить кофе.

Когда мы выпили по чашке, настоятель заговорил о поселке, о своих впечатлениях, спрашивал мое мнение.

— Здесь много дел,— говорил он,— много. Я бы сказал, все надо начинать сначала. Церковь в плохом состоянии, надо построить колокольню. Доходы с наших земель не выплачиваются вовсе или только частично и то с запозданием. Но особенно плохо с религией. Есть даже много

* Известный итальянский актер.— *Прим. перев.*

некрещеных детей, и никто об этом не заботится, пока они не заболевают и не оказываются при смерти. В церковь на службу приходят только несколько старух; во время воскресной обедни церковь почти пуста. Люди не исповедуются и не причащаются. Все это надо изменить, и будет быстро изменено, увидите. Власти этим не занимаются и делают все возможное, чтобы ухудшить положение. Они материалисты и говорят только о войне. Думают, что они со своим фашизмом хозяева страны. Бедняги! Не знают, что после конкордата * хозяева не они, а мы, единственная авторитетная власть. Конкордат означает, что управление всем перешло в наши руки, в руки духовенства. Если подеста считает, что он может здесь командовать, то он ошибается!

Дон Пьетро Лигуари замолчал; он почти раскаивался в том, что сказал слишком много; но он хорошо понял, что со мной можно разговаривать, не боясь, что я передам его слова, и ему хотелось показать мне свое благоговение. Поэтому он начал говорить со мной о ссыльных, о своей обязанности священника помогать им и утешать их, независимо от их политических взглядов и религиозных убеждений. Все это было очень хорошо, но его вкрадчивые манеры, тон его голоса показывали слишком ясно, что он руководствовался не столько чувством милосердия, сколько интересом и расчетом. И, наконец, после этого длиннейшего вступления он подошел к вопросу, из-за которого пригласил меня к себе.

— Нужно вернуть этот народ к религии, иначе он попадет в руки атеистов, стремящихся командовать. Даже и тех, кто исповедует другую веру, мы тоже должны принять.— И здесь он бросил на меня многозначительный взгляд.— В конце концов все могут быть тронуты благодатью. Но если мы хотим вернуть в лоно церкви этих крестьян, нужно, чтобы служба была более притягательна, чтобы больше поражала воображение. Церковь бедная и голая, а одним словом не притянешь. Чтобы крестьяне стали опять посещать дом господен, нужна музыка. Я приказал привезти из Мильонико орган и вчера велел поставить в церкви. Это как раз то, что нам нужно. Но есть одно затруднение. Кто будет

* Латеранский конкордат 11 февраля 1929 года восстановил государство Ватикана и обусловил официальный союз католической церкви и фашистской партии.— *Прим. перев.*

на нем играть? В поселке никто не умеет. Я подумал о вас, ведь вы все умеете, вы такой образованный и так далее. Мы — дети одного господина бога!

О причинах, по которым он боялся, что я не соглашусь, я даже не догадывался. Я сказал, что когда-то учился играть на рояле, но уже много лет не прикасался к клавишам. Я могу попробовать, но не могу обязаться регулярно выступать в роли органиста; самое большее, если смогу выступить раз или два, чтобы доставить ему удовольствие. Я бы мог немного аккомпанировать, если найдется кому петь; и во всяком случае, мне нужны ноты.

Мы поднялись к церкви, чтобы посмотреть инструмент, поставленный на виду, рядом с алтарем и возбуждавший любопытство мальчишек.

Настоятель был счастлив: он боялся, что я не соглашусь, а моя неожиданная сговорчивость сделала его более смелым. Он показал мне на голые потрескавшиеся стены церкви.

— Здесь нужны были бы картины.

Эта мысль не была мне неприятна, и я сказал ему:

— Кто знает, может быть как-нибудь я испишу вам фресками всю церковь. Я должен пробыть здесь еще два года, у меня будет время обдумать это. Плохо, что стены так потрескались. Но я бы не хотел обидеть Морнаски, он очень милый человек.

Потолок церкви был украшен фресками с золотыми звездами по голубому фону и декоративными полосками, отделявшими его от стен. Эту работу несколько лет назад проделал миланский художник Морнаски, молодой блондин, который в то время ходил из поселка в поселок, разукрашивая церкви; он жил в поселке, пока не кончал работу, а затем отправлялся в другое место. Но в Гальяно его бродячая жизнь кончилась. Он приехал, чтобы расписать потолок в церкви, а ему предложили должность налогового чиновника и, бросив неверное для верного, искусство для административной деятельности, Морнаски не поехал дальше и забросил свои кисти. Это был скромный, живший уединенно, хорошо воспитанный человек, единственный пришелец, постоянно живший в Гальяно. Я его видел изредка, и со мной он был всегда очень мил.

— Морнаски сможет помочь вам, — сказал настоятель, который в несколько дней, видимо, изучил поселок. Развертывавшиеся перед ним великолепные возможности загнать

в овчарню равнодушное стадо привели его в энтузиазм. Но ведь и я, увы, был заблудшей овцой. Между тем добрый священник, увлеченный пылкой фантазией, начал мечтать о чем-то еще более радужном, о торжественной церемонии, в которой мог бы принять участие (а почему бы и нет?) сам епископ. Хотя он этого тогда и не сказал, но, как мне кажется, умирал от желания осуществить это. Дон Лигуари был хитер и дипломатичен и ограничился некоторыми вкрадчивыми намеками, к которым впоследствии прибегал часто и более откровенно. Тогда он мне сказал только, что ему очень жаль, что я живу так одиноко; что я очень молод, конечно, но должен подумать о том, чтобы жениться; и когда мы уходили из церкви, он пригласил меня в следующее воскресенье на обед.

— Приходите, доктор, попоститься с бедным священником.

Нагроможденная в кухне провизия заставляла надеяться, что пост не будет слишком строгим. Надменная заботливая экономка из Монтемурро действительно показала себя отличной кухаркой; уже год я не обедал так хорошо. А домашние колбаски, поджаренные по местному обычаю с испанским перцем, были просто великолепны. С этого момента настоятель прямо лип ко мне. Он приходил ко мне, позировал для портрета, который я должен был ему подарить. Дон Луиджино относился ревниво к подобной близости, но дон Лигуари умел с ним обходиться и, вероятно, под каким-нибудь евангельским предлогом заставил его успокоиться. Однажды, зайдя ко мне, священник заметил на моем ночном столике библию в протестантском издании. Он отскочил с отвращением, будто увидел змею.

— Какие книги вы читаете, доктор! Выбросьте ее, ради бога!

Он стал очень фамильярно обращаться со мной и всякий раз, как видел меня, говорил растроганным материнским тоном:

— Мы окрестимся, потом обвенчаемся. Об этом уж позабочусь я.

Однажды в воскресенье я в свою очередь пригласил его к себе и, стараясь, чтобы пост не оказался в этот день очень строгим, заставил мою ведьму Марию показать все свое искусство. Случилось так, что за два дня до этого, в пятницу, умер Поэрио, тот самый бородатый старик, кото-

рый был болен уже несколько месяцев и который очень хотел, но так и не смог посоветоваться со мной, так как был кумом Сан-Джованни доктора Джибилиско. В воскресенье состоялись торжественные похороны, приехали также настоятель из Стильяно и еще священник оттуда же — один жирный и высокий, другой худой и маленький. Я должен был, следовательно, пригласить и этих двоих. Оба они были типа дона Лигуари: хитрые, привыкшие жить хорошо, ловкие и знающие жизнь крестьян. У меня был великолепный обед в обществе этих трех странных птиц, жаловавшихся, что умирают только бедные крестьяне, а такие замечательные похороны, как сегодня, бывают лишь раз в году.

За это время мне прислали немного нот церковной музыки, и я иногда ходил поупражняться на инструменте. Когда мне показалось, что я более или менее подготовлен и смогу без грубых ошибок аккомпанировать службе, я наметил с доном Луиджино следующее воскресенье, надеясь на неискушенность публики, но заявил, что это будет единственный раз. Я узнал, что цирюльник-зубодер умеет брэнчать на рояле по слуху и, конечно, справится с этим лучше меня. Поэтому, хотя тот и не очень любил ходить в церковь, я решил переложить на него эти обязанности после первого выступления, которое я уже обещал.

В воскресенье церковь была полна. Настоятель распустил слух, что я буду играть, и все пожелали присутствовать на необычайном зрелище. Женщины в белых вуалях толпились до самых дверей, многие не смогли войти. Пришли люди, которые с незапамятных времен не заходили в церковь. Явилась даже вместе со своей сестрой донна Кончетта, старшая дочь адвоката С., богача-меланхолика, которого я часто встречал по вечерам на площади. Донна Кончетта прожила в заточении почти год после смерти брата; она никогда не выходила из дома, и я ее никогда не видел. Но по случаю сегодняшней службы она решилась нарушить свой обет и сидела на скамейке в первом ряду. Ее считали самой красивой девушкой в Гальяно, и это была правда. Ей было восемнадцать лет, она была очень маленькая, с круглым и правильным личиком Мадонны, с большими томными глазами, гладкими густыми черными волосами, разделенными посередине пробором, с очень белой кожей, с красным ротиком, тонкой шеей и милым упрямым выражением на лице.

Я видел ее единственный раз среди толпы женщин в вуалях и никогда даже не слышал ее голоса. Но у крестьян были свои планы.

— Ты теперь тоже гальяней,— говорили они мне часто.— Ты должен жениться на Коңчетте. Это самая красивая и самая богатая в поселке девушка на выданье. Она создана для тебя. Тогда ты больше не уедешь, навсегда останешься с нами.

Вот почему мне тоже было любопытно посмотреть на свою спрятанную невесту.

Женщины были в восторге от службы.

— Какой ты хороший! — кричали они мне, когда я выходил.

Но надежды настоятеля на могущество церковной музыки оказались преувеличенными. Хотя цирюльник аккомпанировал гораздо лучше меня, церковь с того дня оставалась почти пустой. Но дон Лигуари не терял присутствия духа; он ходил целый день по домам крестьян, крестил детей и постепенно кое-чего, быть может, и достигал.

Причудливая мимолетная весна кончилась. Зелень держалась не больше десяти дней, как какой-то нелепый призрак. Потом эта жалкая трава высохла от солнца и от раскаленного майского неожиданно-летнего ветра. Пейзаж стал обычным, белым, однотонным, опаленным. Как и тогда, когда я приехал, много месяцев тому назад, воздух клубился от жары над этим глинистым простором; и казалось, что всегда по этому печальному беловатому морю скользят серые тени все тех же облаков. Я знал каждую извилину, каждый оттенок, каждую складку земли. С вновь наступившей жарой жизнь в Гальяно потекла как будто еще медленнее, чем раньше. Крестьяне были в полях, тени домов лениво ложились на мостовые, козы отдыхали на солнце.

Вечное ворчливое безделье расстилалось над поселком, построенном на костях мертвецов; я различал каждый голос, каждый шум, каждый шопот, как нечто издревне знакомое, бесконечно повторяющееся; оно будет еще бесконечно повторяться и дальше.

Я работал, рисовал, лечил больных, но никогда еще мною не владело такое безразличие. Я жил, как червяк, замкнутый внутри сухого ореха, был далек от привязанностей, в скорлупе однообразия ждал грядущих лет, и мне

казалось, что у меня нет почвы под ногами, что я парю в странном воздухе, где даже звук собственного голоса кажется необычным.

А война шла к концу. Аддис-Абеба была взята. Империя поднялась на холмы Рима, и дон Луиджино во время одного из своих жалких безлюдных митингов пытался заставить ее подняться и на холмы Гальяно. Больше не будет убитых, и все ожидали возвращения тех немногих, которые находились в Африке. Сын Джулии писал, что скоро вернется, просил, чтобы ему готовили невесту и свадьбу. Дон Луиджино чувствовал себя выросшим, точно отблеск имперской короны пал и на его голову. Крестьяне думали; что, несмотря на обещания, им не видать сказочных, дурным образом приобретенных земель; и они не вспоминали об Африке, когда спускались к берегам Агри.

Однажды утром около полудня я проходил по площади. Ослепительное чистое солнце палило беспощадно, ветер поднимал вихри пыли, и дон Козимино, стоя у входа в почтовую контору, широко махал мне издали руками. Я подошел; он ласково и весело смотрел на меня.

— Добрые вести, дон Карло,— сказал он мне.— Я не хочу напрасно обнадеживать вас; но сейчас пришла телеграмма из Матеры, в которой сообщается об освобождении ссыльного генуэзца. Я сейчас послал за ним. Меня известили также, что я должен дежурить после полудня,— сообщат имена других освобожденных ссыльных. Я надеюсь, что в их числе будете и вы. Это как будто бы по случаю взятия Аддис-Абебы.

Мы весь день не отходили от дверей почты. Время от времени слышалось тиканье телеграфа, и добрейший горбун с сияющим лицом высовывался из окошечка и выкрикивал имя. Мое было последним; был уже почти вечер. Всех освободили, за исключением двух коммунистов: студента из Пизы и рабочего из Анконы. Все синьоры, собравшиеся на площади, окружили меня, чтобы поздравить с освобождением, которое мне было дано, хотя я его не просил. Эта неожиданная радость внезапно навеяла на меня грусть, и я пошел с Бароном к дому.

Все ссыльные уехали на другой день утром. Я не торопился. Мне было тяжело уезжать, и я искал всяких предлогов, чтобы задержаться. У меня были больные, которых я не мог сразу бросить, были неоконченные картины; потом мне нужно было отправить много вещей, упаковать множе-

ство картин. Нужно было заказать ящики и клетку для Барона, слишком легко умевшего освободиться от привязи и слишком дикого, чтобы его можно было так просто везти в поезде. Я остался еще дней на десять.

Крестьяне приходили ко мне и просили:

— Не уезжай. Остайся с нами. Женись на Кончетте. Тебя сделают подестой. Ты должен навсегда остаться с нами.

Когда приблизился день моего отъезда, они заявили, что проткнут шины на автомобиле, который должен будет увезти меня.

— Я вернусь,— сказал я им.

Но они качали головой.

— Если уедешь, не вернешься! Ты — добрый человек. Остайся с нами, крестьянами!

Я должен был торжественно обещать им, что я вернусь; и я обещал это совершенно искренно; но до сих пор не смог сдержать обещания.

Наконец я попрощался со всеми. Простился с вдовой, глашатаем-могильщиком, донной Катериной, Джулией, донном Луиджино, с Паррокколой, доктором Милилло, доктором Джибилиско, настоятелем, синьорами, крестьянами, женщинами, детьми, козами, монакиккио и другими духами, оставил одну картину на память коммуне Гальяно, погрузил мои пожитки, запер большим ключом дом, бросил последний взгляд на горы Калабрии, на кладбище, на Пантано, на глины, и однажды утром на рассвете, когда крестьяне отправлялись со своими ослами в поля, сел рядом с клеткой Барона на машину «американца» и уехал. После поворота, за спортивной площадкой, Гальяно исчез, и я больше никогда его не видел.

У меня была подорожная, и я должен был ехать обычным поездом; поэтому дорога была долгой. Я увидел Матеру, ее камни, ее музей. Пересек равнину Пульи, усеянную, точно кладбище, белыми камнями, и Бари, и Фоджу, казавшуюся ночью полной таинственности, и затем двинулся небольшими перегонами на север. Поднялся на вершину собора в Анконе и в первый раз за столько времени увидел море.

Был ясный день, и с такой высоты вода, казалось, заполняла горизонт. Свежий ветерок дул от берегов Далмации и морщил мелкими волнами спокойное лоно моря. Мысли мои были смутны: жизнь этого моря была подобна

бесчисленным судьбам людей, замкнутым навечно в одинаковые волны, движущиеся, не изменяясь во времени. И я думал с сочувственной скорбью о неподвижном времени, о мрачной цивилизации, которую я покинул.

Но поезд уже увозил меня вдаль, через математически расчерченные поля Романьи, к виноградникам Пьемонта, к таинственному будущему изгнания, войны и смерти, которое тогда едва вырисовывалось, как неясная тучка на бесконечном небе.

Флоренция, декабрь 1943 — июль 1944 года.

Карло Леви
ХРИСТОС ОСТАНОВИЛСЯ В ЭБОЛИ

Художник *А. Н. Власова*
Технические редакторы *А. И. Вилленева* и
В. И. Шаповалов
Корректор *Н. А. Булгаков*

Сдано в производство 3/II 1955 г.
Подписано к печати 11/VI 1955 г. А-04000
Бумага $84 \times 108\frac{1}{32}$ — 3,6, бум. л. 11,9 печ. л.
Уч.-издат. л. 12,1. Издат. № 12/2503
Цена 6 р. 05 к. Зак. № 116

Издательство иностранной литературы
Москва, Ново-Алексеевская, 52

Министерство культуры СССР
Главное управление полиграфической
промышленности.
Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Москва, Ж-54, Валовая, 28.

6 р. 05 к.

LIBRAIRIE-PAPETERIE

"OFENIA"

8, Rue Bouicaut - PARIS-XV^e

145-